Биографии, автобиографии, мемуары



ЧЕХОВ В ЖИЗНИ

Игорь Сухих

Чехов в жизни

Игорь Николаевич Сухих

Аннотация
Игорь Николаевич Сухих. Чехов в жизни
Чехов: биография как проблема. (Несколько положений)
Чехов в жизни. Сюжеты для небольшого романа
- Жанр
- Сюжет
- Фобия
- Портрет
- Характер
- Семья
- Таганрог
- Гимназия
- Москва
- Университет
- Медицина
- Начало
- Работа
- Назидание
- Мировоззрение
- Быт
- Юмор

Лейкин
Григорович
Петербург
Суворин
Путешествие
Европа
Мелихово
Толстой
Женщины
Эротика
Лика
Авилова
«Чайка»
МХТ
Деньги
Власть
Вера
Болезнь
Ялта
Бунин
Горький
Жена
Завещание
Собрание
Место
Юбилей

Сюжеты
Три страницы
Тайна
Ich sterbe…
Вагон для устриц
Эпилоги
Даты
Источники
Чехов и…. Филологические сюжеты
Чеховские писатели и литератор Чехов
Чехов и Пушкин: к парадигмологии русской литературы
Чехов и Шекспир: обратный отсчет
Два скандала: Чехов и Достоевский
Чехов и Толстой в свете двух архетипов
Чехов, Бунин и декадент Урениус
Мнимый Чехов? Еще одна фальсификация Б. Садовского
Чехов и Л. Добычин: два «события» и метафизика прозы
Белая дача: одна экскурсия и три сюжета
Жизнь после жизни: Б. Ш. как мифолог А. Ч.
Иллюстрации

Аннотация

«Чехов в жизни» – книга, созданная в жанре документального монтажа. Образ А. П. Чехова складывается в ней из многочисленных, подчас противоречащих друг другу свидетельств его современников – родственников, друзей, знакомых. Портрет, характер, семья, учеба, вера, творчество, медицина и т. д. – в полусотне тематически организованных глав Чехов предстает в самых разных ипостасях: как достойный сын, трогательно заботившийся о родителях; как любимец друзей и женщин; как путешественник и садовод; как интересный собеседник и оригинальный мыслитель. Сквозным сюжетом повествования становится не разгадка мнимых чеховских загадок, а драма судьбы.

Автор-составитель книги – Игорь Николаевич Сухих, известный литературовед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета и один из лучших исследователей творчества Чехова.

Игорь Николаевич Сухих
Чехов в жизни

© И. Н. Сухих, 2024
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство КоЛибри®

Чехов: биография как проблема (Несколько положений)[1]

1. Речь пойдет даже не о биографии, а — если воспользоваться сегодняшним волапюком — о метабиографии, то есть о существующих уже чеховских жизнеописаниях и проблемах, с ними связанных. Причем они, эти проблемы, не только ретроспективны, но и перспективны: они позволяют увидеть трудности, которые ожидают чеховских биографов XXI века.

Два полюса любого биографического исследования — *летопись* и *роман* (или другой беллетристический жанр). В пушкиноведении это будут «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского и «Пушкин» Ю. Тынянова; аналогично в чеховедении «Летопись жизни и творчества А. П. Чехова» Н. И. Гитович (или ее продолжающийся современный вариант) и, скажем, книга В. Рынкевича «Ранние сумерки» (речь идет не об уровне произведения, а о жан-

---

[1] Примечания: 1

Впервые опубликовано: Биография Чехова: Итоги и перспективы. Материалы международной конференции (Великий Новгород, 7–9 декабря 2008 г.). Великий Новгород, 2008. С. 2–37.

ре)[2]. Между полюсами, посередине, на экваторе располагается то, что называют *научно-художественной биографией* (далее мы будем говорить просто о биографии).

В чем своеобразие этой экологической ниши? В установке на объективность описания судьбы главного героя и его окружения. Подобная биография должна соответствовать изобретенной когда-то А. Мариенгофом формуле: *роман без вранья*.

Почему *без вранья*, в общем, понятно. Биограф, в отличие от романиста, не может, не имеет права делать шагов в сторону от летописи: придумывать несуществующих людей, поступки и события.

Однако, как мы хорошо знаем от того же Юрия Тынянова, а также из собственного опыта, жизнь не может быть документирована вся сплошь, документ где-то оканчивается, документы (предположим, мемуары) могут противоречить друг другу. Там, где составитель летописи, как древний летописец, молчит, обнаруживая *пробел среди бумаг*, биограф может предположить, домыслить *по вероятности и необходимости*, предложить

[2] Примечания: 2

О качестве этого романа см.: *Гитович И.* Про «это», но и про другое тоже // Чеховский вестник. № 6. М., 2000. С. 42–52.

собственную версию, то есть оказаться в роли романиста поневоле, угадывающего своего героя.

Психологическая интерпретация, *конструирование образа* оказываются совершенной неизбежностью, как только мы выходим за пределы летописно-комментаторского кто-с-кем («Ах, вы написали примечания? — сказал мне К. И. Чуковский. — Это значит: кто с кем и кто кого?»)[3].

Проблема биографа, следовательно, не просто в знании фактов, но — в конструктивной идее, которая может их склеить, объединить. В случае с нашим писателем поиск такой идеи приобретает особую остроту, ибо, как уже когда-то замечал автор этих строк (и не только он), «чеховская жизнь (имелась в виду жизнь чеховских героев, специфика чеховского мира. — *И. С.*) легче всего определяется отрицательно. Это жизнь без войны, без всеобщих катаклизмов, без особых приключений. Нормальная жизнь, уклонившаяся от нормы»[4].

2. Внешняя простота, бесфабульность жизни и

---

[3] Примечания: 3

Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 59.

[4] Примечания: 4

Сухих И. Жизнь человека: версия Чехова // Чехов А. П. Рассказы из жизни моих друзей. СПб., 1994. С. 9.

самого писателя сразу бросается в глаза на фоне его предшественников и — особенно — ближайших потомков. Эта жизнь легче описывается множеством «не». За свои неполные сорок четыре года Чехов:

— не скрывал тайны происхождения;

— не ожидал наследства и не боролся за него;

— не страдал от неразделенной любви (по крайней мере, всю жизнь);

— не волочился за женщинами (по крайней мере, молчал об этом) и, с другой стороны, не превращал своих спутниц в мистических Прекрасных Дам;

— не проигрывался в карты;

— не стрелялся на дуэлях;

— не служил и не воевал;

— не стоял на эшафоте и не был на каторге или в ссылке (даже мягкой, домашней);

— не боролся с властями и цензурой;

— не говорил истину царям с улыбкой (а также без оной);

— не печатал произведений за границей и в подполье;

— не издавал журналов;

— не конфликтовал смертельно с братьями-писателями;

— не сжигал демонстративно свои главные книги (а просто недемонстративно уничтожал рукописи);

— не бежал из дома ночью;

— не кончал жизнь самоубийством.

«Какую биографию делают Рыжему!» — говорила А. А. Ахматова про последнего русского нобелевского лауреата. История — к счастью — не позаботилась об оформлении чеховской биографии. Но ему, как и каждому человеку, не удалось избежать драмы судьбы.

Его биографы — угадывая и ошибаясь — ищут, как сказали бы формалисты, доминанту, конструктивный принцип, способ превращения жизни в судьбу.

3. Жанровое поле между летописью и романом засевается в чеховедении больше ста лет. За это время в национальном контексте появилась дюжина полноценных книг (включая две переводные и исключая критико-биографические очерки с уклоном в критику, а не биографию).

Перечислим их в порядке публикации на русском языке.

Измайлов А. А. Чехов. 1860–1904. Биографический набросок. М., 1916. — 592 с.

Коган П. С. А. П. Чехов. Биографический очерк.

М.; Л., 1929. — 110 с. (Серия «Жизнь замечательных людей», далее — ЖЗЛ).

Соболев Ю. Чехов. М., 1934. — 336 с. (ЖЗЛ).

Дерман А. Б. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк. М., 1939. — 212 с.

Роскин А. Чехов. Биографическая повесть. М.; Л., 1939. — 232 с. (ЖЗЛ).

Ермилов В. В. Чехов. М., 1946. — 333 с. (ЖЗЛ).

Бердников Г. П. Чехов. М., 1974. — 512 с. (ЖЗЛ).

Малюгин Л. А., Гитович И. Е. Чехов. Повесть-хроника. М., 1983. — 576 с. (отдельные издания первой и второй частей — 1969, 1977).

Труайя А. Чехов. М., 2004. — 608 с. (французское издание — 1984).

Чудаков А. П. Антон Павлович Чехов. М., 1987. — 176 с.

Громов М. П. Чехов. М., 1993. — 304 с. (ЖЗЛ).

Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2005. — 864 с. (английское издание — 1997).

Кузичева А. П. Чехов. Жизнь отдельного человека. М., 2010. — 848 с. (ЖЗЛ). (Дополненное издание: СПб., 2011. — 878 с.)

Чехов, как видим, оказывается самым популярным героем серии «Жизнь замечательных людей» за все эпохи ее существования. Хронологическими полюсами чеховских биографий являются

(на сегодняшний день) шестисотстраничный «биографический набросок» Измайлова и почти девятисотстраничная «жизнь» Кузичевой. Первый полюс — несомненный и неподвижный, второй — условный и преходящий.

4. Давно замечено: биографы — даже внешне — часто становятся похожи на портретируемого автора. Больше всего подобных (как и прочих) наблюдений накопили пушкинисты. Мемуаристы дружно утверждают: в молодости Тынянов был поразительно похож на изучаемого поэта. Другой, иронический, вариант подобного уподобления сохранился в филологическом фольклоре конца 1940-х годов: «У Мейлаха Пушкин все время оглядывается, чтоб не сказать чего-нибудь лишнего, а у Гуковского так и шастает, так и шастает».

Однако писатель похож на биографа также в той степени, в какой сам биограф существует в историческом времени и похож на него. (Здесь к месту еще один афоризм: «Дети больше похожи не на отцов, а на свое время».)

Меняющиеся облики, конструктивные образы Чехова, созданные в XX веке, свидетельствуют об этом достаточно очевидно.

Скажем, в последние годы императорской России, на излете Серебряного века с его без-

удержным идеализмом и психологическими безднами, Чехов казался наследником шестидесятников, сомневающимся позитивистом, простым, хорошим, нормальным человеком, «сыном своей семьи, своего сословия и своего времени».

«Идеалистам сороковых годов, пожалуй, не о чем было бы говорить с Чеховым, но Помяловский и Писарев увидели бы его и возрадовались. Вышедший не из головы романиста и не из критической реторты, этот человек не дал до конца прямолинейно выдержанный тип. Мы видели Чехова и в борьбе сомнений, и в жажде „кусочка веры“ и в жалобах на недостаточность характера. Чем-то в высшей степени живым и свободным был он, чем-то органически враждебным всяким теориям. Но старшие собратья преклонились бы пред его спокойным и мудрым умом, великолепно приспособленным для земли, перед его мастерством решения противоречий, отвращением к фразе, „медицинскою“ простотою его взгляда на вещи, ясною прямотою отношений, честным заявлением, что он не верит там, где он не верил. Если бы такие, как он, шли не единицами, а целым поколением, к земле скорее спустилось бы „небо в алмазах“ и стала бы ближе

мечта двух благородных безумцев из „Палаты № 6“ и „Черного монаха“»[5]. Таковы финальные фразы, резюме измайловского «биографического наброска».

В 1920-е годы А. Б. Дерман во внешнем спокойствии и нормальности усмотрел дисгармонию художника и человека, возмещающего недостаток любви к людям имитацией этого чувства. «Дисгармония в природе Чехова состояла в том, что при уме обширном и поразительно-ясном он наделен был „молчанием сердца“, — слабостью чувства любви. То, что мы называем непосредственностью чувства, было ему незнакомо. И это обстоятельство сыграло и в жизни, и в творчестве Чехова роль определяющего значения. <…> Природа лишила Чехова дара сильного и непосредственного чувства, и он, осознав это, возмещает внутреннюю пустоту тем, что поступает так, как поступал бы человек с горячим сердцем: ласково, участливо, внимательно — совершенно почти не входя в существо тех нужд, с которыми к нему обращаются»[6].

В 1940-е годы чеховская обыкновенность вдруг

---

[5] Примечания: 5
Измайлов А. А. Чехов. М., 1916. С. 583.

[6] Примечания: 6
Дерман А. Б. Творческий портрет Чехова. М., 1929. С. 130, 163.

обернулась иной стороной. Биографу явился не дисгармоничный нытик и меланхолик, а энтузиаст-общественник, горячий патриот, почти член Союза советских писателей и едва ли не член ВКП(б) (кажется, З. С. Паперный пошутил, что Чехов в это время начал по-горьковски окать).

«Он жил и работал и для своего времени, и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье. <…> Простые обыкновенные люди — основа всей нашей жизни. Это они под руководством Коммунистической партии строят прекрасные города, возводят дворцы, свершают новые подвиги смелого творчества, неутомимого созидания, отстаивают мир во всем мире против покушений на него врагов человечества, всех врагов счастья и красоты на земле. И в каждой новой победе простых людей участвует своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека, Антона Павловича Чехова»[7]. Это тоже заключительные слова, кода книги.

А в 1990-е годы с берегов Туманного Альбиона был увиден совсем иной образ: «…Многие чеховские биографы стремились воссоздать

[7] Примечания: 7
Ермилов В. В. А. П. Чехов. Изд. дополненное. М., 1954. С. 401.

из подручного материала житие святого… <…> Жизнь Чехова была короткой, непростой и далеко не лучезарной. <…> Работа над самой полной чеховской биографией по срокам могла бы перевесить жизнь самого писателя. Я позволил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзьями. В некотором смысле биография Чехова — это история его болезни. Туберкулез определил течение жизни писателя, и он же оборвал ее. Попытки Чехова сначала игнорировать болезнь, а затем побороть ее составляют основу любой из его биографий»[8].

Герой довлатовского «Заповедника» утверждал, что большевики скрывают истинную могилу Пушкина, и показывал заплатившим тридцать копеек невзрачный холмик в лесу. Новейший биограф Чехова, кажется, убежден, что чеховеды (какие?) за маской светского святого много лет скрывали истинный облик писателя. Он «проливает свет на частную и творческую жизнь писателя» и показывает обманутого мужа, больного не только туберкулезом, но и эротоманией. Доказательства — несколько десятков цитат из писем чеховских современников (прочитанных

[8] Примечания: 8
Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2004. С. 11–12, 14, 15.

впервые) и результаты заочного (но — «точного») диагноза доктора с о. Корфу и некой медсестры. Правда, предваряя свою версию судьбы, биограф все-таки несколько успокаивает возможного читателя: «В результате фигура писателя становится еще более неоднозначной. И хотя теперь его никак не назовешь святым или хозяином своей судьбы, ни гениальности, ни очарования в нем не убавилось»[9]. Несмотря на это предупреждение, так и остается непонятным, как этот глава сумасшедшего семейства, больной, измученный чахоткой человек и одновременно — неутомимый охотник за женщинами каким-то непонятным образом ухитрился написать собрание собственных сочинений.

Любопытно, однако, что наибольший резонанс среди чеховских биографий имели как раз не наиболее уравновешенные, а наиболее экстремальные жизнеописания В. Ермилова и Д. Рейфилда; видимо, они оказались больше всего похожи на свое время.

Представленным образам Чехова можно подыскать других авторов, но их трудно поменять местами. Однако так же трудно без оговорок про-

---

[9] Примечания: 9
Там же. С. 12.

писать эти биографические версии в новом веке.

Автор мог бы сказать своим биографам примерно то, что он говорил своему товарищу и издателю по поводу философии Толстого: «Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели. <…> Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: „чего-нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений» (А. С. Суворину, 27 марта 1894 года)[10].

Возможно, это желание парадоксально реализуется в «Античехове», «Чехове без грима» (или без глянца), на фоне которых прежние биографические экстремисты покажутся людьми весьма уравновешенными (подобные биографические модели уже опробованы на классиках XIX и XX веков). Но возможны и иные варианты. Главная проблема, кажется, заключается не в принципиально новых сведениях (сомнительно, что расширение корпуса текстов нам их предоставит), а в новых конструктивных идеях.

---

[10] Примечания: 10

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 5. М., 1977. С. 284.

5. Поскольку в наших *положениях* уже возникало имя Пушкина, еще раз обратимся к нему. В «школьной» биографии поэта, которая стала одной из лучших работ о нем вообще, Ю. М. Лотман выдвигал на первый план идею как *самосозидания, сотворения* Пушкиным собственной личности (не случайно другая книга Лотмана называлась «Сотворение Карамзина»). «Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. <…> Пушкин всегда строил свою личную жизнь…»[11]

Когда же его друг и коллега Б. Ф. Егоров не согласился с такой идеей, Лотман предложил дополнительное объяснение: «Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. <…> Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать *определяющей логикой* его жизни. Все равно

[11] Примечания: 11
Лотман Ю. М. А. С. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981. С. 43, 117.

важнейшим остается *внутренняя* трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом (случайно!) и погибает. Но не сифилис, а „Неоконченная симфония“ — трагический ответ души на „обстоятельства“ — становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось в применении к Пушкину — показать *внутреннюю* логику его пути» (Б. Ф. Егорову, 20–21 октября 1986 года)[12].

Трудно найти другого русского писателя (включая даже Пушкина!), которому больше, чем Чехову, подходила бы идея самосозидания, сознательного строительства собственной жизни. Если спроецировать замечательное лотмановское суждение на нашу проблему, следует признать, что ответом чеховской души на «обстоятельства» были не туберкулез, а «Архиерей» и «Вишневый сад», и смысл его внутренней трагедии стоит искать не в неверности (или равнодушии) близких, а в чем-то ином.

Когда-то я определил доминанту чеховского художественного мира как «сосредоточенное

---

[12] Примечания: 12

Егоров Б. Ф. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. М., 1999. С. 179, 181.

нравственное усилие»[13]. Кажется, с мира ее можно перенести и на автора. Внутренняя логика чеховского пути представляется судьбой *самоломаного человека в стеклянном мире*: здесь нужно было двигаться очень осторожно, потому что вокруг живые и очень разные люди, и в то же время — вопреки всем обстоятельствам — выдержать заранее выбранное направление.

Модус торжествующего победителя или напрасной жертвы в чеховской биографии точнее заменить *модусом долга*. Вместо разгадки мнимых загадок — показать драматизм обычной судьбы, противостоящей времени.

Опыт чеховской жизни (и смерти) — универсален и уникален, даже если забыть о собрании его сочинений, «вычесть» писателя из человека.

Может быть, лучшим способом чеховского жизнеописания окажется язык документа, «повествование в тоне и духе героя» (жанр, созданный В. В. Вересаевым опять-таки для биографии Пушкина). Но выбор *формы жизнеописания* все-таки вторичен. Речь, прежде всего, должна идти о поиске *формулы судьбы*.

«Трагедия Пушкина — одна из немногих тра-

---

[13] Примечания: 13

См.: *Сухих И. Н.* Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987. С. 167 (2-е изд.: *Сухих И. Н.* Проблемы поэтики Чехова. СПб., 2007. С. 326).

гедий девятнадцатого века, выдерживающих резкий воздух двадцатого. И нам, которых не удивишь зрелищем боли человеческой, до сих пор от этого больно»[14], — записала в середине прошлого века Л. Я. Гинзбург. От биографов тоже зависит, выдержит ли серьезная чеховская драма, *обыкновенная история*, скептическую, расслабленно-ироническую атмосферу века двадцать первого.

[14] Примечания: 14
Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 195.

Чехов в жизни
Сюжеты для небольшого романа

Жанр

Михаил Бахтин говорил о памяти жанра. У этого жанра короткая память: ему не исполнилось и ста лет. Книге «Пушкин в жизни» (1926–1927) В. В. Вересаев дал подзаголовок «Систематический свод подлинных свидетельств современников». Так появился биографический монтаж, жанр, в котором говорят только документы, а позиция биографа проявляется лишь в отборе и композиции. Жанр был продолжен вересаевским же «Гоголем в жизни» (1934) и аналогичными опытами двадцатых-тридцатых годов о Лермонтове, молодом Толстом, Островском, Некрасове.

Вересаева упрекали в использовании недостоверных источников, анекдотизме, «решительном отсутствии какого-либо методологического подхода», но образ поэта, возникающий из столкновения противоречивых версий, оказался убедительным и привлекательным, не отмененным ни последующими исследованиями, ни романными версиями.

Биография Чехова не излагалась в подобном жанре (за исключением малозамеченного опыта Вал. Фейдер «Чехов: литературный быт и твор-

чество по мемуарным материалам»), в то время как обычных повествований в духе «Жизни замечательных людей» за сто лет на русском языке опубликовано около дюжины. Между тем именно чеховская жизнь буквально напрашивается на подобную форму.

Чехов признавался, что страдает «автобиографофобией». Однако корпус мемуарных и эпистолярных материалов о его жизни огромен (достаточно сопоставить с ним количество и качество источников о Лермонтове, Гончарове или, например, Андрее Платонове).

Публикацию в начале прошлого века чеховских писем современники называли вторым собранием сочинений (сегодня этот эпистолярий составляет четыре с половиной тысячи номеров, еще более полутора тысяч не сохранились).

Чехов умер настолько рано, что свои свидетельства о нем успели оставить не только близкие родственники (братья Александр и Михаил, позднее — сестра Мария Павловна), многие сверстники (Короленко, Потапенко, Гиляровский), литературные потомки (Бунин, Горький, Куприн, Щепкина-Куперник), но и люди предшествующих поколений (Толстой, Суворин, Репин, Ковалевский).

В то же время он ушел настолько поздно, что русское общество уже понимало, кого потеряло, поэтому все, от «белокурых студентов» до газетных корреспондентов, спешили рассказать городу и миру об одной или двух случайных встречах.

Монтаж документов, столкновение разных взглядов, постоянно корректируемое собственным словом Чехова, создает эффект достоверности, труднодостижимый какой-то нарративной биографией, строящейся на раскавычивании и интерпретации тех же документов. Там, где остались пробелы среди бумаг, не стоит насиловать своими гипотезами чужую жизнь: лучше ограничиться острожными предположениями или просто поставить точку.

Один чеховский биограф утверждает: написание настоящей чеховской биографии может занять время большее, чем жизнь самого писателя. Признание поразительное: времени не хватает, чтобы описать, а он это прожил и сделал. За сорок четыре года, по нынешним временам — время ранней зрелости.

Такое подробное жизнеописание, впрочем, существует и называется летописью. В хронику трудов и дней обычно заглядывают лишь специ-

алисты, уточняя даты и вспоминая имена.

Биография — не летопись, которая, как в воображаемом Музее Николая Федорова, стремится учесть абсолютно все оставленные человеком жизненные следы. Отбор и выбор — уже концепция, точка зрения. Два рядом поставленные фрагмента — интерпретация. Десятки и сотни противоречивых свидетельств — трудно контролируемая мозаика, размывающая исходные установки.

Идея и образ в этой книге, надеюсь, есть. Их не нужно дополнительно пояснять «жалкими» словами (хотя до конца от авторских объяснений избавиться тоже не удалось).

Литературоведы иногда возмущаются, что другие литературоведы делают Чехова бесплотным святым. Самые горячие головы — уже из сочинителей — даже сравнивали его со Спасителем, отдавая предпочтение писателю за его недидактизм, неавторитарную этику.

Словно в ответ явились версии «другого», «настоящего» Чехова — то эротомана, то женофоба, то замученного семьей чахоточного больного. Проблема здесь не в фактах (их круг, в общем, установился, и вряд ли может быть резко расширен), а в их интерпретации: исходной установке,

оркестровке, интонации разговора. Избирая рекламно-сенсационный или агрессивно-уличающий тон, авторы подобных повествований или исследований, люди интеллигентные, увенчанные званиями и даже порой сочиняющие стихи, оказываются частью той черни, толпы, которую Пушкин противопоставлял простодушию гения.

В чеховских записных книжках трижды повторяется суждение, которое он не успел передать какому-то из героев: «Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела».

И здесь он оказался щедрее и великодушнее своих будущих критиков.

«Напишите-ка рассказ…» Такой рассказ — о сотворении человека — он тоже написал. Собственной жизнью.

Сюжет

Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу, и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая…

Чехов — А. С. Суворину, 7 января 1889 г. Москва

Вчера я кончил и переписал начисто рассказ, но для своего романа, который в настоящее время занимает меня. Ах, какой роман! <…>

У меня есть сюжет для небольшого рассказа.

Чехов — А. М. Евреиновой. 10 марта 1889 г. Москва

— Что это вы пишете?

— Так, записываю… Сюжет мелькнул… (Пряча книжку.) Сюжет для небольшого рассказа…

«Чайка», 1896

Фобия

Поручения мои исполняй не морщась. Ты будешь вознагражден отлично: тебя упомянет в моей биографии будущий историк: «Был-де у него брат Алексей, к<ото>рый исполнял его поручения, чем немало способствовал развитию его таланта». Для моего биографа не обязательно знать, как тебя зовут, но по подписи «Ал. Чехов» ему будет нетрудно догадаться, что тебя зовут Алексеем.

Чехов — Ал. П. Чехову. 21 октября 1887 г. Москва

Милостивый государь!

Согласно Вашему желанию, переданному мне через книжный магазин «Нового времени», сообщаю Вам свои биографические данные.

Родился я в 1860 году, в городе Таганроге (на берегу Азовского моря). Дед мой был малоросс, крепостной; до освобождения крестьян он выкупил на волю всю свою семью, в том числе и моего отца. Отец занимался торговлей.

Образование я получил в Таганрогской гимназии, потом в Московском университете по

медицинскому факультету, откуда был выпущен со степенью врача. Литературою стал я заниматься в 1879 году. Работал я в очень многих повременных изданиях, печатая по преимуществу небольшие рассказы, которые с течением времени и послужили материалом для сборников: «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди». Писал я и пьесы, которые ставил на казенных и частных сценах.

В 1888 г. императорская Академия наук присудила мне Пушкинскую премию.

В 1890 г. я совершил путешествие через Сибирь на остров Сахалин для знакомства с каторжными работами и ссыльной колонией. Когда выйдет в свет моя книга о Сахалине, я пришлю ее Вам, а Вы мне за это пришлите Ваш перевод моих рассказов.

Зовут меня Антоном Павловичем (Anton Pavlovitsch).

Чехов — Августину Врзалу. 14 августа 1891 г. Богимово

Вам нужна моя биография? Вот она. Родился я в Таганроге в 1860 г. В 1879 г. кончил курс в Таганрогской гимназии. В 1884 г. кончил курс в Московском университете по медицинскому факультету. В 1888 г. получил Пушкинскую премию.

В 1890 г. совершил путешествие на Сахалин через Сибирь и обратно морем. В 1891 г. совершил турне по Европе, где пил прекрасное вино и ел устриц. В 1892 г. гулял на именинах с В. А. Тихоновым. Писать начал в 1879 г. в «Стрекозе». Сборники мои суть: «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Рассказы», «Хмурые люди» и повесть «Дуэль». Грешил и по драматической части, хотя и умеренно.

Переведен на все языки, за исключением иностранных. Впрочем, давно уже переведен немцами. Чехи и сербы также одобряют. И французы не чужды взаимности. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. С товарищами, как врачами, так равно и литераторами, пребываю в отличнейших отношениях. Холост. Желал бы получать пенсию. Медициной занимаюсь и даже настолько, что, случается, летом произвожу судебно-медицинские вскрытия, коих не совершал уже года 2–3. Из писателей предпочитаю Толстого, а из врачей — Захарьина.

Однако все это вздор. Пишите что угодно. Если нет фактов, то замените их лирикою.

Чехов — В. А. Тихонову. 22 февраля 1892 г. Москва

Мое curriculum vitae <жизнеописание>, так сказать, Вам известно в главных чертах. Медицина

— моя законная жена, литература незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга. Кончил я в университете (Моск.) в 1884 г. В 1888 г. получил Пушкинскую премию. В 1890 г. ездил на Сахалин, о котором хочу выпустить целую книгу. Вот и весь мой послужной список. Впрочем, еще одно: в 1891 г. путешествовал по Европе. Холост. Не богат и живу исключительно заработком. Чем старее становлюсь, тем меньше и ленивее работаю. Старость уже чувствую. Здоровье неважное. Что же касается пантеизма, о котором Вы написали мне несколько хороших слов, то на это я Вам вот что скажу: выше лба глаза не растут, каждый пишет, как умеет. Рад бы в рай, да сил нет. Если бы качество литературной работы вполне зависело лишь от доброй воли автора, то, верьте, мы считали бы хороших писателей десятками и сотнями. Дело не в пантеизме, а в размерах дарования.

Чехов — И. И. Островскому. 11 февраля 1893 г. Мелихово

Вы желали получить от меня автобиографию, а для меня это нож острый. Не могу я писать о себе самом.

Чехов — М. О. Меньшикову. 5 января 1894 г. Мелихово

В пушкинских праздниках я не участвовал. Во-первых, нет фрака, и, во-вторых, я очень боюсь речей. Как только кто за юбилейным обедом начинает говорить речь, я становлюсь несчастным, и меня тянет под стол. В этих речах, особенно московских, много сознательной лжи, к тому же они некрасиво говорятся.

Чехов — М. О. Меньшикову. 4 июня 1899 г. Мелихово

Автобиография? У меня болезнь: автобиографофобия. Читать про себя какие-либо подробности, а тем паче писать для печати — для меня это истинное мучение. На отдельном листочке посылаю несколько дат, весьма голых, а больше не могу. Если хотите, то прибавьте, что, подавая ректору прошение при поступлении в унив<ерситет>, я написал: «по медицынскому факультету».

Чехов — Г. И. Россолимо. 11 октября 1899 г. Ялта

Я, А. П. Чехов, родился 17 января 1860 г., в Таганроге. Учился сначала в греческой школе при церкви царя Константина, потом в Таганрогской гимназии. В 1879 г. поступил в Московский университет на медицинский факультет. Вообще о факультетах имел тогда слабое понятие и

выбрал медицинский факультет — не помню, по каким соображениям, но в выборе потом не раскаялся. Уже на первом курсе стал печататься в еженедельных журналах и газетах, и эти занятия литературой уже в начале восьмидесятых годов приняли постоянный, профессиональный характер. В 1888 г. получил Пушкинскую премию. В 1890 г. ездил на о. Сахалин, чтобы потом написать книгу о нашей ссыльной колонии и каторге. Не считая судебных отчетов, рецензий, фельетонов, заметок, всего, что писалось изо дня в день для газет и что теперь было бы трудно отыскать и собрать, мною за 20 лет литературной деятельности было написано и напечатано более 300 печатных листов повестей и рассказов. Писал я и театральные пьесы.

Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом

всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем.

К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу; и к тем, которые до всего доходят своим умом, — не хотел бы принадлежать.

Что касается практическ<ой> медицины, то еще студентом я работал в Воскресенской земской больнице (близ Нового Иерусалима), у известного земского врача П. А. Архангельского, потом недолго был врачом в Звенигородской больнице. В холерные годы (92, 93) заведовал Мелиховским участком Серпуховского уезда.

<Автобиография, посланная Г. И. Россолимо>. 1899

Портрет

У Чехова каждый год менялось лицо:

В 79 г. по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком.

В 84 г.: мордастый, независимый; снят с братом Николаем, настоящим монголом.

В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый, башкирский малый.

В 90 г.: красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку.

В 92 г.: типичный земский доктор.

В 97 г.: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно в упор.

А потом: какое стало тонкое лицо!

И. А. Бунин. Чехов

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. Слово «увалень» совсем не подходит к хорошо сложенному, выше среднего роста мальчику. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спо-

койное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича!

И. А. Бунин. Чехов

Передо мной стоял высокий стройный юноша, одетый очень невзыскательно, по-провинциальному, с лицом открытым и приятным, с густой копной темных волос, зачесанных назад. Глаза его весело улыбались, левой рукой он слегка пощипывал свою молодую бородку.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове

В те времена, т. е. в 1889–1890 гг., Антон Павлович Чехов был высокий, стройный и весьма красивый молодой человек, широкие плечи ко-

торого не говорили даже о тени болезненности. Лицо у него было живое, открытое, с прекрасными светло-карими глазами, «как копейки», очень умными, иногда задумчивыми, но чаще блестевшими огнем веселого и добродушного юмора. Волосы на его голове, волнистые, темные и обильные, формой пряди напоминали волосы Антона Рубинштейна. Небольшая бородка и пробивающиеся усы каштанового цвета несколько упрощали это оригинальное, останавливающее на себе ваше внимание лицо.

Н. М. Ежов. Алексей Сергеевич Суворин

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и

какой-то, почти детской, непосредственностью.

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Я познакомился с Чеховым, как уже поминал выше, в самом начале 87-го года. Один из русских писателей, рассказывая о первой встрече с Чеховым приблизительно в то же время, писал, что в лице Чехова он нашел много сходства с лицом простого деревенского парня, и это же подтвердил кто-то из его семьи. О таких субъективных впечатлениях не спорят. Мне же Чехов показался всего более похожим на интеллигентного, бесконечно симпатичного студента, каким, в сущности, он и был года за два, за три до нашей встречи. От этого времени сохранился замечательный портрет Чехова, дающий о нем превосходное представление. Мне он подарен Чеховым в апреле 1889 года (под надписью на портрете есть дата), но снят в Петербурге у Пазетти, кажется, годом раньше; лицо в три четверти; на Чехове пиджак, крахмальная сорочка и белый галстук.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Чехов был одним из самых душевных людей, которых я знал когда-либо. Я не скажу ничего нового, отметив, что в Чехове были видны большой

ум и большая духовная сила, но, кроме того, в его внешности, в манере держать себя сквозило какое-то врожденное благородство, точно он был странным и чуждым пришельцем в доме родителей, быть может и милых (мать Чехова), но совсем уже не затейливых людей. И мне казалось, что от Чехова не может укрыться ни малейшая фальшь и ему невозможно солгать; позже то же писал о Льве Толстом один из знакомых Толстого. Очень талантливым членом семьи Чеховых был рано умерший художник — Николай, но это был простой, очень несложный «рубаха-парень». Антон Чехов стоял от него на недосягаемой высоте, и появление Антона в семье Чеховых было для меня загадкою, которой я не мог разрешить за всю жизнь.

В восьмидесятых годах, когда я познакомился с Чеховым, он казался мне очень красивым, но мне хотелось услышать женское мнение о наружности Чехова, и я спросил одну женщину исключительной красоты, когда-то встречавшуюся с Чеховым: что представлял собой Чехов на женский взгляд?

Она ответила:

— Он был очень красив.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без излишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности.

Через час можно было определить еще две отметных черты.

Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, — в помине не было этой улыбки, которая не сходит с лица двух собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме. Знаете эту напряженную любезную улыбку, выражающую: «Ах, как мне приятно с вами беседовать» или «У нас с вами, конечно, одни и те же вкусы».

Его же улыбка — это второе — была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому

поводу дольше улыбаться и не следует.

Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов

Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие, — от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты… Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естественен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Прирожденная скромность, особая мера, даже застенчивость — всегда были в Антоне Павловиче.

К. А. Коровин. Из моих встреч с А. П. Чеховым

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался

смехом, ликовал; я не знаю, кто бы мог еще смеяться так — скажу — «духовно».

М. Горький. А. П. Чехов

Однажды, собравшись к автору только что выпущенной книги «В сумерках», я подошел к его квартире. Чехов тогда жил на Кудринской Садовой, в доме доктора Корнеева, и окна его кабинета выходили в палисадник и на двор. Я заглянул в окошко — и остановился.

Чехов сидел один за письменным столом и что-то быстро-быстро писал. Перо так и бегало по бумаге. Должно быть, он сочинял что-нибудь новое…

Я долго глядел на него. Красивые волосы волнами падали ему на лоб; он положил перо, задумался и вдруг… улыбнулся. Это улыбка была особая, без обычной доли иронии, не юмористическая, а нежная и мягкая. И я понял, что это была улыбка счастья, писательского счастья, — беллетрист, творя, набрел на удачный тип, образ, фразу, и это доставило ему те радостные переживания, которые только пишущим понятны…

Н. М. Ежов. Алексей Сергеевич Суворин

Положительный, трезвый, здоровый, он мне напоминал тургеневского Базарова. <…> Тонкий,

неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений, он, казалось, держал себя в мундштуке холодной иронии и с удовольствием чувствовал на себе кольчугу мужества.

Мне он казался несокрушимым силачом по складу тела и души.

И. Е. Репин. О встречах с А. П. Чеховым

В амбулатории, в ожидании прихода больных, уже сидел Антон Павлович, только что приехавший из Мелихова. Это был молодой человек выше среднего роста, стройный, с продолговатым, правильным и чистым лицом, обрамленным темно-русой бородой. Его глаза светились умом и приветливостью. Общее впечатление от его наружности было в высшей степени приятное, располагающее к нему.

М. Е. Плотов. Большое сердце

Приехав в конце апреля в Мелихово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в остроумовской клинике. Лицо было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то что вечер был на редкость

теплый… Помню, в ожидании ужина, мы сидели на скамеечке возле его дома, в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов; рядом, у ног Чехова, лежал, свернувшись, его мелиховский любимчик, собачка Бром, маленькая, коричневая, презабавная, похожая на шоколадную сосульку… Чеховски деликатно, меткими полунамеками, А. П. повествовал мне о своих житейских невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление.

— Знаете, Жан, что мне сейчас надо? — заключил он, и в его голосе звучала страдальческая нота. — Год отдохнуть! Ни больше ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие; когда вздумается — погулять, когда вздумается — почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать… Понимаете, один только год передышки, а затем я снова примусь работать как каторжный!

Я исподлобья взглянул на Чехова и подумал: «Боже мой! что сделала „литература“ с человеком в какие-нибудь десять лет! Тогда, при первой встрече в гостинице „Москва“, это был цветущий юноша, а теперь… чуть только не старик».

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове

Осень в тот год <1898> выдалась исключительная даже для Крыма. Чехов был в прекрасном настроении. Он тогда еще имел довольно бодрый вид и выглядел, пожалуй, не старше своих тридцати восьми лет, был худ и, несмотря на то что ходил несколько сгорбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся уже складки у глаз и углов рта, порой утомленные глаза, а главное, на наш врачебный глаз, заметная одышка, особенно при подъемах, обусловленная этой одышкой степенная, медленная походка и предательский кашель говорили о наличности недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Было два верных способа сделать неприятность Чехову и заставить его съежиться: это — коснуться поподробнее его здоровья или его текущих литературных работ.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил доволь-

но оживленно, но еще более просто и кратко и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо.

И. А. Бунин. Чехов

Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки — слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «На земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное — в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова — именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое

прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков — словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и на-

ивным взглядом несколько исподлобья. И вот — удивительно — каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб — широкий, белый и чистый, прекрасной формы; лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека — у Толстого.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

И вот, весной 1902 г., проездом через Москву на юг России, я решился остановиться между двумя поездами, узнав, что Чехов в Москве, и поехал к нему на авось, без предупреждения.

На вопрос: «Дома ли Антон Павлович?» — я услышал, вероятно, общее распоряжение для всякого нового лица: «Дома нет». Я подал карточку и просил доложить Ольге Леонардовне. Через минуту меня попросили войти в кабинет; Антон Павлович вошел быстрым и, показалось мне, бодрым шагом, с веселой улыбкой, приветливый, радушный: «Это вы? Наконец-то, давно пора… Садитесь. Ну, что, скоро у нас будет конституция?»

Наружность Чехова много раз описывали. Меня только поразило, что он выше ростом, чем я представлял себе. Затем покоряли глаза и удивительно приятный тембр голоса. Глаза вовсе не голубые, как писали, а карие, лучистые, ласковые и немного вопросительные. Антон Павлович сел спиной к свету, но, только сошла улыбка с его лица, обнаружились морщины, землистый цвет колеи, что-то болезненно потухающее.

Ф. Д. Батюшков. Две встречи с А. П. Чеховым

Из коляски легко, по-молодому, выскочил Морозов, без фуражки, в парусиновой блузе и высоких охотничьих сапогах. Его лицо — монгольского бородатого божка — хитро щурилось.

— А я вам гостя привез! — шепнул он мне, здороваясь.

Следом за ним с подножки коляски осторожно ступил на землю высокий, сутулый человек, в кепке, узком черном пиджаке, с измятым галстуком-бабочкой. Его лицо в седеющей, клином, бородке было серым от усталости и пыли. У левого бедра на ремне через плечо висела в кожаном футляре квадратная фляжка, какую носят охотники. Помятые брюки просторно болтались на длинных, сходящихся коленями ногах.

В нескольких шагах от нас он вдруг глухо и

надолго закашлялся. Потом отвинтил от фляжки никелированную крышку и, отвернувшись конфузливо в сторону, сплюнул в отверстие фляжки вязкую мокроту… Молча подал мне влажную руку… Поправил пенсне… Прищурившись, оглядел с высокого откоса млеющие в горячем тумане заречные дали, провел взглядом по изгибам полусонной речки и сказал низким, хриповатым от кашля голосом:

— А, должно быть, здесь щуки водятся?!

Это был Чехов.

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Зиму 1903–1904 годов Чехов провел в Москве. Он неохотно и как бы мимоходом говорил о своей болезни. Но то, что он скрывал в разговоре, предательски выдавал его внешний вид. Лицо осунулось, поблекло, на лбу залегли резкие морщинки. Заметно тронула и седина. Всего же более выдавал тревожное предчувствие частый, хриплый кашель — признак углубленного процесса в легких.

В. П. Тройнов. Встречи в Москве

Последний раз я видел А. П. зимой, в год его смерти, в Москве, на литературной «среде» у Н. Д. Телешова. <…> У Антона Павловича недуг был

в полном развитии. Внешний вид его был вид страдальца. Глядя на него, как-то не верилось, что это тот прежний Чехов, которого я раньше встречал. Прежде всего поражала его худоба. У него совсем не было груди. Костюм висел на нем, как на вешалке. Но, несмотря на такое состояние, А. П. был очень мил, общителен, шутливо говорил с И. А. Белоусовым, рассказывал кое-что о себе, о своих первых неудачах на литературном поприще… Все внимательно его слушали, смеялись, но всем чувствовалось, что это — недолгий жилец на свете, и становилось невольно грустно.

С. Т. Семенов. О встречах с А. П. Чеховым

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду, — настоятельно говорил он. — Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде». Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю… Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

«Чехов неуловим. В нем было что-то необъяснимо нежное», — сказал, осматривая мою работу, В. А. Серов, который так же обожал Антона Павловича и когда-то сделал с него набросок.

Н. П. Ульянов. К портрету А. П. Чехова

Характер

Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч. и проч., но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что. Ведь у меня дедушка, по убеждениям, был ярый крепостник.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 11 февраля 1903 г. Ялта

Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну:

— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?

— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.

Замечательно.

И. А. Бунин. Чехов

На душе скверно, и слезы душат <после похорон брата Николая>. Ревут все. Не плачет только один Антон, а это — скверно.

Ал. П. Чехов — П. Е. Чехову. 19 июля 1889 г. Сумы

Я помню далее, что в моисеевском доме я «дружил» с тобою. У нас был опешенный всадник «Василий» и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для Васьки, возжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев, в которых деревянному наезднику Ваське с растопыренными дугою ногами отводилось первое место. Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему: «у кашалота голова большая?» Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды, «дружа» с тобою, я, долго и тоскливо глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова.

Затем я раздружил с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел, прося: «дружи со мною!», но я остался непреклонен и счел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен в это время в мою первую любовь — Соню Никитенко… Мне было не до тебя.

Далее протекли года. Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом Антонием, припоминаю тебя в приготовительном классе, помню, как мы с тобою оставались хозяевами отцовской лавки, когда

он уезжал с матерью в Москву, и в конце концов останавливаюсь на тарсаковской лавке, где ты пел: «Таза, таза, здохни!» Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно в сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и сам не знаю, почему заплакал…

Ал. П. Чехов — Чехову, 17 января 1886 г. Новороссийск

Я почему-то не в духе и пишу всем ругательные письма. Ответил ругательно Баранцевичу на одно его письмо. Ответил ругательно А. Леману, который прислал мне предложение — печатать в своих книгах общее объявление о книгах тех из молодых писателей, «которые более или менее солидарны с нами». Я ответил ему согласием и фразой: «Откуда Вам известно, с кем я солидарен

и с кем не солидарен?» Вообще замечаю, что мой характер начинает изменяться, и к худшему. Меняется и моя манера писать — тоже к худшему… Мне сдается, что я утомился, а впрочем, черт его знает…

Чехов — В. Г. Короленко. 2 мая 1888 г. Москва

Подуло холодищем, и стало противно; я тоже с удовольствием уехал бы куда-нибудь, но черт дернул меня в прошлом году дать слово не покидать уезда, если будет холера. У меня не характер, а мочалка. Черткову я отдал «Палату № 6», потому что перед весной и весной я находился в таком настроении, что мне было все равно. Если бы он стал просить все мои произведения, то я отдал бы, и если бы он пригласил меня на виселицу, то я пошел бы. Этакое безличное и безвольное состояние держит меня иногда по целым месяцам. Этим отчасти и объясняется весь строй моей жизни.

Чехов — А. С. Суворину. 18 августа 1893 г. Мелихово

Мороза нет, но погода все еще скверная. Я никак не согреюсь. Пробовал писать в спальне, но ничего не выходит: спине жарко от печи, а груди и рукам холодно. В этой ссылке, я чувствую, и характер мой испортился, и весь я испортился.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 9 февраля 1903 г. Ялта

Милая лошадка, я все это время выказывал свой крутой характер, прости меня. Я муж, а у мужей, как говорят, у всех крутой характер. Только что меня позвали к телефону, говорил Лазаревский из Севастополя; сообщил, что сегодня вечером приедет ко мне, пожалуй останется ночевать, и опять я буду злиться.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 21 ноября 1903 г. Ялта

Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником, а был человеком в полном значении этого слова. И те уравновешенность и трезвость, которыми он всех изумлял, явились результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями. Художник помогал ему в этой борьбе, он требовал для себя все его время и все силы, а жизнь ничего не хотела уступить без боя. И она права: чтобы быть великим знатоком жизни, нужно испытать ее ласки и удары на самом себе. Разве Гёте и Пушкин были праведники, разве они не были «в забавах суетного света малодушно погружены»?

И в жизни Чехова было все, все было пережито

им — и большое, и ничтожное. И если полноте переживаний часто мешали его осторожность и как бы боязнь взять на себя всю ответственность, то причиной этого был талант, который требовал от него большой службы и ревновал его к жизни.

Но Чехов-человек страдал от этого. Испытывая постоянно потребность в нежности, он до самых последних лет был лишен личной жизни. Он думал, что она отнимет у него как у художника слишком много внимания и сил. И когда наконец он позволил себе эту роскошь, вот какими словами он определил свое состояние:

«Ты спрашиваешь, правда ли, что я женился? Это правда, но в наши годы это уже ничего не меняет».

Это, конечно, было преувеличено. Мы знаем, что женитьба не была для него таким безразличным фактом. Но может быть, в этой грустной оговорке сказалось сознание, что большое личное благо он допустил к себе слишком поздно.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и

наставительность.

И. А. Бунин. Чехов

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большие, сухие, приятные.

Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

И. А. Бунин. Чехов

Уже за пределами спальни начинался чуждый мир, в котором надо было выглядеть достойно.

За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.

Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок… Ведь до тридцати лет написаны

«Скучная история», «Тиф» и другие, поражающие опытом его произведения.

Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.

И. А. Бунин. Чехов

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда

по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа — работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагал вопрос, на который только что получил ответ.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Очень широкое добродушие А. П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и

окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали, во многих воспоминаниях, образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, вглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще влиять, в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и… таинственно. Кому из работавших с Чеховым не известно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом либо еще более

странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? — а Чехова вгоняли в краску и конфуз. Это — разрешалась вслух, в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских экспромтов, но особенно богаты ими воспоминания актеров московского Художественного театра. Типический аналитик-материалист, «сын Базарова», неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и приятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным переисследованием, а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного из них не решусь признать на то способным. То, что имело вид

влияния, очень часто было просто своеобразным «непротивлением злу», то есть какому-нибудь дружескому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности. А иногда и по той, слегка презрительной, лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивой внешней дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес «папа» и «мама», до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое «ich sterbe».

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

В застегнутом на все пуговицы сюртуке мне тогда уже бросилась в глаза худая грудь. Тощая, среднего роста фигура, открытое и умное лицо, необычайная простота в разговоре и особенный честный тон — иначе я затрудняюсь назвать — эти черты мне показались страшно знакомыми и дорогими. Это черты хорошей тогдашней интеллигенции, нынче уже как будто исчезающей. Поколение Чехова, воспитанное на Белинском,

Добролюбове, Писареве, выдвинуло ряд разнообразных типов; между ними были и грубые, с оттенком пошлого во всем цинизма, но были и удивительные по нравственной красоте. Мне показалось, что Чехов принадлежит к благороднейшим людям этого поколения, и я не ошибся. Скажу прямо, я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню. Это не была напускная, как у многих, выработанная простота, а требование души, для которой всякая фальшь была мучительна. <…>

Глядя на Чехова, я часто думал: вот какими будут русские, когда они окончательно сделаются европейцами. Не утрачивая милой мягкости славянской души, они доведут ее до изящества. Не потеряв добродушия и юмора, они сбросят только цинизм. Не расставаясь со своей природой, они только очистят ее от заскорузлой тины, грязи, лени, невежества и еще раз лени. Русский европеец — я его представляю себе существом трезвым, воспитанным, изящным, добрым и в то же время много и превосходно работающим. Таким был Чехов как человек, помимо его прекрасного таланта.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Семья

Царствование Николая I.

1825 Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых.

1830 Помню, что мать моя пришла из Киева и я ее увидал.

1831 Помню сильную холеру, давали деготь пить.

1832 Учился грамоте в с<ельской>. школе, преподавали по А<з>[illegible] Б<уке>. по-граждански.

1833 Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору. <…>

1841 Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. ас<сигнациями> по 700 р. за душу. <…>

1844 Из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля к купцу Кобылину.

1845 Начал там заниматься торговлею по конторской части.

1854 Вступил в брак с девицею Е. Я. Морозовою 29 октября. <…>

1860 По выбору целого городского общества утвержден ратманом таганрогской полиции 2 генваря градоначальником. Родился у нас сын

Антоний 17 генваря. <…>

1875 Александр, сын, окончивший курс в Таганрогской клас. гимназии с серебряной медалью, отправился с братом Николаем, гимназистом V кл., в Москву 10 августа. Александр поступил в университет, а Николай в школу художественной живописи и ваяния.

1876 Окончательно я оставил собственную торговлю и Таганрог, выехал в Москву 23 апреля.

В этом же году приехали в Москву Евгения Яковлевна и дети Маша и Миша 25 июля. <…>

1878 Антоша остался в Таганрогской гимназии оканчивать учение. <…>

1879 Антоша по окончании курса в Таганрогской гимназии приехал в Москву 8 августа для поступления в университет. По возвращении из Москвы и Калуги Георгий Михайлович, родоначальник наш, умер 12 марта в слободе Твердохлебовое Бог. уез.

1881 Кончина Александра II, царствование Александра III.

Жизнь Павла Чехова

Я не знаю, кто был наш прадед с отцовской стороны, Михаил Емельянович. Со слов отца мне известно, что у прадеда был брат, Петр Емельянович, который по какому-то случаю собирал

на построение храма, исходил всю Россию пешком вдоль и поперек и действительно выстроил церковь в Киеве. Наша семейная хронология застает нашего деда, Егора Михайловича, в селе Ольховатке, Воронежской губернии, Острогожского уезда, уже женатым, имеющим трех сыновей и дочь. Все они — крепостные помещика Черткова, внук которого впоследствии был ближайшим единомышленником Льва Толстого. Ненасытная жажда свободы заставила нашего деда выкупиться на волю еще задолго до всеобщего освобождения крестьян. На выкуп дочери Александры у него денег не хватило, и, прощаясь с помещиком, он убедительно просил его не продавать ее на сторону, а подождать, пока у него будут деньги и он сможет выкупить и ее. Чертков подумал, махнул рукой и сказал:

— Так уж и быть, бери ее в придачу.

И стала таким образом свободной и моя тетушка Александра Егоровна.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дела их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал,

закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие.

Чехов — М. М. Чехову, 29 июля 1877 г. Таганрог

У него была большая семья: отец, мать, четыре брата и сестра. По моим впечатлениям, отношение к ним у него было разное, одних он любил больше, других меньше. На одной стороне была мать, два брата и сестра, на другой — отец и другие два брата. Брат Николай, молодой художник, умер от чахотки как раз в годы нашего первого знакомства. Его другого брата, Ивана, о котором я уже упоминал, я постоянно встречал у Антона Павловича и в деревне, и в Крыму. Он — это я почувствовал особенно ярко после смерти Антона Павловича — необыкновенно напоминал его голосом, интонациями и одним жестом: как-то кулаком по воздуху делать акценты на словах.

Я не знаю точно, какое отношение было у А. П. к отцу, но вот что раз он сказал мне.

Это было гораздо позднее, когда мы уже были близки. Мы оба были зимой на Французской Ривьере и однажды шли вдвоем с интимного обеда от известного в то время профессора Максима Ковалевского — у него была своя вилла в Болье.

Мы шли «зимней весной», в летних пальто, среди тропической зелени, и говорили о молодости, юности, детстве, и вот что я услыхал:

— Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек.

А к матери у него было самое нежное отношение. Его заботливость доходила до того, что, куда бы он ни уезжал, он писал ей каждый день хоть две строчки. Это не мешало ему подшучивать над ее религиозностью. Он вдруг спросит:

— Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?

— Ну, опять! Антоша вечно такое скажет!.. — Она говорила мягким, приятным, низким голосом, очень тихо.

И вся она была тихая, мягкая, необыкновенно приятная.

Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его

письма и т. д.

И Антон Павлович относился к сестре с необычайной преданностью. Впоследствии, судя по опубликованным письмам, это даже возбуждало временами ревность его жены, О. Л. Книппер.

Антон Павлович очень рано стал «кормильцем» всей семьи и, так сказать, главой ее. Я не помню, когда умер отец. Я встречал его редко. Осталась в памяти у меня невысокая суховатая фигура с седой бородой и с какими-то лишними словами.

Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов

Папаша по-прежнему философствует и задает вопросы вроде: зачем тут лежит снег? Или: почему там есть деревья, а здесь нет? Читает все время газеты и потом рассказывает матери, что в Петербурге учреждается общество для борьбы с классификацией молока. Подобно всем таганрожцам, не способен ни к какой другой работе, кроме как возжиганию светильников. С мужиками говорит строго.

Чехов — Ал. П. Чехову. 21 марта 1892 г. Мелихово

Старик-купец тоже не похож на моего отца, так как отец мой до конца дней своих останется

тем же, чем был всю жизнь, — человеком среднего калибра, слабого полета. Что же касается религии, то молодые купцы относятся к ней с раздражением. Если бы Вас в детстве секли из-за религии, то Вам это было бы понятно.

Чехов — А. С. Суворину, 21 января 1895 г. Мелихово

Гуськов!

Отвечаю на твое последнее письмо. Первее всего приглашаю тебя к хладнокровию и смотрению в корень вещей. Во-вторых, сообщаю тебе сице:

Детей твоих пристроить можно, но под непременным условием, что ты поручишься перед кем или перед чем хочешь, что ни трус, ни потоп, ни огонь, ни меч, ниже моровая язва не могут помешать тебе быть аккуратным, т. е. в определенное число месяца высылать определенное количество рублей. В деньгах вся суть. Ни благочестие дедушки, ни доброта бабушек, ни нежные чувства папеньки, ни великодушие дяденек — ничто не может заменить их. Сие помни, как я ежеминутно помню. Если сознаешь, что предложенное условие по силам тебе, то чти дальше.

Пятидесяти рублей в месяц достаточно. Меньше нельзя. Дети поступят под ферулу бабушки… Какой? Не Евгении Яковлевны… Жить у Е<вге-

нии> Я<ковлевны> значит жить у меня… У меня же тесно и для детей положительно нет места. Плачу я за квартиру 750 руб… Если прибавить еще 2 комнаты для детей, няньки и детского хлама, то квартира будет стоить 900… Впрочем, в любой просторной квартире нам было бы тесно. Ты знаешь, у меня скопление взрослых людей, живущих под одной крышей только потому, что в силу каких-то непонятных обстоятельств нельзя разойтись… У меня живут мать, сестра, студент Мишка (который не уйдет и по окончании курса), Николай, ничего не делающий и брошенный своею обже, пьющий и раздетый, тетка и Алеша (последние два пользуются только помещением). К этому прибавь, что от 3 часов до ночи и во все праздники у меня толчется Иван, по вечерам приходит батька… Все это народ милый, веселый, но самолюбивый, с претензиями, необычайно разговорчивый, стучащий ногами, безденежный… У меня голова кружится… Если же прибавить еще две детские кровати и няньку, то я должен буду залить воском уши и надеть черные очки… Будь у меня жена и дети, я охотно взял бы к себе еще хоть дюжину детей, но в теперешнюю семью, угнетаемую ненормальностью совместного жития, шумную, денежно беспорядочную и ис-

кусственно склеенную, я не решусь взять нового человека, да еще такого, которого надо воспитать и поставить на ноги. К тому же моя семейка вся едет в начале мая на юг. Возить с собой детей туда и обратно — неудобно и дорого.

Жить детям можно у бабушки Ф<едосьи> Я<ковлевны>. Я с ней уже говорил об этом, сообщил твои и мои мотивы, и она охотно согласилась.

Чехов — Ал. П. Чехову. После 28 апреля 1888 г. Москва

В Мелихове А. П., окруженный родными, вел тихую жизнь, наполненную чтением книг, которых выписывал множество, и неторопливой работой. Жили тут отец его, Павел Егорыч, мать, Евгения Яковлевна, сестра, Марья Павловна, и младший брат, Михаил Павлович.

Но, несмотря на присутствие в доме старших родных, главой его был А. П. Во всем господствовали его вкусы, все делалось так, чтобы ему нравилось.

К матери своей он относился с нежностью, отцу же оказывал лишь сыновнее почтение, — так по крайней мере мне казалось. Предоставляя ему все, что нужно для обстановки спокойной старости, он помнил его былой деспотизм в те времена, когда в Таганроге главой семьи и кор-

мильцем был еще он. В иные минуты, указывая на старика, который теперь стал тихим, мирным и благожелательным, он вспоминал, как, бывало, тот заставлял детей усердно посещать церковные службы и при недостатке усердия не останавливался и перед снятием штанишек и постегиванием по обнаженным местам.

Конечно, это вспоминалось без малейшей злобы, но, видимо, оставило глубокий след в его душе. И он говорил, что отец тогда был жестоким человеком.

И не только того не мог простить А. П. отцу, что он сек его — его, душе которого было невыносимо всякое насилие, — но и того, что своим односторонне-религиозным воспитанием он омрачил его детство и вызвал в душе его протест против деспотического навязывания веры, лишил его этой веры. <…>

И хотя в то время все это уже давно кончилось и старик уже совершенно перестал быть действующим лицом в его жизни, а только сидел и, постоянно молясь и читая душеспасительные книги, беззаботно доживал свой век, радуясь знаменитости своего сына, и хотя А. П. относился к нему дружески и почтительно и ни единым намеком не напоминал о прошлом, но прошлое

оставило слишком глубокий след в чуткой душе и не было забыто.

И мне всегда казалось, что к отцу он относился без той теплоты, которая согревала его отношения к матери, сестре и братьям. Особенно же к матери, которая при таганрогском главенстве Павла Егоровича едва ли имела в семье тот голос, на какой имела право. Теперь, когда главой семьи сделался А. П., она получила этот голос.

И уж платила она ему какой-то благоговейной нежностью. Казалось, забота о том, чтобы всякое желание А. П. было тотчас же, как по щучьему веленью, исполнено, составляла цель ее жизни. Всякая перемена в его настроении отражалась в ее лице. Его привычки и маленькие капризы были изучены. Ему, например, не нужно было заявлять о том, что он хочет есть и пора подавать обед или ужин, а стоило только остановиться перед стенными часами и взглянуть на них. В ту же минуту она била тревогу, вскакивала, бежала на кухню и торопила все и всех.

Братья его в то время были уже взрослые люди, и каждый занимал определенное положение. Старший, Александр Павлович, жил в Петербурге, и я не имел возможности близко наблюдать его отношения к А. П.

Другие же, Иван и Михаил, к которым он относился по-товарищески, помимо чисто братской привязанности, выделяли его как главу семьи, благодаря таланту которого скромное и дотоле неведомое имя — Чехов — было окружено почетным ореолом.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать — по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги — всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, — разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

— Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

— Вот садитесь-ка на эту, проезжайте, — как идет! Только что с Дона привели! — и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: — Эх, бывало, и я когда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было — скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова.

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его и, хотя изредка, все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Старики были чудесные. Отец, Павел Егорович, высокий, крупный, благообразный старик, в свое время был крутенек и воспитывал детей по старинке, почти по Домострою — строго и взыскательно. Но ведь в его время широко было распространено понятие «любя наказуй», и строг

он был с сыновьями не из-за жестокости характера, а, как он глубоко верил, ради их же пользы. Но в дни, когда я узнала его, он вполне признал главенство А. П. Он чувствовал всей своей крепкой стариковской справедливостью, что, вот, он вел свои дела неудачно, не сумел обеспечить благосостояние своей семьи, а «Антоша» взял все в свои руки, и вот теперь, на старости лет, поддерживает их и угол им доставил — и оба они, и старик, и старушка, считали главой дома «Антошу». Павел Егорович всегда подчеркивал, что он в доме не хозяин и не глава, несмотря на трогательно почтительную и шутливую нежность, с которой молодые Чеховы с ним обращались: но в этой самой шутливости, конечно, уже было доказательство полнейшего освобождения от родительской власти, бывшей когда-то довольно суровой. Однако ни малейшего по этому поводу озлобления или раздражения у старика не чувствовалось.

Он жил в своей светелке, похожей на монашескую келью, днем много работал в саду, а потом читал свои любимые «божественные книги» — огромные фолианты жития святых, «Правила веры» и пр. Он был очень богомолен: любил ездить в церковь, курил в доме под праздник

ладаном, соблюдал все обряды, а у себя в келье отправлял один вечерню и всенощную, вполголоса читая и напевая псалмы. Помню, часто — когда я проходила зимним вечером мимо его комнаты в отведенную мне, я слышала тихое пение церковных напевов из-за дверей, и какой-то особенный покой это придавало наступлению ночи…

Ко мне он благоволил. Я всегда любила стариков и старушек, часто, в годы юности, именно их делала героями своих рассказов, чувствуя всю невысказанную патетику старости и близкого ухода… И мне никогда не было скучно слушать стариковские рассказы и поучения, поэтому П. Е. охотно принимал меня у себя в келейке, давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был, — прямо ангельский… а вот теперь — отстал, не поет — что бы съездить в церковь да попеть?

Милый Павел Егорович! Когда он заболел и скончался — в отсутствие сына, — я никогда не забуду, как убивалась и плакала кроткая Евг<ения>. Як<овлевна>[illegible] и все повторяла беспомощно, с характерным южным придыханием на букву г:

— Голубчик мой, а сливы-то я намариновала —

так он их любил, и не попробует голубчик мой!

И было в этой бесхитростной «чеховской» фразе столько любви, и жалости, и заботы прожитой вместе жизни, сколько не уместилось бы в длинной, пышной речи.

Я никогда не видела, чтобы Е<вгения>. Я<ковлевна>. сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла… Она была великая мастерица на всякие соленья и варенья, и угощать и кормить было ее любимым занятием. Тут тоже она как бы вознаграждала себя за скудость былой жизни; и прежде, когда у самих не было почти ничего — если случалось наварить довольно картошки, она кого-нибудь уже спешила угостить. А теперь — когда появилась возможность не стесняться и не рассчитывать куска — она попала в свою сферу. Принимала и угощала как настоящая старосветская помещица, с той разницей, что все делала своими искусными руками, ложилась позже всех и вставала раньше всех.

Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием:

— А вдруг детка проголодается?..

И у нее в ее комнатке я любила сидеть и слушать ее воспоминания.

Большей частью они сводились к «Антоше».

С умилением она рассказывала мне о той, для нее незабвенной минуте, когда Антоша — тогда еще совсем молоденький студентик — пришел и сказал ей:

— Ну, мамаша, с этого дня я сам буду платить за Машу в школу!

(До этого за нее платили какие-то благожелатели.)

— С этого времени у нас все и пошло… — говорила старушка. — А он — первым делом, — чтобы все самому платить и добывать на всех… А у самого глаза так и блестят — «сам, говорит, мамаша, буду платить».

И когда она рассказывала мне это — у нее самой блестели глаза, и от улыбки в уголках собирались лучи-морщинки, делавшие чеховскую улыбку такой обаятельной. Она передала эту улыбку и А<нтону>. П<авловичу>., и М<арии> П<авловне>.

М. П. занималась всем по имению и особенно огородом. Хрупкая, нежная девушка с утра надевала толстые мужские сапоги, повязывалась белым платочком, из-под которого так хорошо

сияли ее лучистые глаза, и целые дни пропадала то в поле, то на гумне, стараясь, где возможно, уберечь Антошу от лишней работы.

Такой дружбы между братом и сестрой, как между А. П. и М. П., или Ма-Па, как он звал ее, мне видеть не приходилось. Маша не вышла замуж и отказалась от личной жизни, чтобы не нарушать течения жизни А. П. Она имела все права на личное счастье, но отказывала всем, уверенная, что А. П. никогда не женится. Он действительно не хотел жениться, неоднократно уверял, что никогда не женится, и женился поздно — когда уже трудно было предположить, что он на это пойдет по состоянию его здоровья. М. П. так и осталась в девушках и всю жизнь свою посвятила после его смерти хранению музея его памяти в Ялте, устроенного в их бывшем доме.

Из братьев старший, Иван Павлович, был тихий, серьезный человек с головой Христа. Нас с ним связывали хорошие личные отношения, я у него работала в народной читальне в Москве, урывая для этого дни от московской перегрузки. А младший, Михаил, был веселый, остроумный человек, обладавший всевозможными дарованиями — мастер на все руки. Он и писал — рассказы, пьески, — но ни одной минуты не завидовал

славе брата и спокойно нес свою литературную «неизвестность». С ним мы в Москве веселились, справляли «Татьяну» и т. п. Впоследствии он издавал журнал «Золотое детство», который целиком писал сам, причем дети его выдумывали ребусы и шарады, жена делала «приложения» в виде выкроек для кукол и т. п. Дружба наша не прекращалась до конца его жизни.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Доехали до слободы Крепкой, за 60 верст от Таганрога, остановились у местного священника отца Китайского, и там 10 августа 1855 года моя мать, Евгения Яковлевна, разрешилась от бремени первенцем — сыном Александром.

Это был впоследствии интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, сострадательный, изумительный лингвист и своеобразный философ. Он был литератором и писал под псевдонимом «А. Седой». Благодаря своим всесторонним познаниям он вел в газетах отчеты об ученых заседаниях, и сами лекторы специально обращались перед своими выступлениями к редакторам газет, чтобы в качестве корреспондента они командировали к ним именно моего старшего брата, Александра. Известный А. Ф. Кони и многие профессора и деятели науки

часто не начинали своих лекций, дожидаясь его прихода. Но точно в подтверждение того, что он родился в такие тревожные дни, — так сказать, под выстрелами неприятеля, — он страдал запоем и сильно и подолгу пил. В такие периоды он очень много писал, и то, что выходило у него во время болезни из-под пера, если попадало в печать, заставляло его потом сильно страдать. Так, его воспоминания о детстве Антона Чехова, о греческой школе и многое другое написаны им под влиянием болезни, и в них очень мало достоверного. Во всяком случае, к тому биографическому материалу, который напечатан им об Антоне Чехове, нужно подходить с большой осторожностью. Но когда он выздоравливал, когда он опять становился настоящим, милым, увлекательным Александром, то его нельзя было наслушаться: это была одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить. Он умер в 1913 году, оставив после себя сына, моего крестника Михаила Чехова, известного артиста Художественного театра.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Александр был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и мате-

матический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел.

Я спросил Антона Павловича:

— А не мучается ли он, что вы заслонили его как писателя?

Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:

— Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному… Вот и брат Михаил служил в финансо-

вом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних. У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся.

И. А. Бунин. Чехов

Цель настоящей эпистолы — сообщить тебе мое знакомство с Григоровичем. Сидел я в один недавний вечер в редакции «Н<ового> в<ремени>» и работал. За тем же столом сидел vis à vis <напротив> Коломнин и перебалтывался со мною. В сие время из Суворинской двери вылетает, как бомба, Григорович, юлит, вертится, хрустит суставами и набрасывается на меня, называя прямо по фамилии. Радость на его лице велия. Схватывает мою руку, начинает прижимать ее к своему правому карману и просто вопит: «Очень рад, ах, как я рад!» — Коломнин выпучил глаза и поспешил заявить, что я не ты, что старый талант ошибся. Но он заявил: «Того я знаю, с тем я знаком, мы — друзья, а этого я вижу, что это — брат того». Снова рукопожатие, чуть не поцелуй и затем быстрая, как капли дождя по стеклу, речь о тебе такого содержания: «Я говорил ему, ох, я писал ему, даже ругался, чтобы он не смел так много

писать. Увидите его — скажите, что „На пути“ — прелестная, чудодейственная вещь, а вот перед этой — с толстовщиной, с непротивлением злу — (пердеж губами) никуда не годится. <Речь идет о рассказе «Сестра», позднее назван «Хорошие люди».> Так и скажите!» И какого мотива ради он так много пишет? Денег ради? Напрасно. Лучше обработает — больше получит. Так скажете ему? Да? Скажите ему, что я его ругаю, ругаю, ругаю…»

С этими словами Григорович еще несколько раз прижал мою руку к сердцу, умилился, когда узнал, что ты держишь его портрет на своем столе, потом вдруг превратился в ртуть, закипел, рассыпался в шарики и исчез. Больше я его не видел, как говорят в элегиях. <…>

С верою и любовью приступаю к произнесению тебе дифирамба приветственного по случаю твоего тезоименитства, хотя и делаю скорее из приличия, чем по чувству. Если бы ты на свет не родился или превратился в «Тазу», назначение которого — «сдохнуть», то мне было бы легче. Я, по крайней мере, сохранил бы тогда свою собственную самостоятельную личность как единица и был бы просто Алек Палич: теперь же я — какой-то безличный прихвостень без имени. Я — брат того Чехова, который и т. д., словом,

твой брат. Все и везде меня представляют, рекомендуют и знакомят именно под этим титлом. Индивидуальность моя пропала. Менелай — муж царицы, а я — брат Антона. Уничтожить эту безличность невозможно: соверши я преступление — пожалеют тебя, скажут: у такого великого человека, как Ан., брат мерзавец. Соверши я подвиг — опять скажут: это знаете кто совершил? Брат того знаменитого и т. д. Одним словом, ты видишь, что мне на спину привешен несмываемый ярлык твоих заслуг, и моя собственная личность приравнена нулю.

Суди по этому, могу ли я тебя искренно поздравить с ангелом за такие подлости с твоей стороны? Право, лучше бы тебе на свет не родиться, чем видеть меня в этаком положении. Попробуй сдохнуть! Впрочем. И это не поможет. Тогда, пожалуй, будет еще хуже: я превращусь в брата покойного великого писателя… Нет, уж лучше живи и здравствуй, черт с тобой… Дела не поправишь, ибо ты бессмертен.

Ал. П. Чехов — Чехову. 14–16 января 1887 г.

Что мне делать с братом <Александром>? Горе, да и только. В трезвом состоянии он умен, робок, правдив и мягок, в пьяном же — невыносим. Выпив 2–3 рюмки, он возбуждается в высшей

степени и начинает врать. Письмо написано им из страстного желания сказать, написать или совершить какую-нибудь безвредную, но эффектную ложь. До галлюцинаций он еще не доходил, потому что пьет сравнительно немного. Я по его письмам умею узнавать, когда он трезв и когда пьян: одни письма глубоко порядочны и искренни, другие лживы от начала до конца. Он страдает запоем — несомненно. Что такое запой? Этот психоз такой же, как морфинизм, онанизм, нимфомания и проч. Чаще всего запой переходит в наследство от отца или матери, от деда или бабушки. Но у нас в роду нет пьяниц. Дед и отец иногда напивались с гостями шибко, но это не мешало им благовременно приниматься за дело или просыпаться к заутрене. Вино делало их благодушными и остроумными; оно веселило сердце и возбуждало ум. Я и мой брат-учитель <Иван> никогда не пьем solo, не знаем толку в винах, можем пить сколько угодно, но просыпаемся с здоровой головой. Этим летом я и один харьковский профессор вздумали однажды напиться. Мы пили, пили и бросили, так как ничего у нас не вышло; наутро проснулись как ни в чем не бывало. Между тем Александр и художник <Николай> сходят с ума от 2–3 рюмок и временами

жаждут выпить… В кого они уродились, бог их знает. Мне известно только, что Александр не пьет зря, а напивается, когда бывает несчастлив или обескуражен чем-нибудь.

Чехов — А. С. Суворину, 10 октября 1888 г. Москва

Николка (ты это отлично знаешь) шалаберничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош… Еще год-два, и песня нашего художника спета. Он сотрется в толпе портерных людей, подлых Яронов и другой гадости… Ты видишь его теперешние работы… Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно…, а между тем в зале стоит начатой замечательная картина. Ему предложил «Русский театр» иллюстрировать Достоевского… Он дал слово и не сдержит своего слова, а эти иллюстрации дали бы ему имя, хлеб… Да что говорить? Полгода тому назад ты видел его и, надеюсь, не забыл… И вот, вместо того чтобы поддержать, подбодрить талантливого добряка хорошим, сильным словом, принести ему неоцененную пользу, ты пишешь жалкие, тоскливые слова… Ты нагнал на него тоску на полчаса, расквасил его, раскислил и больше ничего… Завтра же он забудет твое письмо. Ты прекрасный стилист, много читал, много писал,

понимаешь вещи так же хорошо, как и другие их понимают, — и тебе ничего не стоит написать брату хорошее слово… Не нотацию, нет! Если бы вместо того, чтобы слезоточить, ты потолковал с ним о его живописи, то он, это верно, сейчас уселся бы за живопись и наверное ответил бы тебе. Ты знаешь, как можно влиять на него…

Не знаю, чего ты хочешь от отца? Враг он курения табаку и незаконного сожительства — ты хочешь сделать его другом? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь ты его с места. Это его, пожалуй, сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же и, что хуже всего, страдать… И как будто бы ты этого не знаешь? Странно… Извини, братец, но мне кажется, что тут немаловажную роль играет другая струнка, и довольно-таки скверненькая. Ты не идешь против рожна, а как будто бы заискиваешь у этого рожна… Какое дело тебе до того, как глядит на твое сожительство тот или другой раскольник? Чего ты лезешь к нему, чего ищешь? Пусть себе смотрит как хочет… Это его, раскольницкое дело… Ты знаешь, что ты прав, ну и стой на своем, как бы ни писали, как бы ни

страдали… В (незаискивающем) протесте-то и вся соль жизни, друг. <…>

Сестра любит тебя, но понятий никаких о тебе не имеет… Декорации, о которых ты пишешь, сделали только то, что она боится о тебе думать. Очень естественно! Вспомни, поговорил ли ты с нею хоть раз по-человечески? Она уже большая девка, на курсах, засела за серьезную науку, стала серьезной, а сказал, написал ли ты ей хоть одно серьезное слово? Та же история, что и с Николаем. Ты молчишь, и немудрено, что она с тобой незнакома. Для нее чужие больше сделали, чем ты, свой… Она многое могла бы почерпнуть от тебя, но ты скуп. (Любовью ее не удивишь, ибо любовь без добрых дел мертва есть.) Она переживает теперь борьбу, и какую отчаянную! Диву даешься! Всё рухнуло, что грозило стать жизненной задачей… Она ничем не хуже теперь любой тургеневской героини… Я говорю без преувеличиваний. Почва самая благотворная, знай только сей! А ты лирику ей строчишь и сердишься, что она тебе не пишет! <…>

Есть на белом свете одна скверная болезнь, незнанием которой не может похвастаться пишущий человек, ни один!.. (Их много, а нас мало. Наш лагерь слишком немногочисленен. Болен

лагерь этот. Люди одного лагеря не хотят понять друг друга.) Записался! Зачеркивать приходится… И ты знаком с ней… Это кичеевщина — нежелание людей одного и того же лагеря понять друг друга. Подлая болезнь! Мы люди свои, дышим одним и тем же, думаем одинаково, родня по духу, а между тем… у нас хватает мелочности писать: «умолчу!» Широковещательно! *Нас* так мало, что мы должны держаться друг друга… ну, да vous comprenez <вы понимаете>! Как бы мы ни были грешны по отношению друг к другу (а мы едва ли много грешны!), а мы не можем не уважать даже малейшее «похоже на соль мира». Мы, я, ты, Третьяковы, Мишка наш — выше тысячей, не ниже сотней… У нас задача общая и понятная: думать, иметь голову на плечах… Что не мы, то против нас. А мы отрицаемся друг от друга! Дуемся, ноем, куксим, сплетничаем, плюем в морду! <…>

У нас, у газетчиков, есть болезнь — зависть. Вместо того чтоб радоваться твоему успеху, тебе завидуют и… перчику! перчику! А между тем одному Богу молятся, все до единого одно дело делают… Мелочность! Невоспитанность какая-то… А как все это отравляет жизнь!

Чехов — Ал. П. Чехову, 20-е числа февраля 1883 г. Москва

Бедняга художник умер. На Луке он таял, как воск, и для меня не было ни одной минуты, когда бы я мог отделаться от сознания близости катастрофы… Нельзя было сказать, когда умрет Николай, но что он умрет скоро, для меня было ясно. Развязка произошла при следующих обстоятельствах. Гостил у меня Свободин. Воспользовавшись приездом старшего брата, который мог сменить меня, я захотел отдохнуть, дней пять подышать другим воздухом; уговорил Свободина и Линтваревых и поехал с ними в Полтавскую губ<ернию> к Смагиным. В наказание за то, что я уехал, всю дорогу дул такой холодный ветер и небо было такое хмурое, что хоть тундрам впору. На половине дороги полил дождь. Приехали к Смагиным ночью, мокрые, холодные, легли спать в холодные постели, уснули под шум холодного дождя. Утром была все та же возмутительная вологодская погода; во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях; говорю — не забыть, потому что утром приехал из Миргорода мужичонко и привез мокрую телеграмму: «Коля скончался». Можете представить мое настроение. Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом по железной дороге и ждать на станциях по 8 часов… В

Ромнах ждал я с 7 часов вечера до 2 ч<асов> ночи. От скуки пошел шататься по городу. Помню, сижу в саду; темно, холодище страшный, скука аспидская, а за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму.

Дома я застал горе. Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые.

Похороны устроили мы художнику отличные. Несли его на руках, с хоругвями и проч. Похоронили на деревенском кладбище под медовой травой; крест виден далеко с поля. Кажется, что лежать ему очень уютно.

Вероятно, я уеду куда-нибудь. Куда? Не вем.

Чехов — А. Н. Плещееву, 26 июня 1889 г. Сумы

Сестра замуж не вышла, но роман, кажется, продолжается в письмах. Ничего не понимаю. Существуют догадки, что она отказала и на сей раз. Это единственная девица, которой искренно не хочется замуж. Теперь о себе. Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви.

Чехов — А. С. Суворину, 18 октября 1892 г. Мелихово

Желание быть Вашим мужем так сильно у ме-

ня, что ни любовь Ваша к Жоржу <Линтвареву>, ни незначительность привязанности ко мне не остановило бы меня от исполнения этого желания, при Вашем на то согласии. Осуществлению желания мешает непреодолимое препятствие — моя болезнь. <…> Если не верите — я напишу Антону Павловичу о моем здоровье, представлю документы от московских врачей, спрошу его: согласился бы он выдать свою дочь замуж за такого субъекта. И его ответ пришлю Вам. Во всяком случае, рано или поздно, я ему расскажу о моих к Вам чувствах.

А. И. Смагин — М. П. Чеховой. 10 января 1892 г. Сумы

Довольно часто встречаясь в то время с Александром Ивановичем, я подружилась с ним, и между нами установились теплые отношения, продолжавшиеся несколько лет. И позднее для меня не было большой неожиданностью, когда А. И. Смагин сделал мне предложение. Александр Иванович был красивым мужчиной и интересным человеком, нравился мне, и хотя сейчас трудно сказать, любила ли я его тогда, но я задумывалась о своем замужестве. Долго я ничего не отвечала ему и не говорила о его предложении в семье. Но как-то решилась поговорить прежде

всего с Антоном Павловичем. Пришла к нему в кабинет и говорю:

— Знаешь, Антоша, я решила выйти замуж…

Брат, конечно, понял, за кого, но ничего мне не ответил. Потом я почувствовала, что брату эта новость неприятна, хотя он продолжал молчать. Да и что, в сущности, он мог сказать. Я понимала, что он не сможет сознаться, что ему будет тяжело, если я уйду в другой дом, в свою новую семью… Он никогда бы не произнес слова «нет»…

Растерянной, беспомощной я вышла из кабинета брата и долго плакала в своей комнате, не зная, на что решиться. <…>

Много я думала. Любовь к брату, моя привязанность к нему решили все дело. Я не смогла пойти на то, чтобы причинить брату неприятность, расстроить привычный образ его жизни, лишить его той творческой обстановки, которую я всегда старалась создавать ему. Я сообщила Смагину о своем отказе, чем причинила и ему страдание. Он послал мне резкое письмо с упреками.

Антон Павлович, видимо, не догадывался, какие сложные чувства наполняли меня тогда.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Это предложение было одним из по-

воротных событий в жизни сестры. Десятилетием раньше она рассказывала племяннику вроде о том же самом, но с иными акцентами – более откровенно.

На Украине Чеховы познакомились с братьями Смагиными, у которых в Полтавской губернии было имение. Александр Иванович Смагин сблизился с семьей Чеховых и приезжал к ним в Мелихово.

В один из приездов он сделал Марии Павловне предложение. Она колебалась. Любви к нему не чувствовала, да и вообще за всю свою жизнь ни разу не любила. Рассудок взял верх.

Думая, что годы уходят и что надо же выходить замуж, она решила дать согласие Смагину.

Она вошла в кабинет к Антону Павловичу. Он писал. Михаил Павлович сидел тут же на диване.

— Антоша, я выхожу замуж за Смагина, — сказала Мария Павловна.

Антон Павлович не оторвался от рукописи, не обернул головы, не взглянул на сестру. Он только ниже нагнулся и густо-густо покраснел. Михаил Павлович вскочил и возмущенно крикнул:

— Пусть после этого Смагин у нас не бывает.

Александр Иванович Смагин был очень влюблен в Марию Павловну.

Однажды в Мелихове она за обедом дала всем гостям суп, а ему забыла. Он сделался весь красный, спрятал свое лицо за спиной соседа, а потом плакал настоящими слезами. До сих пор Мария Павловна сокрушается об этой своей невнимательности.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948 гг.

И в жизни некоторые Чеховы (по крайней мере, сестра) были чеховскими героями. Несказанное важнее сказанного, подтекст существенно изменяет судьбу. Ма Па (домашнее прозвище) поступила согласно невысказанному желанию брата, он «так и не узнал о причине моего отказа», строил совсем иные предположения, о чем она, в свою очередь, узнала лишь через много лет, начав подготовку собрания писем.

Подтекст не допускает однозначного толкования. Пристрастная исследовательница (Н. А. Роскина) предполагала, что объяснение Марии Павловны было

не совсем искренним, у нее были свои сердечные тайны, она была безответно влюблена в Г. М. Линтварева, упомянутого в письме Смагина, и чувствовала она вовсе не то, что говорила позднее.

Но главное очевидно: вокруг Чехова разыгрывается один из сюжетов еще не написанной «Чайки». «Пять пудов любви» никак не попадают по назначению, цепочка безответных чувств, «нежных, изящных как цветы», не замыкается в кольцо.

А еще Ма Па отказывалась от предложений Левитана и – по семейной легенде – Бунина. Поэтому таким ударом для нее была позднее неожиданная женитьба брата.

Через много лет, уже в другой жизни прошлое напомнило о себе письмом Л. А. Авиловой, переигрывающей в мемуарах роман своей жизни.

А знаете ли вы, что мне хотелось сообщить Вам? Несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Ал. Ив. Смагиным. Он был мне чрезвычайно

симпатичен, тем более что он постоянно говорил о Вашей семье. И вот он мне признался, что любил Вас всю жизнь. Любил только Вас. А один раз он сказал: «Не только любил, а люблю. И теперь люблю». И если бы Вы видели его лицо при этом признании!

Теперь он умер. Пусть Вы вспомните лишний раз о его большой любви и преданности. И пусть это будет ему наградой.

Л. А. Авилова — М. П. Чеховой. 14 апреля 1939 г. Москва

Я все наблюдал Марию Павловну. Кажется, это первая и последняя старая дева, симпатичнейшая, чем все самые красавицы дамы, девицы и барышни. Что-то прелестное есть в выражении ее глаз, что-то умное и вместе страдальческое. Как необыкновенно хороша, должно быть, она была в молодости.

Б. И. Лазаревский. Дневник. 22 августа 1901 г. Ялта

Мы спустились в столовую пить чай. Там сидела и его милая, милая старушка-мать. Когда А. П. вышел, она мне все жаловалась, что вот Антоша ничего не хочет есть: «Наскоро съест суп, спросит, что будет второе, и, если не нравится, уходит, а

угодить ему трудно. Мясо ему нельзя, нужно или ножки, или рыбу».

— Когда и что он пишет, и не узнаешь. Боже сохрани его спросить, что ты теперь пишешь. Так, разве где-нибудь книжку его достану, то прочту, а сам не даст никогда. Все жалуется на свою бесхарактерность. Иной раз за обедом укажет на меня да и говорит: «Вот весь в эту особу я — никому ни в чем не могу отказать». Бывало, студентом все что-то пишет. Кто же его знал, что он таким писателем выйдет.

Б. И. Лазаревский. Дневник. 23 ноября 1901 г. Ялта

Из нашего пребывания в Ялте у меня остался в памяти еще один эпизод. Как-то днем прихожу к Антону Павловичу — вижу, он свиреп, лют и мохнат; одним словом, таким я его никогда не видел. Когда он успокоился, выяснилось следующее. Его мамаша, которую он обожал, собралась наконец в театр смотреть «Дядю Ваню». Для старушки это был совершенно знаменательный день, так как она ехала смотреть пьесу Антоши. Ее хлопоты начались уже с самого раннего утра. Старушка перерыла все сундуки и на дне их нашла какое-то старинного фасона шелковое платье, которое она и собралась надеть для торжественного вечера.

Случайно этот план открылся, и Антон Павлович разволновался. Ему представилась такая картина: сын написал пьесу, мамаша сидит в ложе в шелковом платье. Эта сентиментальная картина так его обеспокоила, что он хотел ехать в Москву, чтобы только не участвовать в ней.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:

— Я не грешен против четвертой заповеди…

И. А. Бунин. Чехов

На самом деле, имелась в виду заповедь пятая: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».

Вторая ее часть не оправдалась: отец умер 73-летним, а мать, пережив сына на пятнадцать лет, и вовсе 83 лет. Дай бог ему хотя бы отцовские дни на земле, Чехов увидел бы все революции, индустриализацию, коллективизацию и мог бы вместе с Горьким посидеть в президиуме первого съезда советских писателей

или вместо Бунина получить Нобелевскую премию. В книге Бориса Штерна Чехов и вовсе умирает в 1944 году, решив исход Второй мировой войны.

Но это – альтернативная история. Между тем на примере чеховской семьи история и природа поставили наглядный эксперимент, предсказывающий назад.

Дед – «ярый крепостник» (по чеховскому же определению), но в то же время человек с инстинктом свободы, выкупивший на волю большое семейство за двадцать лет до официальной отмены крепостного права. Появись Антон в этом поколении, мы, скорее всего, не знали бы такого писателя. Его, как мальчишку Лопахина, не пускали бы дальше передней. И пороли бы не дома, а – при случае – на конюшне по приказанию графа Черткова, с внуком которого он будет интеллигентно беседовать за одним столом у графа Льва Толстого.

О творческих склонностях деда мы ничего не знаем. Отец только руководил церковным хором, но не был чужд словесности. Его простодушный «Мелиховский

летописец» можно счесть неким белкинским повествованием. Но обучение грамоте в «с. школе» закрыло ему путь к образованию и подлинной культуре. Хотя, опять же при определенном стечении обстоятельств, он мог бы стать каким-нибудь «литературным самородком» вроде Слепушкина или религиозным проповедником вроде чеховского собеседника Г. Петрова. «Талант у нас от отца», – утверждал Чехов.

От матери же следующее поколение унаследовало «душу» (тоже чеховские слова). Но трудно понять, представляла ли Евгения Яковлевна, ловившая каждый вздох Антоши, то, чем занимается ее сын. Ее письма трогательно неграмотны. Чтение не входило в круг ее привычных занятий.

Все члены следующего поколения чеховской семьи получили настоящее образование, хотя использовали его вовсе не так, как надеялись родители. (Кстати, может ли в современной России, почти через полтора века, семья ниже среднего достатка дать образование шести своим

членам?) Здесь вступают в силу уже не общекультурные, а индивидуальные факторы.

Младшие дети, скорее, наследовали организаторскую сторону отцовского таланта. Иван стал образцовым педагогом и на большее, кажется, не претендовал. Михаил был человеком с творческими претензиями: тоже писал для детей и взрослых, переводил, издавал журналы. Но силы, масштабности, уверенности в нем не было. Главной его книгой стали мемуары о брате с характерным окончательным заглавием – «Вокруг Чехова».

Двое старших были очевидно талантливы. Гимназический учитель, протоирей Петровский, считал, что «что-то выйдет» лишь из Александра. Талант Николая сразу признали среди московских художников. Но один пил и «шалаберничал», другой пил и жаловался на семью. Можно лишь сожалеть об их незадавшейся судьбе и строить гипотезы о том, что было бы, если…

И не стоит ссылаться на раннюю смерть Николая: Федор Васильев прожил два-

дцать три года, а не тридцать с лишним, как бедный художник, но все-таки остался в истории искусства.

Не зарыть талант в землю удалось только среднему Чехову. Решающим фактором здесь оказались воля, «дневной и ночной труд», сосредоточенное усилие, растянувшееся на целую жизнь.

Формула появления большого писателя проста, но трудновыполнима: данное историей пространство свободы, дар, волевое усилие и лишь в последнюю очередь – стечение обстоятельств, случай, удача, которые завершают сюжет, но не определяют его.

Еще однажды талант вспыхнул в следующем поколении Чеховых. Антон поразительно угадал его в четырехлетнем племяннике, будущем великом актере Михаиле Чехове.

Третьего дня я обедал у Александра. <…> Сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек.

Чехов — М. П. Чеховой, 7 февраля 1895 г. Пе-

тербург

Таганрог

Это был город, представлявший собою странную смесь патриархальности с европейской культурою и внешним лоском. Добрую половину его населения составляли иностранцы — греки, итальянцы, немцы и отчасти англичане. Греки преобладали. Расположенный на берегу Азовского моря и обладавший мало-мальски сносною, хотя и мелководною гаванью, построенной еще князем Воронцовым, город считался портовым и в те, не особенно требовательные времена оправдывал это название. Обширные южные степи тогда еще не были так распаханы и истощены, как теперь; ежегодно миллионы пудов зернового хлеба, преимущественно пшеницы, уходили за границу через один только таганрогский порт. Нынешних конкурентов его — портов ростовского, мариупольского, ейского и бердянского — тогда еще не было. <…>

Аристократию тогдашнего Таганрога изображали собою крупные торговцы хлебом и иностранными привозными товарами — греки: печальной памяти Вальяно, Скараманга, Кондоянаки, Мусури, Сфаелло и еще несколько

иностранных фирм, явившихся бог весть откуда и сумевших забрать в свои руки всю торговлю юга России. Все это были миллионеры и притом почти все более или менее темного происхождения, малограмотные и далеко не чистые на руку. <…>

Зато внешнего, мишурного лоска было много. В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негоцианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадонн буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра, и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукулловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры.

В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весною и осенью на них стояла глубокая, невылазная

грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух главных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями. По субботам по городу ходил с большим веником на плече, наподобие солдатского ружья, банщик и выкрикивал: «В баню! В баню! В торговую баню!» Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. Они же всенародно и варварски уничтожали на базаре бродячих собак с помощью дубин и крюков. Лошади пожарной команды неустанно возили «воду и воеводу», а пожарные бочки рассыхались и разваливались от недостатка влаги. Иностранные негоцианты выставляли на вид свое богатство и роскошь, а прочее население с трудом перебивалось, как говорится, с хлеба на квас.

Такова была физиономия тогдашнего Таганрога.

Помимо крупных негоциантов и закабаленных ими полуголодных пролетариев, существовал еще класс обывателей. Это были так называемые

«маклера», тоже большею частью иностранцы. Эти господа имели свои «конторы», скупали мелкими партиями привозимый из деревень чумаками на волах хлеб, ссыпали его в амбары и затем перепродавали Вальяно или другим тузам, составлявшим крупные партии уже для отправки за границу. У этих тузов также были свои конторы. В них совершались торговые сделки и велась обширная коммерческая переписка с иностранными европейскими фирмами. У Вальяно, который до конца дней своих не научился ни читать, ни писать и умер в буквальном смысле слова неграмотным, служил в конторе целый штат клерков, бухгалтеров и разных делопроизводителей. Штат этот получал довольно солидное содержание — и попасть клерком в контору к Вальяно или к Кондоянаки, к Скараманга или к кому-нибудь из этих финансовых дельцов значило составить себе карьеру.

Ал. П. Чехов. В греческой школе

День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки, как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи,

Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель сочинял… Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепьяно. Мать, вечно занятая, суетилась в это время по хозяйству или обшивала на швейной машинке детей. Всегда заботливая, любвеобильная, она, несмотря на свои тогда еще сравнительно молодые годы, отказывала себе во многом и всю свою жизнь посвящала детям.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

В зрелые годы своей жизни он не раз говаривал в интимном кружке родных и знакомых:

— В детстве у меня не было детства…

Антон Павлович только издали видел счастливых детей, но сам никогда не переживал счастливого, беззаботного и жизнерадостного детства, о котором было бы приятно вспомнить, пересматривая прошлое. Семейный уклад сложился для покойного писателя так неудачно, что он не имел возможности ни побегать, ни порезвиться, ни пошалить. На это не хватало времени, потому что все свое свободное время он должен

был проводить в лавке. Кроме того, на всем этом лежал отцовский запрет; бегать нельзя было потому, что «сапоги побьешь»; шалить запрещалось оттого, что «балуются только уличные мальчишки»; играть с товарищами — пустая и вредная забава: «товарищи бог знает чему научат»...

Ал. П. Чехов. Антон Павлович Чехов — лавочник

Мы были гимназистами: я только что перешел в пятый класс, а Антон — в третий. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимою, кроме того, было и холодно: руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. Но самое скверное и горькое было то, что у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порезвиться, пошалить, побегать и отдохнуть. В то время когда наши товарищи-гимназисты, приготовив уроки на завтра, гуляли и ходили друг к другу в гости, мы с братом были прикованы к лавке и должны были торговать. Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу-лавку и желали ей провалиться в

преисподнюю.

Отец наш смотрел на дело совсем иначе. Он находил, что шалить, бездельничать и бегать нам нет надобности. От беганья страдает только обувь. Гораздо лучше и полезнее будет, если мы станем приучаться к торговле. Это будет и для нас лучше, и для него полезнее: в лавке постоянно будет находиться свой «хозяйский глаз». Об этом «хозяйском глазе» Павел Егорович хлопотал особенно. Дело в том, что в лавке находились «в учении» и торговали два мальчика-лавочника — оба очень милые ребята; но их постоянно подозревали в том, что они тайком едят пряники, конфеты и разные лакомства и воруют мелкие деньги. Для того же, чтобы этого не было, отец и сажал нас в лавку в надежде, что мы, как родные дети, будем оберегать его интересы. Не знаю, был ли прав Павел Егорович и воровали ли мальчики-лавочники, но если говорить по совести, то первыми воришками были мы с Антошей. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники или ароматное монпасье: и мы охулки на руку не клали и этим отчасти утешали себя за вынужденное лишение свободы и за тяжелый плен в лавке.

Ал. П. Чехов. В гостях у дедушки и бабушки

Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может простить себе всего этого…

Деспотизм преступен трижды.

Чехов — Ал. П. Чехову, 2 января 1889 г. Москва

Спасибо за ласковое слово и теплое участие. Меня маленького так мало ласкали, что я теперь, будучи взрослым, принимаю ласки как нечто непривычное, еще мало пережитое. Потому и сам хотел бы быть ласков с другими, да не умею: огрубел и ленив, хотя и знаю, что нашему брату без ласки никак быть невозможно.

Чехов — В. А. Тихонову. 7 марта 1889 г. Москва

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными, как никогда, мною овладевает сознание греховности

и ничтожества. Прежде всего бросаются в глаза большое распятие и по сторонам его Божия Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила и ставники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божия Матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими. <…>

Раздается голос священника:

— И аз недостойный иерей…

Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху… Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное,

утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, распятие, свою мать, и мне хочется плакать, просить прощения.

— Тебя как зовут? — спрашивает священник, покрывая мою голову мягкою епитрахилью.

Как теперь легко, как радостно на душе!

Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

— Как тебя зовут? — спрашивает дьякон.

— Федя.

— А по отчеству?

— Не знаю.

— Как зовут твоего папашу?

— Иван Петрович.

— Фамилия?

Я молчу.

— Сколько тебе лет?

— Девятый год.

Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в столовой накрывают на стол, — это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок с капустой!

— Боже, очисти меня грешного, — молюсь я, укрываясь с головой. — Ангел-хранитель, защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит радостью, счастьем

и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера, лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все прощено.

«На Страстной неделе». 1887

Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением Апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Да, милый. Рачинского я понимаю, но детей, которые учатся у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием.

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 9 марта 1892 г. Мелихово

Получил письмо от Жана Щеглова, где он, го-

воря о Рачинском, восторженно восклицает: «Богатыри не мы!» Я ответил ему на это, что Рачинского, как идейного и хорошего человека, я уважаю и люблю, но что детей своих я в школу к нему не отдал бы.

Рачинского я понимаю, души же детей, которые учатся у него, мне непонятны, как потемки. Когда в детстве мне давали религиозное воспитание и я читал на клиросе и пел в хоре, все умилялись, глядя на меня, я же чувствовал себя маленьким каторжником, а теперь у меня нет религии. Вообще в так называемом религиозном воспитании не обходится дело без ширмочки, которая недоступна оку постороннего. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону ее улыбаются и умиляются. Недаром из семинарий и духовных училищ вышло столько атеистов. Мне кажется, что Рачинский видит у себя только казовую сторону, но понятия не имеет о том, что делается во время спевок и церковнославянских упражнений.

Чехов — А. С. Суворину, 17 марта 1892 г. Москва

Но к чему я никогда не могу оравнодушеть, так это к тем передрягам, которые тебе volens-nolens <волей-неволей> приходится переживать чуть ли не каждый месяц. Чем глубже погружаюсь я в старость, тем яснее вижу шипы роз,

коими усеян твой жизненный путь, и тем грубее представляется мне материя, из которой сшиты подштанники нашей жизни. Детство отравлено у нас ужасами, нервы скверные до гнусности, денег нет и не будет, смелости и уменья жить тоже нет, здоровье скверное, настроение хорошее для нас почти уже недоступно, — короче говоря, не будьте благомысленны, как говорил педераст Мишка Чемерис.

Чехов — Ал. П. Чехову, 4 апреля 1893 г. Мелихово

Будучи уже гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужение мы ходили в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо: Чеховы — Антон, Николай, Иван — и я. Ловили мы преимущественно бычков. Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел специальные поплавки, изображающие человека, у которого руки поднимались и опускались во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попала на крючок. Если человек в воде по пояс, то, значит, попалась небольшая рыбка, если по плечи — то средняя, если с головой и руки подняты вверх, то, значит, крупная рыба и ее нужно вынимать умеючи. В таком случае Антон не доверял нам и вынимал сам. Поплавки он делал из особого дерева, похожего на пробку, которое брал

у местных рыбаков.

Отправляясь на рыбную ловлю, мы брали с собой сковородку и все необходимое для стряпни, а иногда Антон захватывал свое любимое сантуринское вино. Такая обстановка рыбной ловли особенно нам нравилась, и мы обставляли дело так, чтобы об этом не пронюхал Павел Егорович.

А. А. Долженко. Воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове

Каждый день ходили на море купаться. По дороге заходили за знакомыми, и к морю шла всегда большая компания. Купались обыкновенно на Банном съезде, где берег был настолько отлогий, что, для того чтобы оказаться в воде по шею, нужно было отойти от берега по крайней мере полверсты. Вместе с нами ходили и две черные собаки, принадлежавшие А. П. В воде обыкновенно сидели целыми часами, и когда шли обратно, то необыкновенно хотелось пить. По пути, на углу Итальянского переулка и нашей улицы, была палатка, в которой продавали квас, и было счастьем, когда у кого-нибудь из мальчиков находилась в кармане копейка, так как на копейку продавали целый громадный деревянный ковш, к которому мы припадали своевременно со всех сторон. Кто-нибудь из нас

оказывался счастливцем: он возвращался домой с моря с так называемой «болбиркой». Это кусок коры какого-то дерева, из которой местные рыбаки делали обыкновенно на свои сети поплавки. Найти на берегу «болбирку» считалось у нас особым расположением судьбы. Кора эта легко резалась по всем направлениям, и счастливец долго сидел потом отдельно от всех и вырезал из нее кораблик или человека. Таким счастливцем не раз бывал и гимназист Антоша.

Часто ходили ловить рыбу, но занимались этим уже с другой стороны, невдалеке от гавани, там, где было устроено нечто вроде набережной, грубо сложенной из диких камней. Ловились все больше бычки. Один раз, я помню, поймали по числу дней в году — 365 штук, которых потом засолили, но они испортились, и их выкинули. В промежутках между ловлей купались, несмотря на то что все дно было усыпано острыми камнями. Именно здесь в одно из таких купаний А. П. бросился с берега в воду и рассек себе об острый камень лоб. Шрам на левой стороне лба под самыми волосами оставался у него до самой смерти и даже был внесен в качестве приметы в его паспорт, с которым он приехал в Москву из Таганрога по окончании курса гимназии, чтобы поступать в университет.

М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах

Во время обучения в младших классах таганрогской гимназии Антон стал увлекаться воздушными шарами. Он изготовлял их из бумаги. Братья Николай, Иван и я взялись ему помогать. Мы склеивали шары из больших листов папиросной бумаги и пускали их в пространство, наполняя теплым воздухом или светильным газом. Первый способ был неудобен, потому что шары часто сгорали, второй был сопряжен с некоторым риском, но для нас он был особенно заманчив, так как давал прекрасные результаты.

В то время Чеховы жили в доме Моисеева. Против самого угла дома, у входа в магазин, стоял газовый фонарь, который служил нашей базой для наполнения аэростатов. По утрам, часа в 4 или 5, пока никого не было на улице, мы все собирались около фонаря и наполняли наши шары светильным газом при помощи резинового шланга, который надевали на рожок фонаря. Шары удачно наполнялись и подымались ввысь при общем нашем ликовании. В результате наших манипуляций фонарь постоянно находился в неисправном состоянии, чего не мог не заметить обслуживающий персонал. Скоро этот секрет был разгадан, и на нас пожаловались в полицию.

Павла Егоровича Чехова вызвал районный пристав в полицейский участок для объяснений. Для нас же это кончилось экзекуцией.

Аэронавтика была оставлена, а наш творческий пыл был обращен на другие изобретения.

А. А. Долженко. Воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «ах, тяжко жить!» — и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.

«Три сестры». 1901

Аня <...> *(Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.)* А в Париже я на воздушном шаре летала!

«Вишневый сад». 1903

Театром Антон Павлович увлекался с самого раннего детства.

Первое, что он видел, была оперетка «Прекрасная Елена».

Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Би-

леты брали на галерку. Места в Таганрогском театре были ненумерованные, и мы с Антоном Павловичем приходили часа за два до начала представления, чтобы захватить первые места.

В коридорах и на лестнице в это время бывало еще темно. Мы пробирались потихоньку наверх. Как сейчас помню последнюю лестницу, узкую, деревянную, какие бывают при входе на чердак, а в конце ее — двери на галерею, у которых мы, сидя на ступеньках, терпеливо ждали, когда нас наконец впустят. Понемногу набиралась публика.

Наконец гремел замок, дверь распахивалась, и мы с Антоном Павловичем неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду. За нами с криками гналась нетерпеливая толпа, и едва мы успевали занять места, как тотчас же остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру.

До начала все же еще было далеко. Весь театр был совершенно пуст и неосвещен. На всю громадную черную яму горел только один газовый рожок. И помню, нестерпимо пахло газом.

Задним рядам было трудно стоять без опоры, и они обыкновенно устраивались локтями на наших спинах и плечах. Кроме того, все зрители грызли подсолнухи. Бывало так тесно, что весь

вечер так и не удавалось снять шуб.

Но, несмотря на все эти неудобства, в антрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие.

Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть, — мы не имели понятия о том, что такое драма, опера или оперетка, — нам все было одинаково интересно. <…>

Идя из театра, мы всю дорогу, не замечая ни погоды, ни неудобной мостовой, шли по улице и оживленно вспоминали, что делалось в театре.

А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах.

И. П. Чехов. <Из воспоминаний>

В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, мы разыграли даже гоголевского «Ревизора». Устраивали спектакли и на украинском языке про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный день и становился посреди храма на коврике, в сонме иностранных консулов.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Попал я туда <в Полтавскую губернию> как раз

на молотьбу. Урожай великолепный. <…> Работа утомительная, но веселая, как хороший бал. В детстве, живя у дедушки в именье гр. Платова, я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовой, волчкообразный звук, к<ото>рый издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица полсотни человек — все это врезалось в мою память, как «Отче наш». И теперь я целые часы проводил на молотьбе и чувствовал себя в высшей степени хорошо. — Паровик, когда он работает, кажется живым; выражение у него хитрое, игривое; люди же и волы, наоборот, кажутся машинами. — В Миргородском уезде редко кто имеет собственный локомобиль, но всякий может брать напрокат. Паровик занимается проституцией, т. е. ездит по всему уезду на шестерике волов и предлагает себя всякому желающему. Берет он по 4 коп. с пуда, т. е. около 40 руб. в день. Сегодня он гудит в одном месте, завтра в другом, и везде его приезд является событием на манер архиерейского приезда.

Чехов — А. С. Суворину. 29 августа 1888 г. Сумы

Семья жила очень дружно. Антон Павлович

был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали Бомбой, за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом университета, а другой учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике балаганы, в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под кущей посаженного им дикого виноградника и называл себя «Иовом под смоковницей». Вставали в этих шалашах очень рано, и, взяв с собой меня, Антон шел на базар покупать на целый день харчи.

Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно больше кричала.

— Пускай все знают, — говорил он, — что и мы тоже кушаем уток.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас отняли наш дом.

Дом этот был выстроен на последние крохи, причем недостававшие пятьсот рублей были взяты под вексель из местного Общества взаимного кредита. Поручителем по векселю был некий Костенко, служивший в том же кредите. Долгое время переворачивали этот несчастный вексель, пока наконец отцу не пришлось признать себя несостоятельным должником. Костенко уплатил по векселю и предъявил к отцу встречный иск в коммерческом суде. В то время неисправных должников сажали в долговую яму, и отцу необходимо было бежать. Он сел в поезд не на вокзале в Таганроге, а с первого ближайшего полустанка, где его не мог бы опознать никто.

Дело о долге Костенко велось в коммерческом суде.

Там, в этом суде, служил наш друг Гавриил Парфентьевич. Чего же лучше? Было решено, что он

оплатит долг отца, не допустит до продажи с публичных торгов нашего дома и спасет его для нас.

— Я это сделаю для матери и сестры, — обнадежил Гавриил Парфентьевич нашу мать, которую всегда называл матерью, а маленькую Машу — сестрой.

А сам устроил так, что вовсе без объявления торгов, в самом коммерческом суде дом был закреплен за ним, как за собственником, всего только за пятьсот рублей.

Таким образом, в наш дом, уже в качестве хозяина, въехал Гавриил Парфентьевич. Кажется, за проценты Костенко забрал себе всю нашу мебель, и матери ничего более не оставалось, как вовсе покинуть Таганрог. Она захватила с собой меня и сестру Машу и, горько заливаясь слезами, в вагоне повезла нас к отцу и двум старшим сыновьям в Москву, на неизвестность.

Антоша и Ваня были брошены в Таганроге одни на произвол судьбы. Антоша остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в Москву, и Антон остался в Таганроге один как перст. Ему нужно было кончать курс, он был в седьмом классе гимназии.

Когда Гавриил Парфентьевич въехал в дом, он застал там Антона, которого за угол и стол пригласил готовить своего племянника, Петю Кравцова, в юнкерское училище.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

— Продан вишневый сад.
— Продан.
— Кто купил?
— Я купил.

«Вишневый сад». 1903

Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!

Чехов — Чеховым, 7 апреля 1887 г. Таганрог

Я очень жалею, что, уехав в 1876 году в Москву, был разлучен с братом Антоном на целые три года и что эти три года его жизни так и остались неизвестными в его биографии. А между тем именно в эти три года он мужал, формировал свой характер и из мальчика превращался в юношу.

Сколько знаю, будучи учеником седьмого и восьмого классов, он очень любил ухаживать за гимназистками, и, когда я был тоже учеником восьмого класса, он рассказывал мне, что его

романы были всегда жизнерадостны. Часто, уже будучи студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь девушку, случайно проходившую мимо, говорил:

— Беги, беги скорей за ней! Ведь это находка для ученика седьмого класса!

Впоследствии, уже после смерти брата Антона, А. С. Суворин рассказывал мне, со слов самого писателя, следующий эпизод из его жизни. Где-то в степи, в чьем-то имении, будучи еще гимназистом, Антон Павлович стоял у одинокого колодца и глядел на свое отражение в воде. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же стал обнимать ее и целовать. Затем оба они еще долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал А. С. Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Куда бы я ни поехал — за границу ли, в Крым или на Кавказ, — Таганрога я не миную.

Радуюсь Вашему избранию в гласные. Чем больше у Таганрога будет таких честных и бес-

корыстных хозяев, как Вы, тем он счастливее… Жалею, что не могу послужить купно с Вами родному Таганрогу…

Чехов — М. Е. Чехову. 31 января 1885 г. Москва

Всей душой хотел я повидаться с вами, пожить в Таганроге, погулять по саду; мечтал об этом еще зимою, но беда в том, что когда я проезжал через Таганрог и с вокзала глядел на Михайловскую церковь (это было 6 августа, в день Преображения), то чувствовал себя не в своей тарелке и решительно не был в состоянии исполнить свое и твое желание, т. е. остаться в Таганроге. Целый месяц я ездил по Крыму и Закавказью и утомился страшно; мне опротивели и вагоны, и виды, и города, и я думал только о том, как бы скорее попасть мне домой, где меня с нетерпением ожидали семья и работа. Не дал же я вам знать о своем проезде, потому что боялся оторвать тебя от дела, а дядю от праздничного отдыха.

Чехов — Г. М. Чехову. 10 сентября 1888 г. Москва

Пробираясь <…> через Новый базар, я мог убедиться, как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог. Нет ни одной грамотной вывески, и есть даже «Трактир Расия»; улицы

пустынны; рожи драгилей довольны; франты в длинных пальто и картузах, Новостроенка в оливковых платьях, кавалери, баришни, облупившаяся штукатурка, всеобщая лень, уменье довольствоваться грошами и неопределенным будущим — все это тут воочию так противно, что мне Москва со своею грязью и сыпными тифами кажется симпатичной…

Чехов — Чеховым. 7 апреля 1887 г. Таганрог

Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю. 60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов — никаких… Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг… Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков… Все музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром… Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников.

Чехов — Н. А. Лейкину, 7 апреля 1887 г. Таганрог

От среды до субботы шлялся в сад, в клуб, к барышням… Как ни скучна и ни томительна

таганрогская жизнь, но она заметно втягивает; привыкнуть к ней нетрудно. За все время пребывания в Т<аганро>ге я мог отдать справедливость только следующим предметам: замечательно вкусным базарным бубликам, сантуринскому, зернистой икре, прекрасным извозчикам и неподдельному радушию дяди. Остальное все плохо и незавидно. Барышни здесь, правда, недурны, но к ним нужно привыкнуть. Они резки в движениях, легкомысленны в отношениях к мужчинам, бегают от родителей с актерами, громко хохочут, влюбчивы, собак зовут свистом, пьют вино и проч. Есть между ними даже циники, напр<имер> белобрысая Моня Х<одаковская>. Эта особа трогает не только живых, но и мертвых. Когда я гулял с нею по кладбищу, она все время смеялась над мертвецами и их эпитафиями, над попами, дьяконами и проч.

Что отвратительно в Т<аганро>ге, так это вечно запираемые ставни. Впрочем, утром, когда открывается ставня и в комнату врывается масса света, на душе делается празднично.

Чехов — Чеховым. 14–19 апреля 1887 г. Таганрог

На книгах должны быть автографы — это необходимо. (После своей смерти, т. е. лет через 70–80, я жертвую свою библиотеку Таганрогу, где ро-

дился и учился; с автографом книга, особливо в провинции, ценится в 100 раз дороже.)

Чехов — Н. А. Лейкину, 23 апреля 1888 г. Москва

Вот если захочется отдохнуть, то приеду в Таганрог, пожуирую с тобой. Воздух родины самый здоровый воздух. Жаль, что я небогатый человек и живу только на заработок, а то бы я непременно купил себе в Таганроге домишко поближе к морю, чтобы было где погреться в старости.

Чехов — Г. М. Чехову, 21 марта 1895 г. Мелихово

По пути на один день остановлюсь в Таганроге, чтобы осмотреть свою библиотеку…

Чехов — А. С. Суворину, 13 августа 1896 г. Мелихово

Был я в Таганроге — тоска смертная.

Чехов — Ал. П. Чехову, 23 сентября 1896 г. Мелихово

…если мы с Вами понатужимся и в самом деле устроим некое подобие музея, то будем иметь в старости наше великое утешение. Я уже отправил в Таганрог около 500 книг (названий), из коих около половины снабжены автографами. Всего послано мною 600–700 томов.

Чехов — И. Я. Павловскому, 9 ноября 1896 г.

Мелихово

Для меня, как уроженца Таганрога, было бы лучше всего жить в Таганроге, ибо дым отечества нам сладок и приятен, но о Таганроге, его климате и проч. мне известно очень мало, почти ничего, и я боюсь, что таганрогская зима хуже московской.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 15 апреля 1897 г. Мелихово

Многоуважаемый Павел Федорович, чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки, я купил всех французских классических писателей и на днях послал в Таганрог. Всего 70 авторов, или 319 томов. Послал я малой скоростью и, для опыта, морем. Если опыт удастся, то будем продолжать.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 9 (21) марта 1898 г. Ницца

Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два, на три и занялся бы районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Зверево.

Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней как дома и знал там каждую балочку. Когда я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала Иловайского, вспоми-

наю, как я ездил на волах в Криничку и в Крепкую графа Платова, то мне становится грустно и жаль, что в Таганроге нет беллетристов и что этот материал, очень милый и ценный, никому не нужен.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 25 июня 1898 г. Мелихово

Я не поблагодарил Вас за избрание меня в попечители библиотеки, и меня мучает совесть. Что принято делать в таких случаях? Не нужно ли написать письмо городскому голове? Поучите, пожалуйста.

Помнится, Вы хотели сделать меня членом приюта. Пожалуйста, делайте из меня и со мной всё, что только для Таганрога из меня можно сделать, отдаю себя в полное Ваше распоряжение.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 11 декабря 1899 г. Ялта

Если бы в Таганроге была вода или если бы я не привык к водопроводу, то переехал бы на житье в Таганрог. Здесь в Ялте томительно скучно, от Москвы далеко, и трудно ходить пешком, так как, куда ни пойдешь, везде горы. Когда в Таганроге устроится водопровод, тогда я продам ялтинский дом и куплю себе какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице.

Чехов — П. Ф. Иорданову, 11 мая 1902 г. Ялта

…будьте добры, сообщите мне, получили ли Вы книжную посылку, отправленную Вам мною из Москвы в первых числах июня? Я оставил книги в Москве с просьбой переслать их немедленно, а сам уехал. С первых чисел мая я очень заболел, похудел очень, ослабел, не спал ночей, а теперь я посажен на диету (ем очень много) и живу за границей.

Правда ли, что в Таганроге холодно?

Чехов — П. Ф. Иорданову, 12 (25) июня 1904 г. Баденвейлер

Войну за чеховское детство, его образ, который должен утвердиться в истории, начали уже члены чеховского семейства. Михаил и Мария обвиняли старшего брата-мемуариста в сгущении красок и рисовали картину дружной, работящей семьи, теплой колыбели будущего таланта.

Соответственно, меняется и облик города. То это глухая провинция, чистая Азия, где нет «ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников», то какой-либо европейский город-госу-

дарство вроде греческого полиса или итальянской республики.

Созданная сотрудниками чеховского музея подробная летопись «Таганрог и Чеховы» (2003) позволяет доказать обе гипотезы. Город живет сложной собственной жизнью на фоне заплутавшей в бездорожье восьмидесятых годов Российской империи: разоряются и торгуют купцы; получают награды, умирают, преследуют гимназистов преподаватели; в городском саду француз летает на воздушном шаре (героиня последней пьесы увидит его лишь в Париже); раскрывают подпольный кружок, все подвиги которого, видимо, заключались в чтении запрещенной литературы; начинается Русско-турецкая война, и город отправляет своих добровольцев.

В воспроизведении семейной атмосферы Александр все-таки был точнее, чем младшие. Он опирался на недвусмысленные оценки Антона Павловича как раз в письмах ему. Но и эти оценки – тоже результат позднейшего осознания.

Детство живет по особому календарю.

Оно невозможно без воспоминаний о рождественской елке, без надежды на будущее, без письма на деревню дедушке, которое обязательно должно дойти.

На фоне городской жизни и семейных проблем лавочник и гимназист Чехонь-Чехонте движется по своей траектории: ловит щеглов, тайком пробирается в театр, дает уроки, влюбляется, распродает вещи уехавшей семьи, что-то пытается писать и представлять.

А есть еще и то, о чем он молчит или проговаривается изредка.

Детство у Чехова все-таки было: море, степь, театр – то минимальное пространство свободы, которого лишена героиня самого безнадежного его рассказа, «Спать хочется».

И какой бы Азией ни казался позднее ему родной город, память о стипендии на обучение и просто память сердца он сохранил навсегда и долг отработал сполна. Бесконечно пополняемая библиотека, переговоры со скульптором Антокольским о памятнике Петру, мечты о музее и картинной галерее, попечительские

советы, помощь то сиротскому приюту, то тюрьме. Даже в письме-завещании он позаботился не только о родных, но также о народном образовании.

Он был не грешен не только против четвертой (пятой) заповеди, но и против непроизнесенной клятвы верности «малой родине».

Ах, если бы в Таганроге еще была вода!

Гимназия

Я вырос в Таганроге и учился в таганрогской гимназии почти одновременно с Антоном Павловичем Чеховым. Он был старше меня одним классом, но я и теперь помню его гимназистом. Он был «основник», а я «параллельник». (То есть один учился в классе «А», другой — в классе «Б».) Он выглядел букой и все ходил по коридору мимо нашего класса, а мы прятались за дверью и дразнили его чехонью.

В. Г. Тан. На родине Чехова

Антон Павлович решительно ничем не выделялся в нашей гимназической среде. Учился он со средним успехом, казался скромным, сосредоточенным, застенчивым, не любил шумных игр. Некоторые из нас усиленно занимались гимнастикой, другие увлекались игрой в лапту, требовавшей силы и ловкости… Такого рода упражнения Антона Павловича не привлекали. Зато в тихом кругу товарищей он любил побеседовать и давал изредка картинки, полные юмора.

Помню его передачу о том, как старенький батюшка — неважный оратор, — исполняя пред-

писание владыки, произнес в церкви проповедь «о падении добрых нравов в населении».

Антон Павлович был прекрасный имитатор, и мы от души хохотали, слушая дребезжащий старческий тенорок батюшки, своеобразные обороты речи и оригинальные выводы.

Л. Волькенштейн. Сами себя воспитывали

Кончили мы таганрогскую гимназию в 1879 году. Учился Чехов неважно и из двадцати трех учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место. За сочинения по русскому языку дальше тройки не шел, но всегда отличался в латыни и Законе Божьем, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его первых литературных произведений. Несмотря на свои средние успехи, Антон Павлович пользовался особым вниманием нашего учителя русского языка Мальцева и директора гимназии, общего любимца Рейтлингера.

Товарищи, все без исключения, любили Чехова, хотя ни с кем из нас он особенно не сближался. Со всеми он был искренен, добр, прост и сердечен, но никто из нас исключительной дружбой его

похвалиться не мог. Несмотря на общее к себе расположение, Чехов все-таки производил впечатление человека, ушедшего в себя. Никого он не чуждался, не избегал, но от товарищеских пирушек уклонялся и в свойственных школьному возрасту шалостях не участвовал. Всем была известна его исключительная склонность к чтению беллетристических произведений, которому он отдавал все свои досуги.

О домашней жизни Чехова мы почти ничего не знали. Все почему-то считали его принадлежащим к духовному званию. Это, вероятно, благодаря его слабости к славянским текстам, которые он часто декламировал в гимназии, и знанию многих изречений из священной истории.

По обычаю, существующему всюду в школах, Чехова товарищи прозвали «головастиком». У него была большая голова, не соответствовавшая его небольшой фигуре.

М. Д. Кукушкин. Из воспоминаний об А. П. Чехове

У Антона в детстве была большая голова, вероятно, поэтому мы дали ему прозвище Бомба.

А. А. Долженко. Воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове

Изредка, вместе со мною, Антон Павлович навещал товарищей наших, К<араспасо>вых, проживавших невдалеке от меня. Семья К-вых состояла в то время из матери-вдовы, пяти сыновей и замужней дочери, жившей с мужем в смежном флигеле. Старший сын и двое младших занимали с матерью верхний этаж, а в нижнем, полуподвальном, помещались наши товарищи. Наверху не было дела никому до того, что творилось внизу. А внизу происходили попойки в складчину, игра в карты на деньги, чтение легкомысленных произведений и т. п. Приходил туда кто хотел и когда хотел.

Общество там собиралось весьма смешанное, и все молодежь от 14 до 17 лет. Квартира эта была убежищем для всех: там скрывались от гнева родительского ученики, срезавшиеся на экзаменах; туда же с утра являлись те, которые по каким-либо причинам не хотели идти в гимназию. Приходили с учебниками и просиживали вплоть до обеда, развлекаясь игрою в карты. К чести Антона Павловича нужно отнести, — он никогда не принимал участия в этом милом времяпрепровождении. Да и бывал он там довольно редко и только понаслышке узнавал о тех озорствах, которые там учинялись. А во флигеле, у замуж-

ней сестры К-вых, он бывал с удовольствием. Там всегда собиралось большое общество взрослых и молодежи. Разговор обыкновенно вертелся около театра, так как и хозяин, и гости были завзятыми театралами.

А. Д. Дросси. Юные годы А. П. Чехова

Как я упомянул, дядя Митрофан был церковным старостой, и по своему характеру и по должности он любил принимать у себя духовенство. Желанным гостем у него был всегда протоиерей Ф. П. Покровский. Это был своеобразный священник. Красавец собой, светский, любивший щегольнуть и своей ученостью, и своей нарядной рясой, он обладал превосходным сильным баритоном и готовил себя ранее в оперные певцы. Но та обстановка, в которой он жил, помешала развить его дарование, и ему пришлось ограничиться местом настоятеля Таганрогского собора. Но и здесь он держал себя как артист. Он эффектно служил и пел в алтаре так, что его голос покрывал собой пение хора и отдавался во всех закоулках обширного собора. Слушая его, действительно казалось, что находишься в опере. Он был законоучителем в местной гимназии. Нас тогда училось в ней пять братьев; я — в первом классе, брат Антон — в пятом. Никто из нас никогда не слышал от

Покровского вопросов. Он вызывал, углублялся в газету, не слушал, что отвечал ему ученик, и ставил стереотипное «три». Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. Уже будучи взрослым, брат Антон рассказывал не раз, как Покровский в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение:

— Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра.

Он любил давать своим ученикам насмешливые имена. Между прочим, это он, Покровский, первым назвал Антона Чехова «Антошей Чехонте», чем и воспользовался писатель для своего псевдонима…

Уже будучи известным писателем, брат Антон вместе с петербургским адвокатом Коломниным, тоже окончившим курс в таганрогской гимназии, послал протоиерею Покровскому в подарок серебряный подстаканник.

Протоиерей, в умилении от подстаканника, благодарил брата Антона и просил выслать ему свои сочинения.

«Поброунсекарствуйте старику», — писал он <Броун-Секар — изобретатель омолаживающей

жидкости>.

Антон Павлович распорядился о высылке ему «Пестрых рассказов», на заглавном листе которых стояло: «А. Чехонте».

Предсказание старика, таким образом, не сбылось. Из Антона все-таки вышел толк, но выдуманный Покровским псевдоним стал достоянием русской литературы.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Вишневский — симпатичный малый. Не находишь ли ты? И кто бы мог когда-то подумать, что из Вишневецкого, двоешника и безобедника, выйдет актер, который будет играть в Художеств<енном> театре в пьесе другого двоешника и безобедника?

Чехов — П. А. Сергеенко, 1 января 1899 г. Ялта

Актер МХТ А. Л. Вишневский был, как и П. А. Сергеенко, соучеником Чехова в Таганрогской гимназии.

Москва

У нас в Таганроге нет ничего нового, решительно ничего! Смертельная скука! Был я недавно в таганрогском театре и сравнил этот театр с вашим московским. Большая разница! И между Москвой и Таганрогом большая разница. Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне очень понравилась!

Чехов — М. М. Чехову, 4 ноября 1877 г. Таганрог

С осени того же <1880> года мы все оптом переехали на другую квартиру по той же Грачевке, в дом Савицкого, на второй этаж, и разместились так: Зембулатов и Коробов — в одной комнате, Савельев — в другой, Николай, Антон и я — в третьей, мать и сестра — в четвертой, а пятая служила приемной для всех. Так как отец в это время жил у Гаврилова, то волею судеб его место в семье занял брат Антон и стал как бы за хозяина. Личность отца отошла на задний план. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и так

далее. Началась совместная работа по поднятию материального положения семьи.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых — они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь — на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке — великолепная старинная дубовая пасочница.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Я уверен, что, служа в Таганроге, я был бы покойнее, веселее, здоровее, но такова уж моя «планида», чтобы остаться навсегда в Москве… Тут мой дом и моя карьера… Служба у меня двоякая. Как врач, я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку, в Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты. Как пишущий, я имею смысл только в столице.

Чехов — М. Е. Чехову. 31 января 1885 г. Москва

Ах, милый капитан, если б Вы знали, какая лень, как мне не хочется писать, ехать в Москву! Когда я читаю в газете московскую хронику, театральные анонсы, объявления и проч., то все это представляется мне чем-то вроде катара, который я уже пережил… Отчего мы с Вами не живем в Киеве, Одессе, в деревне, а непременно в столице? Добро бы пользовались столичными прелестями, а то ведь домоседствуем, в четырех стенах сидим! Теряем мы жизнь…

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову. 14 августа 1888 г. Сумы

Я жив и здрав, живу в Москве. Больше о себе ничего не имею сказать. Не в обиду будь мне сказано, природа и абсолютное безделье бесконечно удовлетворяли меня: я был доволен и покоен;

теперь же, когда мне lege necessitatis <по закону необходимости> приходится садиться за обязательный труд и по-людски в поте лица есть свой хлеб, я недоволен, вдаюсь в хандру, ною, читаю мораль, мизантропствую и строю в своей башке такие конечные выводы, что упаси боже. За 10 дней, пока я живу в Москве, из дому я выходил только 2 раза, на минутку, а то все время сижу в четырех стенах, понукаю себя к работе и жду весны, когда бы мне опять можно было бездельничать, шататься, есть, писать длинные письма и спорить с либеральными девицами.

Моя мечта: заработать к весне возможно больше денег, каковые нужны мне для осуществления моих планов, в тиши задуманных. Буду стараться писать вовсю, семо и овамо, вкривь и вкось, не щадя живота, пока не опротивею; вернусь в «Пет<ербургскую> газ<ету>», в «Осколки» и в прочие колыбели моей славы, пойду в «Север», в «Ниву» и куда хотите… Денег, денег!

Жениться мне, что ли??? <…>

Чтобы освежить и обновить воздух в своей квартире, взял к себе в жильцы молодость в образе гимназиста-первоклассника, ходящего на голове, получающего единицы и прыгающего всем на спины.

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову. 14 сентября 1888 г. Москва

Антон Павлович Чехов приехал в Москву — совсем, навсегда приехал. Быть может, правильнее сказать: вернулся в Москву — в ту Москву, из которой уехал помимо воли, из-за болезни, и куда так неудержимо стремился все те семь-восемь лет, которые он прожил на моих глазах в Ялте, в ту Москву, которая занимала все его мысли, была для него воистину обетованною землей, в которой сосредоточивалось все то, что было в России самого хорошего, приятного, милого для Чехова. Я видал саратовских патриотов, полтавских, сибирских, но такого влюбленного в свое место, как был влюблен Антон Павлович в Москву, я редко встречал. Это было немножко смешно и немножко трогательно, — более трогательно, чем смешно.

Вот один из многих наших разговоров. Антон Павлович собирается в Москву; я боюсь за него, всеми силами отговариваю его и представляю свои аргументы.

— Ведь теперь март месяц, Антон Павлович, — самое отвратительное время в Москве. Все хляби московские разверзнуты.

Я напоминаю ему, что такое московские хляби,

и убеждаю, что и самое слово «хляби» выдумано в Москве и специально для Москвы.

Он сердится и начинает ругать Ялту и говорит, что ялтинские хляби хуже московских. И видно, что ему не терпится, что ему страстно хочется уехать в Москву.

Я начинаю говорить про московскую вонь, про весь нелепый уклад московской жизни, московские мостовые, кривули узеньких переулков, знаменитые тупики, эти удивительные Бабьи Городки, Зацепы, Плющихи, Самотеки, — и чем больше неприятностей говорю я по адресу Москвы, тем веселей и приятнее становится хмурое лицо Антона Павловича, тем чаще смеется он своим коротким чеховским смешком. И видно, что и Самотека, и Плющиха, и даже скверные московские мостовые, и даже мартовская грязь, и серые мглистые дни — что все это ему очень мило и наполняет его душу самыми приятными ощущениями.

Запас сведений о Москве у нас обоих обширен — мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит:

— А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки «с лучком, перцем, с собачьим сердцем», которые

готовились в грязном переулке на Моховой, кажется специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и миловидные Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похудевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович. И он, умный человек, мог говорить удивительно несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе, что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку в доказательство, говорил, что нам, врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская московская непогодь может быть даже полезна для некоторых больных легких. Нечего и говорить о Московской губернии и об окрестностях Москвы — нужно было видеть, с каким восторгом и торжеством над моим неверием и непониманием рассказывал он мне, возвратившись как-то из летней поездки в Московскую губернию, как часами ловил он там пескарей и

окуней, как великолепно отхаркивал мокроту, какой развился у него аппетит и как прибыл он там в весе что-то около восьми фунтов за лето.

И все было мило для него в Москве — и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепах, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышится он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два-три месяца — и снова разговоры все о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: «В Москву, в Москву», — это все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострения процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

С. Я. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов

В Москве он разделял наши развлечения, интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы, просиживал ночи, слушая музыку, но я не могла отделаться от того впечатления, что «он не с нами», что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший — хотя многие члены нашей компании, как тот же Саблин, проф. Гольцев, старик Тихомиров — редактор «Детского чтения» — и др., были много

старше его. И все же: он — старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно — а ему… неинтересно. И где-то за стеклами его пенсне, за его юмористической усмешкой, за его шутками — чувствовались грусть и отчужденность. Была ли тому причиной болезнь, которая уже давала ему себя знать и была ясна, как врачу, неудовлетворенность ли в личной жизни, но радости у А. П. не было, и всегда на все «издали» смотрели его прекрасные умные глаза. И недаром он как-то показал мне брелок, который всегда носил, с надписью: «Одинокому весь мир — пустыня». Но Мелихово явилось для него оазисом в этой пустыне, и там он был совершенно другим, чем в Москве.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха-мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь, — мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, — радостная идиллия у порога готовой

начаться драмы…

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Университет

1879 год для медицинского факультета Московского университета ознаменовался большим наплывом молодежи, в том числе и из самых отдаленных уголков России; на первый курс поступило около 450 студентов, и в числе их нас, четверо одесситов, и трое из таганрогской гимназии, среди последних был и А. П. Чехов. <…>

Несмотря на рано обнаружившийся у него уклон в сторону писательства, он тем не менее оставался прилежным студентом, хотя и довольно пассивным по отношению к увлечению общественной работой или медицинской специальностью. Он аккуратно посещал лекции и практические занятия, нигде, однако, не выдвигаясь вперед. Если бывал на сходках, то скорее в качестве зрителя, и на втором курсе, в 1880/81 академическом году, в бурные времена, предшествовавшие и последовавшие за событием 1 марта 1881 года (убийством Александра II), он оставался в рядах большинства студентов курса, не индифферентных, хотя и не активных революционеров.

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Медицина моя идет crescendo. Умею врачевать и не верю себе, что умею… Не найдешь, любезный, ни одной болезни, которую я не взялся бы лечить. Скоро экзамены. Ежели перейду в V курс, то, значит, finita la comedia… Не имея усов, знаний и возраста, придется вступить на стезю Захарьиных и Циркуненков…

Материя скучная…

Чехов — Ал. П. Чехову и А. И. Хрущовой-Сокольниковой. Между 3 и 6 февраля 1883 г. Москва

Чехов не был скороспелым баловнем фортуны и успеха добился медленным, тяжелым, почти «каторжным» трудом, как определял его труд в письме ко мне ранее меня познакомившийся с Чеховым петербургский журналист и секретарь «Осколков» — Билибин. Чехова мало знали даже после ряда прелестных маленьких вещиц, и к первым годам его литературной карьеры применимы слова Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны. Горькая ирония чеховского «Пассажира 1-го класса», несомненно, имеет автобиографические черты.

Однажды, кажется даже при первой встрече, я спросил Чехова:

— У вас много знакомых?

Чехов ответил:

— Нет.

Я удивился; я сказал, что, сидя в глуши покровских лесов, думал об обширном кружке его московских знакомых, но он только рукою махнул:

— Полноте, кому нужны мы, пишущие люди? Кто интересуется нами? Вы знаете, я окончил Московский университет. В университете я начал работать в журналах с первого курса; пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом «А. Чехонте», который, как вы видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что «А. Чехонте» — я, никто из них этим не интересовался. Знали, что я пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Уже из рассказов самого Чехова ясно, какой материал о нем могли дать его товарищи по университету. <…> Как раз в последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету, но, кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то «близ окошка», мне от них ничего не пришлось услыхать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Чехов искоса, с недоброй, застрявшей в усах улыбкой поглядывал на меня и, точно поддразнивая, — так дразнят щенка, чтобы он громче лаял, — поколачивал меня время от времени все новыми и новыми парадоксами:

— Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить…

Или:

— Почему вы против Суворина? Он умный старик и любит молодежь… У него все берут в долг, и никто не отдает.

Или:

— Студенты бунтуют, чтобы прослыть героями и легче ухаживать за барышнями…

Я обиделся за студентов и свирепо замолчал. Чехов это заметил и переменил разговор. <…>

Вставая, чтобы идти спать, он слегка обнял меня за плечо и спросил шепотом, как поп на исповеди:

— А сами вы не пишете?.. Нет! Вот это хорошо. А то нынче студенты, вместо того чтобы учиться, либо романы пишут, либо революцией занимаются… А впрочем, — возразил он сам себе, — может быть, это и лучше. Мы, студентами, пиво пили, а учились тоже плохо. Вот и вышли

такими… недотепами…

Он весело рассмеялся, смакуя меткое слово, ставшее впоследствии таким знаменитым.

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Медицина

…Чехов был примерным студентом и, несмотря на отвлекавшие его с первых же курсов писательские дела, с полным успехом изучил медицинские науки: лекции он посещал, посещал аккуратно и клиники, и лаборатории. По окончании медицинского факультета он не бросил медицину, он работал в качестве земского врача в Воскресенске и Звенигороде Московской губернии и через семь-восемь лет после окончания курса заведовал во время холерной эпидемии мелиховским участком тоже Московской губернии. Работал он с любовью и добросовестно, как об этом гласят предания.

Кстати будет здесь заметить, что в Воскресенске он нашел в лице теперь уже покойного фельдшера земской больницы оригинал для героя своей «Хирургии». В Звенигороде он насадил на земле больницы аллею лиственниц, которые еще и теперь стройными красавицами тянутся от служебного корпуса вплоть до больничного. И помимо больничной работы, доктор Чехов не избегал, поскольку ему позволяли время и обстоятельства, практической врачебной деятельности:

у меня бывали с ним общие пациенты, которых он иной раз направлял ко мне из Мелихова и из Крыма для выяснения характера нервного заболевания. Он любил давать врачебные советы и следил за научной и практической медициной по периодической литературе. Отношение его к больным отличалось трогательной заботливостью и мягкостью: видно было, что в нем, враче, человечное достигало высокой степени, что способность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща не только ему как человеку, но еще более как врачу-человеку. Меня, между прочим, однажды поразила глубокая сердечность, с которой он хлопотал о приискании средств для помещения через меня в лечебницу писательницы Ж.

Следить за большой медицинской наукой А. П., конечно, было некогда, хотя он старался черпать сведения о движении науки из общемедицинских периодических журналов. Тем не менее ученая степень, поскольку она была нужна для преподавания в университете — он любил помечтать, — казалась ему желательной.

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия, бывшего в 10 верстах от В<оскресен-

ска>. Ездил на залихватской тройке купно с дряхлым, еле дышащим и за ветхостью никуда не годным судебным следователем, маленьким, седеньким и добрейшим существом, мечтающим уже 25 лет о месте члена суда. Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной дороге… Покойник «не тутошний», и мужики, на земле к<ото>рых было найдено тело, Христом Богом, со слезами молили нас, чтоб мы не вскрывали в их деревне… «Бабы и ребята спать от страху не будут…»

Следователь сначала ломался, боясь туч, потом же, сообразив, что протокол можно написать и начерно, и карандашом, и видя, что мы согласны потрошить под небом, уступил просьбам мужиков. Потревоженная деревушка, понятые, десятский с бляшкой, баба-вдова, голосящая в 200 шагах от места вскрытия, и два мужика в роли Кустодиев около трупа… Около молчащих Кустодиев тухнет маленький костер… Стеречь труп днем и ночью до прибытия начальства — мужицкая, никем не оплачиваемая повинность… Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт простыней… На простыне полотенце с образком. Требуем у десятского воды… Вода есть — пруд под боком, но никто не дает ведра: запоганим. Мужик

пускается на хитрость: манехинские воруют ведро у трухинских… Чужого ведра не жалко… Когда они успевают украсть и как и где — непонятно… Ужасно довольны своим подвигом и посмеиваются… Вскрытие дает в результате перелом 20 ребер, отек легкого и спиртной запах желудка. Смерть насильственная, происшедшая от задушения. Пьяного давили в грудь чем-то тяжелым, вероятно хорошим мужицким коленом. На теле множество ссадин, происшедших от откачивания. Манехинские нашли тело и качали его 2 часа так усердно, что будущий защитник убийцы будет иметь право задать эксперту вопрос: поломка ребер не была ли следствием откачивания? Но думаю, что этот вопрос не задастся… Защитника не будет, не будет и обвиняемого… Следователь до того дряхл, что не только убийца, но даже и больной клоп может укрыться от его меркнущего ока…

Чехов — Н. А. Лейкину. 27 июня 1884 г. Воскресенск

Помню зимнюю ночь, большой, как бы приплюснутый номер в три окна на улицу — с неизбежной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта с начатыми картинами, от них ползут тени по стенам, громоздятся к потолку…

За перегородкой изредка тихо стонет больной. <…> Как-то в такой поздний час зашел проведать Левитана молодой, только что кончивший курс врач, похожий на Антона Рубинштейна. Врач этот был Антон Павлович Чехов.

М. В. Нестеров. Давние дни

Антон Павлович сидел перед камином, сдирал бересту с поленьев и подбрасывал их в камин. Он смотрел на яркое пламя немного прищурясь, говорил мало, отрывисто, как будто что-то обдумывая… В это время горничная вызвала его из столовой. А. П. вышел и довольно долго не возвращался. Наконец он снова появился в столовой. Ив. Павл. задал ему вопрос, почему он так долго задержался. Ан. П. снова сел к камину и как-то неохотно ответил:

— Там пациентка одна приходила…

— Так поздно, — удивился Ив. П. — Знакомая, должно быть?

— Нет, я ее в первый раз вижу. Да, видишь ли, ей нужно было подписать рецепт на повторное лекарство, которое в аптеке не выдается без подписи врача, — яд…

— Ты, конечно, не подписал? — с уверенностью спросил Ив. П.

Антон Павлович не сразу ответил, опять уселся

около камина, стал подбрасывать бересту в огонь и, после недолгого молчания, опять заговорил, как бы про себя:

— Что ж? так лучше… Посмотрел я ей в глаза — вижу, все решено… Тут недалеко река, Каменный мост, — бросится, разобьется, обезобразится, а так лучше…

И замолчал. Молчали и мы. А вскоре, чтобы замять разговор об этом случае, стали говорить о литературе…

Ив. Белоусов. Об Ан. П. Чехове

Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно… Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дис-

циплины.

Чехов — А. С. Суворину. 11 сентября 1888 г. Москва

Ну-с, я жив и здрав. Лето было прекрасное, сухое, теплое, изобильное плодами земными, но вся прелесть его, начиная с июля, вконец была испорчена известиями о холере. В то время, как Вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацию, я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных, а скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень. Одним словом, А. П. Коломнин должен гордиться, что учился в той же гимназии, где и я. Душа моя утомлена. Скучно.

Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится. Холера уже в Москве и в Московск<ом> уезде. Надо ждать ее с часу на час. Судя по ходу ее в Москве, надо думать, что она уже вырождается и что запятая начинает терять свою силу. Надо также думать, что она сильно поддается мерам, которые приняты в Москве и у нас. Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь, и когда при этом вспоминаю, как Житель и Буренин выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию, мне делается немножко душно. В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е.

достаточно прочувствовать и сознать и оценить все, что делается.

Чехов — А. С. Суворину. 16 августа 1892 г. Мелихово

В последнее время мною овладело легкомыслие, и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда, и литература стала моей Ависагой <девственница, согревавшая в постели библейского царя Давида>, и я до такой степени привязался к ней, что стал презирать медицину. Но в литературе я люблю не те романы и повести, которые Вы ждете или перестали ждать от меня, а то, что я в продолжение многих часов могу читать, лежа на диване. Для писанья же у меня не хватает страсти.

Чехов — А. С. Суворину. 11 ноября 1893 г. Мелихово

Начало

Брат Антон получал свою стипендию из Таганрога не ежемесячно, а по третям, сразу по сто рублей. Это не облегчало его стесненных обстоятельств, так как полученной суммой сразу же погашались долги, нужно было купить пальто, внести плату в университет и так далее, и на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и «Стрекоза». Затем он что-то написал туда и стал покупать «Стрекозу» у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в «Почтовом ящике» этого журнала ответа на свое письмо. Это было зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелистывал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ: «Совсем не дурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество». Затем, в марте 1880 года, в № 10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова, и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение его называлось в рукописи «Письмо к ученому сосе-

ду» и представляло собою в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

В сем году ты получаешь в дар от меня лучший из юморист<ических> журналов, «Осколки», в коих работаю. Что это лучший журнал, ты убедишься. Имя мое в нем: Человек без с<елезенки>, Крапива и т. д.

Чехов — Ал. П. Чехову, 4–5 января 1883 г. Москва

Газетчик значит, по меньшей мере жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя á la ты. <…> Я газетчик, потому что много пишу, но это временно… Оным не умру. Коли буду писать, то непременно издалека, из щелочки…

Чехов — А. П. Чехову. 13 мая 1883 г. Москва

С Лейкиным приезжал и мой любимый писа-

ка, известный Н. С. Лесков. Последний бывал у нас, ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы… Дал мне свои сочинения с факсимиле. Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: «Знаешь, кто я такой?» — «Знаю». — «Нет, не знаешь… Я мистик…» — «И это знаю…» Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: «Ты умрешь раньше своего брата». — «Может быть». — «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида… Пиши». Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания. В Питере живучи, погощу у него. Разъехались приятелями.

Чехов — Ал. П. Чехову. Между 15 и 28 октября 1883 г. Москва

— В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, — говорил он молодым писателям. — Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется — произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сде-

лали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

— Вам хорошо, теперешним писателям, — нередко говорил он полушутя-полусерьезно. — Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

Толстых журналов в России меньше, чем театров и университетов; судьбою их заинтересована вся читающая и мыслящая масса; за ними следят, от них ждут и проч. и проч. Их поэтому надо всячески оберегать от разрушения — в этом наша прямая обязанность. Вы писали мне: будем держаться. Отвечаю: будем.

Чехов — А. Н. Плещееву, 27 ноября 1889 г. Москва

Почитываю Вас и вспоминаю былое, и когда на пути своем встречаю какого-нибудь юного юмориста, то читаю ему «Бородино» и говорю: «Богатыри не вы!» Мы с Вами когда-то были

очень либеральны, но меня почему-то считали консерватором. Недавно я взглянул в старые «Осколки», уже наполовину забытые, и удивился задору, какой сидел тогда в Вас и во мне и какого нет теперь ни у одного из новейших гениев.

Чехов — В. В. Билибину, 18 января 1895 г. Москва

Работа

По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи.

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница».

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением…

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя… Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Пав-

ловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальной тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям… Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным.

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона сильно припахивало луком.

— Превосходно! — ликовал Антон Павлович. — А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала.

Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне — широких, темных и сальных пятен: это извозчики

во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так сюжетов нет? — настаивал на своем Антон Павлович. — Да все — сюжет, везде сюжет. Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы вглядитесь в нее, найдите в ней что-нибудь свое, чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать и в луне что-нибудь свое, а не чужое и не избитое.

— А вот это разве не сюжет? — указал он в окошко на улицу, где стало уже светать. — Вон смотрите: идет монах с кружкой собирать на колокол… Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое — в черном монахе на бледном рассвете…

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как

и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель.

Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя… Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих,

там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

«Марья Ивановна». 1884

Он знакомых имеет немного, в театр ходит редко, а все сидит, пишет, пишет и пишет. Нет дня, когда бы он чего-нибудь не писал или не написал. Теперь он так наловчился, что рассказы в «Осколки» пишет прямо набело и без помарок. Я видел сам. Все разы, когда я приходил к нему, я заставал его за работой, все без исключения. Чехов — это большущий талант. Малое чтение (журналов он не читает постоянно, а так, иногда заглянет), т. е. малую начитанность ему пополняет громадная наблюдательность и талант, затем усердие. (Мы думаем о них — Чехове и Пальмине — с завистью, а они работают страшно много, раз в 10 больше нас.) Семья (отец, мать, сестра и, кажется, брат-студент) на его руках. Он говорил, что если он месяц не возьмет пера в руки — он несостоятельный, погибший от безденежья человек…

А. С. Лазарев-Грузинский — Н. М. Ежову, 10 марта 1887 г. Москва

Вы пишете, что я обленился. Это не значит, что я стал ленивее, чем был. Работаю я теперь столько же, сколько работал 3–5 лет назад. Работать и

иметь вид работающего человека в промежутки от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, и в этом отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц или 10 тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства: для медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне не хватает страсти и, стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре или, увлекшись работою, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать; не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей. Я боюсь, что в этом отношении я очень похож на Гончарова, которого я не люблю и который выше меня талантом на 10 голов. Страсти мало; прибавьте к этому и такого рода психопатию: ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, успехам, неуспехам, к большому гонорару — одним словом, стал дурак дураком. В душе какой-то застой. Объясняю это застоем в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг

все как-то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороху.

Чехов — А. С. Суворину. 4 мая 1889 г. Сумы

[illegible]<начало письма не сохранилось[illegible] очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина — и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда. <…> Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить всё с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда; мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, и один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за 700–900 р. в год, а не за 3–4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости.

Чехов — А. С. Суворину. Около 20 декабря 1889 г. Москва

Брат Антон занимал в Богимове <летом 1891 г.>

бывшую гостиную — громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядком с дюжину человек. На этом диване он спал. Когда ночью проносилась гроза, от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре утра, и вставал вместе с ним спозаранку и я. Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая на парк и на подымавшийся за ним горизонт. Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой каторжную работу. Занимался он, не отрываясь ни на минуту, до одиннадцати часов утра, после чего ходил в лес за грибами, ловил рыбу или расставлял верши. В час дня мы обедали, причем на моей обязанности лежало приготовить какую-нибудь вкусную горячую закусочку, о чем всегда просила меня мать, — и я изощрялся на все лады и достиг такого совершенства, что из меня выработался потом довольно сносный и изобретательный кулинар. И сам брат Антон настолько привык в Богимове к моему творчеству, что всякий раз,

выходя к обеду, обращался ко мне с вопросом:

— Миша, нет ли у тебя чего-нибудь такого-этакого подзакусить?

Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича, с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день; напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так по крайней мере на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Как удивительно противоречивы показания

современников о Чехове, доказывает следующий факт. В воспоминаниях И. Н. Потапенки о Чехове имеются любопытные строчки: «Творчество стыдливо, и у Чехова это было выражено ярче, чем у кого другого. Никогда он не писал в присутствии кого бы то ни было. Творческая работа Чехова чужого глаза совсем не переносила».

А К. С. Баранцевич, гостивший на юге у Чехова, рассказывает, что на столе в кабинете Чехова валялось несколько четвертушек бумаги, и на одной из них был начат Чеховым какой-то рассказ. За целую неделю, если судить на взгляд, в рассказе не прибавилось ни строчки, и всякий желающий мог свободно читать начатую работу Чехова. На даче околачивался какой-то почти неизвестный Чехову захолустный обыватель, и этот обыватель тоже мог читать чеховский набросок.

В этих противоречивых показаниях истина всецело на стороне К. С. Баранцевича.

Кроме первых лет юмористического скоропи-сания, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, чеканя каждую фразу. Но, работая медленно и вдумчиво, Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, ни священнодействия, никогда его творчество не требовало

уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей. У Чехова слишком много было внутренней творческой силы и той мудрости, о которой говорит тот же Потапенко — да и не один он, — чтобы обставлять работу свою такими побрякушками.

Не думаю, чтобы я представлял исключение из общего правила, но при мне Чеховым были написаны многие рассказы в «Пет. газету» (между прочим, «Сирена»), некоторые «субботники» в «Новое время», многие страницы «Степи». Я потому запомнил «Сирену», что писал ее Чехов в Бабкине целый день, а кончив, обратился ко мне с просьбой:

— Прочитайте «Сирену», А. С.! Не пропустил ли я где-нибудь слова или запятой? Нет ли бессмыслиц? Кстати, это рекорд: рассказ написан без единой помарки.

«Сирена» была действительно написана без помарок; пока Чехов курил и устало потягивался, я прочел рассказ; все слова и все запятые были на своих местах; только в конце рассказа, там, где один из персонажей берется за шляпу, вместо шляпы стояла «шляпка». Чехов исправил описку, сказав шутливо:

— Нужно исправить! Он — не дама.

При мне и брате Иване Павловиче Чеховым был написан небольшой, но прекрасный рассказ о настоятеле монастыря, который так красиво рассказывал монахам о зле и соблазнах мира, что наутро все монахи покинули монастырь. Закончив рассказ, Чехов прочел нам его, и затем младший брат Чехова, Михаил Павлович, повез рассказ на Николаевский вокзал, чтобы сдать его на курьерский поезд.

Не делал секрета Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек.

Однажды, летним вечером, по дороге с вокзала в Бабкино и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который, увы, никогда не был написан. А в другой раз, сидя в кабинете корнеевского дома, я спросил у Чехова о тонкой тетрадке.

— Что это?

Чехов ответил:

— Записная книжка. Заведите себе такую же. Если интересно, можете просмотреть.

Это был прообраз записных книжек Чехова, позже появившихся в печати; книжечка была крайне миниатюрных размеров, помнится самодельная, из писчей бумаги; в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные

мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку об особенном лае рыжих собак — «все рыжие собаки лают тенором» — я вскоре встретил на последних страницах «Степи».

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Художественная память его была невероятна. Чувствовалось, что он наблюдает постоянно и ненасытно; как фотографические аппараты, его органы чувств мгновенно закрепляли в памяти редкие сцены, выражения, факты, разговоры, краски, звуки, запахи. Нередко в разговоре он вынимал маленькую записную книжку и что-то отмечал: «Это нужно запомнить». Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды за нотный лист — до такой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделывал свой чудный слог и любил, чтобы было «густо» написано: немного, но многое. У него было множество набросков и черновиков; выпросить у него что-нибудь для журнала было не так легко. «Будь я миллионер, — говаривал он, — я бы писал вещи только с ладонь величиной».

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Я облокотился на его письменный стол, на ко-

тором лежала какая-то рукопись.

— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть? — спросил я.

— Можно.

Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза: «Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке…»

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

В то же время он требовал от писателей обыкновенных, житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. «Зачем это писать, — недоумевал он, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти

подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, — все равно, какое придет в голову, — и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире — это манерно».

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!

Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро — новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение — все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза,

точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение! <…> Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но… едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно… *(Смеясь.)* А публика читает: «Да, мило, талантливо… Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но „Отцы и дети“ Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо — больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева». <…> Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу… Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь

я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и, в конце концов, чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей.

«Чайка», 1896

О «Чайке» еще говорил Толстой: литераторов не следует выставлять, нас очень мало и нами не интересуются. Лучшее в пьесе — монолог писателя — это автобиографические черты…

А. С. Суворин. Дневник. 11 февраля 1897 г.

Я здоров. Работаю, к великой своей досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чужой стороне за чужим столом неудобно; чувствуешь себя так, точно повешен за одну ногу вниз головой. Работаю мало, быть может, и оттого, что много ем.

Чехов — М. П. Чеховой. 25 ноября (7 декабря) 1897 г. Ницца

Мне скучновато. Работаю вяло, как ленивый хохол. В Монте-Карло не бываю (почти) и уже давно не играл. Игра меня утомляет физически, так как приходится все стоять и потеть.

Чехов — М. М. Ковалевскому. 8 (20) января 1898 г. Ницца

Здоровье мое весьма порядочно, то есть я не кашляю, ничего у меня не болит, не худею, крепко и много сплю и ем, как прорва. Работать хочется, но для работы нет подходящей обстановки, так что большую часть времени я провожу в праздности — в чтении газет и разговорах с дамами.

Чехов — М. П. Чеховой. 27 января (8 февраля) 1898 г. Ницца

Мне грустно, что у меня столько времени ушло без работы и что, по-видимому, я уже не работник.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 13 января 1903 г. Ялта

Я так мечтаю о лете! Так хотелось бы побыть одному, пописать, подумать.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 18 апреля 1904 г.

Ялта

Назидание

Буду из уважения к тебе откровенен. Ты сердишься, оскорблен… но дело не в насмешках <…> Дело в том, что ты сам, как порядочный человек, чувствуешь себя на ложной почве, а кто мнит себя виноватым, тот всегда ищет себе оправдания извне <…> Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохаркании и проч. Это естественно и извинительно. Такова уж натура человеческая. А что ты чувствуешь себя на ложной почве, это тоже верно, иначе бы я не называл тебя порядочным человеком. Пропадет порядочность, ну тогда другое дело: помиришься и перестанешь чувствовать ложь…

Что ты для меня не составляешь загадки, что бываешь иногда варварски смешон, тоже верно. Ведь ты простой смертный, а все мы, смертные, загадочны только тогда, когда глупы, и смешны в течение 48 недель в году… Не правда ли?

Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают!!». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались… Жаловался только Христос, но тот говорил не о своем «я», а о своем учении… Тебя отлично пони-

мают… Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других…

Уверяю тебя, что как брат и близкий к тебе человек я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую… Все твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделяешься последней копейкой, искренен; ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, не злопамятен, доверчив… Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2 000 000… Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту все прощается.

Недостаток же у тебя только один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе, и твой катар кишок. Это — твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста, но veritas magis amicitiae <истина дороже дружбы>… Дело в том, что жизнь имеет свои условия… Чтобы чувствовать себя в своей

тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным… Талант занес тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но… тебя тянет от нее, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами vis-a-vis. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах, у рейнскового погреба, на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно!

Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять след<ующим> условиям:

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы… Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних…

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр знает, что отец и мать седеют от тоски и ночей не спят благодаря тому, что они редко видят Петра (а если видят, то пьяным), то он поспешит к ним и наплюет на водку. Они ночей

не спят, чтобы помогать Полеваевым, платить за братьев-студентов, одевать мать…

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии… Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают… Из уважения к чужим ушам, они чаще молчат.

5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету! Я б<…>!!.», потому что все это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво…

6) Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомства с знаменитостями, рукопожатие пьяного Плевако, восторг встречного в Salon'е, известность по портерным… Они смеются над фразой: «Я представитель печати!!», которая к лицу только Родзевичам и Левенбергам. Делая на грош, они не носятся со

своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили… Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки… Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную…

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой… Они горды своим талантом. Так, они не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы…

8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инстинкт… Спать с бабой, дышать ей в рот, слышать вечно ее мочеиспускание, выносить ее логику, не отходить от нее ни на шаг — и все это из-за чего! Воспитанные же в этом отношении не так кухонны. Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот, не звуки мочеиспускания, не ум, выражающийся в уменье надуть фальшивой беременностью и лгать без устали… Им, особливо художникам, нужны свежесть,

изящество, человечность, способность быть не дыркой, а матерью… Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они, только когда свободны, при случае… Ибо им нужна mens sana in corpore sano <здоровый дух в здоровом теле>.

И т. д. Таковы воспитанные… Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пикквика и вызубрить монолог из «Фауста». Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда…

Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час…

Поездки на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть… Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать… хотя бы Тургенева, которого ты не читал…

<…> самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький… 30 лет скоро! Пора!

Жду… Все мы ждем…

Твой А. Чехов.

Чехов — Н. П. Чехову. Март 1886 г. Москва

Назидание оказалось бесполезным.

Художник умрет через три года, толком так ничего не успев, едва перевалив за тридцать. Получилось, что Чехов писал не для Николая, а для себя.

Мировоззрение

Его упрекали в отсутствии миросозерцания. Нелепый упрек! Миросозерцание в широком смысле слова есть нечто необходимо свойственное человеку, потому что оно есть личное представление человека о мире и о своей роли в нем.

В этом смысле оно свойственно даже таракану, что и подтверждается тем, что большинство из нас обладает именно тараканьим миросозерцанием, то есть сидит всю жизнь в теплом месте, шевелит усами, ест хлеб и распложает таракашков.

У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может, потому, что высока, — но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них. Все чаще слышится в его рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неуменье жить, все красивее светит в них сострадание к людям и — это главное! — звучит

что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся. Его скорбь о людях очеловечивает и сыщика, и грабителя-лавочника, всех, кого она коснется: «Понять — значит простить» — это давно сказано, и это сказано верно. Чехов понимает и говорит — простите! И еще говорит — помогите! Помогите жить людям, помогайте друг другу!..

М. Горький. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге»

Вы пишете, что ни разговор о пессимизме <в повести «Огни»>, ни повесть Кисочки нимало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме. Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьею своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т. е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать

фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог должен разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознавался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем кажется шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж одно это составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед.

Чехов — А. С. Суворину, 30 мая 1888 г. Сумы

Таких статей, какую ты прислал («Южный край»), я читал много, читал, читал и бросил читать, не добившись никакого толку. Вопрос «кто я?» и по сие время остается для меня открытым.

Чехов — Ал. П. Чехову. 28 ноября 1888 г. Москва

Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист.

Я хотел бы быть свободным художником и — только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи… Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником.

Чехов — А. Н. Плещееву, 4 октября 1888 г. Москва

Н. М. Пржевальский, умирая, просил, чтобы его похоронили на берегу озера Иссык-Куль. Умирающему Бог дал силы совершить еще один подвиг — подавить в себе чувство тоски по родной земле и отдать свою могилу пустыне. Такие люди, как покойный, во все века и во всех обществах, помимо ученых и государственных заслуг, имели

еще громадное воспитательное значение. Один Пржевальский или один Стэнли стоят десятка учебных заведений и сотни хороших книг. Их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний и трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. А где эта сила, перестав быть отвлеченным понятием, олицетворяется одним или десятком живых людей, там и могучая школа. Недаром Пржевальского, Миклуху-Маклая и Ливингстона знает каждый школьник и недаром по тем путям, где проходили они, народы составляют о них легенды. Изнеженный десятилетний мальчик-гимназист мечтает бежать в Америку или Африку совершать подвиги — это шалость, но не простая; безграмотный абхазец говорит вздорные сказки об Андрее Первозванном, но это не простой вздор. Это слабые симптомы той доброкачественной заразы, какая неминуемо распространяется по

земле от подвига.

В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что, кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно сознанной цели. Если положительные типы, создаваемые литературою, составляют ценный воспитательный материал, то те же самые типы, даваемые самою жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие люди, как Пржевальский, дороги особенно тем, что смысл их жизни, подвиги,

цели и нравственная физиономия доступны пониманию даже ребенка. Всегда так было, что чем ближе человек стоит к истине, тем он проще и понятнее. Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятны весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание — продолжать свое дело после смерти, оживлять своею могилою пустыню… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав.

<Н. М. Пржевальский>. 1888

Сегодня в «Новом времени» (среда, 26 окт<ября>) есть мой короткий вопль по адресу покойного Пржевальского — образчик моих передовиц. Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно.

Чехов — Е. М. Линтваревой. 27 октября 1888 г. Москва

Реальный облик великого путешественника противоречив. «Фанатическая вера в христианскую цивилизацию» оборачивалась в его характере «бременем белого человека». Пржевальский был высокомерен и жесток по отношению

к туземцам, советуя своим последователям запасаться деньгами, мелкими подарками, винтовкой и нагайкой, ибо воспитанное в рабстве местное население подозрительно, коварно, признает и уважает лишь грубую силу.

«Здесь почти силой достали себе проводника в Хлоссу, но этот проводник близ Голубой реки умышленно завел нас в трудные горы. Отпороли мы за это монгола нагайками и прогнали: сами мы пошли вперед одни, опять разъездами отыскивая путь» (Н. М. Пржевальскский – Я. П. Шишмареву, 8 марта 1880 г.).

Но отменяет ли эти низкие истины возвышающий обман чеховского некролога?

Который, впрочем, не был обманом. Ведь и 30 тысяч пройденных километров, и лошадь Пржевальского, и могила на берегу Иссык-Куля – тоже реальность. Дело здесь опять-таки в высшей точке зрения (см. цитируемое дальше письмо Шавровой с притчей о Симе, Хаме и Афете).

Мережковский пишет гладко и молодо, но на

каждой странице он трусит, делает оговорки и идет на уступки — это признак, что он сам не уяснил себе вопроса… Меня величает он поэтом, мои рассказы — новеллами, моих героев — неудачниками, значит дует в рутину. Пора бы бросить неудачников, лишних людей и проч. и придумать что-нибудь свое. Мережк<овский> моего монаха, сочинителя акафистов, называет неудачником.

Какой же это неудачник? Дай Бог всякому так пожить: и в Бога верил, и сыт был, и сочинять умел… Делить людей на удачников и на неудачников — значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения… Удачник Вы или нет? А я? А Наполеон? Ваш Василий <лакей Суворина>? Где тут критерий? Надо быть Богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться…

Чехов — А. С. Суворину. 3 ноября 1888 г. Москва

Лучше быть жертвой, чем палачом.

Чехов — А. П. Чехову. 2 января 1889 г. Москва

Я рад, что 2–3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа! Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался. Он говорит: «Талант и свежесть всё одолеют». Талант

и свежесть многое испортить могут — это вернее. Кроме изобилия материала и таланта, нужно еще кое-что, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было; его заменяли с успехом мое легкомыслие, небрежность и неуважение к делу.

Чехов — А. С. Суворину. 7 января 1889 г. Москва

Роман значительно подвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива. Посвящаю его Вам — об этом я уже писал. В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людями посильнее и умнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чёрта, свобода от страстей и проч.

Чехов — А. Н. Плещееву, 9 апреля 1889 г. Москва

Вукол Михайлович!

В мартовской книжке «Русской мысли» на 147 странице библиогр<афического> отдела я случайно прочел такую фразу: «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых» и т. д… На критики обыкновенно не отвечают, но в данном случае речь может быть не о критике, а просто о клевете. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю из России, быть может, никогда уж не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа.

Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был.

Правда, вся моя литературная деятельность состояла из непрерывного ряда ошибок, иногда грубых, но это находит себе объяснение в размерах моего дарования, а вовсе не в том, хороший я или дурной человек. Я не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял, короче говоря, у меня есть много рассказов и передовых статей, которые я охотно бы выбросил за их негодностью, но нет ни одной такой строки, за которую мне теперь было бы стыдно. Если допустить предположение, что под беспринципностью Вы разумеете то пе-

чальное обстоятельство, что я, образованный, часто печатавшийся человек, ничего не сделал для тех, кого люблю, что моя деятельность бесследно прошла, например, для земства, нового суда, свободы печати, вообще свободы и проч., то в этом отношении «Русская мысль» должна по справедливости считать меня своим товарищем, но не обвинять, так как она до сих пор сделала в сказанном направлении не больше меня — и в этом виноваты не мы с Вами.

Если судить обо мне как о писателе с внешней стороны, то и тут едва ли я заслуживаю публичного обвинения в беспринципности. До сих пор я вел замкнутую жизнь, жил в четырех стенах; встречаемся мы с Вами раз в два года, а, например, г. Мачтета я не видел ни разу в жизни — можете поэтому судить, как часто я выхожу из дому; я всегда настойчиво уклонялся от участия в литературных вечерах, вечеринках, заседаниях и т. п., без приглашения не показывался ни в одну редакцию, старался всегда, чтобы мои знакомые видели во мне больше врача, чем писателя, короче, я был скромным писателем, и это письмо, которое я теперь пишу, — первая нескромность за все время моей десятилетней деятельности. С товарищами я нахожусь в отличных отноше-

ниях; никогда я не брал на себя роли судьи их и тех журналов и газет, в которых они работают, считая себя некомпетентным и находя, что при современном зависимом положении печати всякое слово против журнала или писателя является не только безжалостным и нетактичным, но и прямо-таки преступным. До сих пор я решался отказывать только тем журналам и газетам, недоброкачественность которых являлась очевидною и доказанною, а когда мне приходилось выбирать между ними, то я отдавал преимущество тем из них, которые по материальным или другим каким-либо обстоятельствам наиболее нуждались в моих услугах, и потому-то я работал не у Вас и не в «Вестнике Европы», а в «Северном вестнике», и потому-то я получал вдвое меньше того, что мог бы получать при ином взгляде на свои обязанности.

Обвинение Ваше — клевета. Просить его взять назад я не могу, так как оно вошло уже в свою силу и его не вырубишь топором; объяснить его неосторожностью, легкомыслием или чем-нибудь вроде я тоже не могу, так как у Вас в редакции, как мне известно, сидят безусловно порядочные и воспитанные люди, которые пишут и читают статьи, надеюсь, не зря, а с сознанием от-

ветственности за каждое свое слово. Мне остается только указать Вам на Вашу ошибку и просить Вас верить в искренность того тяжелого чувства, которое побудило меня написать Вам это письмо. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собою понятно.

А. Чехов.

Чехов — В. М. Лаврову. 10 апреля 1890 г. Москва

Уезжая на Сахалин, он трезво предполагал разное – «может быть, никогда уж не вернусь» – и подводил предварительные итоги. Незнание нормы, отсутствие высшего принципа, Идеи, Бога не отменяет личной ответственности принципиальности.

Но он не был рабом и собственной принципиальности. Вернувшись из путешествия, он восстановил с «Русской мыслью» и деловые отношения, и дружеские знакомства.

Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы,

и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет; Толстой ругает докторов мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями и письмами к губернаторше, не стоит одной кобылки из «Холстомера».

Чехов — А. С. Суворину, 8 сентября 1891 г. Москва

От комода, изразцовой печи, и от кресел, и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах, веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думал: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думал о смерти

и, вероятно, плохо верил в ее возможность; я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мыслей: «Это не долговечно… Это ни к чему». Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкап Бутыги и мой мост, то он скажет: «Это два в своем роде замечательных человека: Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, и потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека, инженер же Асорин не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линии»…

«Жена», 1892

Вас нетрудно понять, и Вы напрасно браните себя за то, что неясно выражаетесь. Вы горький пьяница, а я угостил Вас сладким лимонадом, и Вы, отдавая должное лимонаду, справедливо замечаете, что в нем нет спирта. В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал, и это Вы хорошо даете понять. Отчего нет? Оставляя в стороне «Палату № 6» и меня самого, будем говорить вообще, ибо

это интересней. Будем говорить об общих причинах, коли Вам не скучно, и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30–45 лет, дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо, Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рождать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет «чего-то», это справедливо, и это значит, что поднимите подол нашей музе, и Вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим

существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас. А мы? Мы! Мы пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше — ни тпрру ни ну… Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет — дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10–20 лет, тогда, быть может, изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего-ни-

будь действительно путного, независимо от того, талантливы мы или нет. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут… Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром… Недаром, недаром она с гусаром!

Ну-с, теперь об уме. Григорович думает, что ум может пересилить талант. Байрон был умен, как сто чертей, однако же талант его уцелел. Если мне скажут, что Икс понес чепуху оттого, что ум у него пересилил талант, или наоборот, то я скажу: это значит, что у Икса не было ни ума, ни таланта.

Чехов — А. С. Суворину, 25 ноября 1892 г. Мелихово

Суворин прислал мне чеховское письмо, чтобы я «не сомневалась, что он сходит с ума». Но я после этого письма думаю, что он себе на уме.

Суворину не понравилась «Палата № 6», он ему и грянул резкое письмо. Тот, видимо уязвленный, отвечает, что по нынешним временам лучше писать нельзя. Вы, говорит, горький пьяница, вам спирту нужно, а я вам лимонад предлагаю.

Села писать ответ на суворинское письмо.

С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 28 ноября 1892 г.

То, что у позднейшего поколения писателей и художников нет целей в творчестве, — явление вполне законное, последовательное и любопытное, и если Сазонова ни с того ни с сего испугалась жупела, то это не значит, что я в своем письме лукавил и кривил душой. Вы сами прочли неискренность уж после того, как она написала Вам, иначе бы Вы не послали ей моего письма. В своих письмах к Вам я часто бываю несправедлив и наивен, но никогда не пишу того, что мне не по душе.

Если Вам хочется неискренности, то в письме Сазоновой ее миллион пудов. «Величайшее чудо это сам человек, и мы никогда не устанем изучать его»… или «Цель жизни — это сама жизнь»… или «Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и до́лжно жить, верю в человека, в хорошие стороны его души» и т. д.

Неужели все это искренно и значит что-нибудь? Это не воззрение, а монпасье. Она подчеркивает «можно» и «дóлжно», потому что боится говорить о том, что есть и с чем нужно считаться. Пусть она сначала скажет, что есть, а потом уж я послушаю, что можно и что дóлжно. Она верит «в жизнь», а это значит, что она ни во что не верит, если она умна, или же попросту верит в мужицкого бога и крестится в потемках, если она баба.

Под влиянием ее письма Вы пишете мне о «жизни для жизни». Покорно Вас благодарю. Ведь ее жизнерадостное письмо в 1000 раз больше похоже на могилу, чем мое. Я пишу, что нет целей, и Вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать их, а Сазонова пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит… «цени то, что есть», и, по ее мнению, вся наша беда в том, что мы все ищем каких-то высших и отдаленных целей. Если это не бабья логика, то ведь это философия отчаяния. Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях «вся наша беда», тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука.

Чехов — А. С. Суворину, 3 декабря 1892 г. Мелихово

Я был раздражен против хороших слов и против тех, кто говорит их, и, возвращаясь домой, думал так: одни бранят свет, другие толпу, хвалят прошлое и порицают настоящее, кричат, что нет идеалов и т. п., но ведь все это было и 20–30 лет назад, это отживающие формы, уже сослужившие свою службу, и, кто повторяет их теперь, тот, значит, не молод и сам отживает; с прошлогоднею листвою гниют и те, кто живет в ней. Я думал, и мне казалось, что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплеснели совершенно и что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы, вместе взятые. И я думал, что если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на

первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество увериениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего! А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать, значит отнимать у него бодрость, то есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал также, что, прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветой.

Чехов. Записная книжка. Наброски во время работы над «Рассказом неизвестного человека». 1893

В общем я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой. Как-то перебои сердца у меня продолжались 6 дней, непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может, оттого, что я не курю, толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней

недружелюбно, и это, конечно, несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в «за и против», а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш

пуст. Я свободен от постоя. Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением.

Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького». Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью. Впрочем, все сие в руце Божией. А зафилософствуй — ум вскружится.

Чехов — А. С. Суворину, 27 марта 1894 г. Ялта

Вы спрашиваете в последнем письме: «Что должен желать теперь русский человек?» Вот мой ответ: желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство.

Чехов — А. С. Суворину, 12 декабря 1894 г. Мелихово

Милый друг, отвечаю на главную суть твоего письма — почему мы вообще так редко ведем серьезные разговоры. Когда люди молчат, то это значит, что им не о чем говорить или что они стесняются. О чем говорить? У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни, наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно — и говорить об этом так же скучно, как переписываться с Луговым <писатель А. А. Тихонов-Луговой>. Ты скажешь, что мы литераторы и что это уже само по себе делает нашу жизнь богатой. Так ли? Мы увязли в нашу профессию по уши, она исподволь изолировала нас от внешнего мира — и в результате у нас мало свободного времени, мало денег, мало книг, мы мало и неохотно читаем, мало слышим, редко уезжаем… Говорить о литературе? Но ведь мы о ней уже говорили… Каждый год одно и то же, одно и то же, и всё, что мы обыкновенно говорим о литературе, сводится к тому, кто написал лучше и кто хуже; разговоры же на более общие, более широкие темы никогда не клеятся, потому что когда кругом тебя тундра и эскимосы, то общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве. Говорить о своей

личной жизни? Да, это иногда может быть интересно, и мы, пожалуй, поговорили бы, но тут уж мы стесняемся, мы скрытны, неискренни, нас удерживает инстинкт самосохранения, и мы боимся. Мы боимся, что во время нашего разговора нас подслушает какой-нибудь некультурный эскимос, который нас не любит и которого мы тоже не любим; я лично боюсь, что мой приятель Сергеенко, ум которого тебе нравится, во всех вагонах и домах будет громко, подняв кверху палец, решать вопрос, почему я сошелся с N в то время, как меня любит Z. Я боюсь нашей морали, боюсь наших дам… Короче, в нашем молчании, в несерьезности и в неинтересности наших бесед не обвиняй ни себя, ни меня, а обвиняй, как говорит критика, «эпоху», обвиняй климат, пространство, что хочешь, и предоставь обстоятельства их собственному роковому, неумолимому течению, уповая на лучшее будущее.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко. 26 ноября 1896 г. Мелихово

Скажи матери, что, как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают

потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, — и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно. Надо только по мере сил исполнять свой долг — и больше ничего.

Чехов — М. П. Чеховой, 13 ноября 1898 г. Ялта

Не гувернер, а вся интеллигенция виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша, и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Вспомните, что Катков, Победоносцев, Вышнеградский — это питомцы университетов, это наши профессора, отнюдь не бурбоны, а профессора, светила… Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них

сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д. — и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse и несмотря ни на что.

Чехов — И. И. Орлову, 22 февраля 1899 г. Ялта

Кто глупее и грязнее нас, те народ, а мы не народ. Администрация делит на податных и привилегированных… Но ни одно деление не годно, ибо все мы народ и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное.

Чехов. Записные книжки

Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и больше ничего не известно.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 20 апреля 1904 г. Ялта

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно лю-

дей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

«Студент», 1894

Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «А то вот еще есть писатель Чехов: нытик…» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»…

И. А. Бунин. Чехов

Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он, великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила наконец его многодумье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы, их же не прейдеши. <…> Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает, чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его, как новый препарат, в коллекцию своей атомистической лаборатории, впредь до теоретического обобщения. Отсюда — чеховская бесстрашная грусть: основная черта его творчества. <…> Чехов — один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдатель-объективист — шел через факт к закону жизни. Он — великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации

ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней, и смею даже утверждать — до ступеней, трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об «Экклезиасте». <…> Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать. И уж конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в лебединой песне Чехова — «Вишневом саде», а потому, что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последняя осенила Чехова таким мудрым и глубоким провидением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому творцу как подразумеваемые сами собой. К этому периоду жизни Чехова относится его трагическая шутка о повести, из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку.

«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны». <…>

Чехов, который, как никто другой в русской литературе, и знал, и умел выражать, что человек человеком начинается и кончается, что человек

— весь в себе и «du bist doch immer, was du bis» <ты, однако, всегда был таков, каков ты есть>, является самым чистым и безуклонным русским реалистом. Сентиментальности в нем не было ни капли, и уж вот-то именно — «суровый славянин, он слез не проливал». Он — антидостоевец. Как тип мыслителя-интеллигента, он тесно примыкает к Базарову. Как бытописатель — к Салтыкову. Как психолог и художник — к Мопассану, закончив и увенчав этим западным поворотом гоголевский период нашей литературы. Суворин — огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и «человек волны». Прежде всего — эхо. Чехов — великое знание, воля, система и сила. Прежде всего — голос.

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

Если нет общей идеи, Бога живого человека, не стоит тешить себя иллюзиями и прикрываться лохмотьями чужих верований.

Если Бога нет, надо жить так, будто он есть.

Быт

…Судьба на этот раз против меня! Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух «Запечатленного ангела»… Кто-то завел шкатулку, и я слышу «Елену Прекрасную»… Хочется удрать на дачу, но уже час ночи… Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. <…> Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу… Обстановка бесподобная. Браню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы Вам написал, а главное — медицина и литература были бы оставлены в покое.

Чехов — Н. А. Лейкину, между 21 и 24 августа 1883 г. Москва

Надо спать. Над моей головой идет пляс. Играет оркестр. Свадьба. В бельэтаже живет кухмистер,

отдающий помещение под свадьбы и поминки. В обед поминки, ночью свадьба… Смерть и зачатие…

Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой… Должно быть, шафер.

Оркестр гремит… Ну чего ради? Чему обрадовались сдуру?

Жениху, который собирается тараканить свою невесту, такая музыка должна быть приятна, мне же, немощному, она помешает спать.

Чехов — Н. А. Лейкину, 19 января 1886 г. Москва

Были мы в Полтавск<ой> губ. Были и у Смагиных, и в Сорочинцах. Ездили мы на четверике, в дедовской, очень удобной коляске. Смеху, приключений, недоразумений, остановок, встреч по дороге было многое множество. Все время навстречу попадались такие чудные, за душу хватающие пейзажи и жанры, которые поддаются описанию только в романе или в повести, но никак не в коротком письме. Ах, если бы Вы были с нами и видели нашего сердитого ямщика Романа, на которого нельзя было глядеть без смеха, если бы Вы видели места, где мы ночевали, восьми- и десятиверстные села, которыми мы проезжали, если бы пили с нами поганую водку, от которой

отрыгается, как после сельтерской воды! Какие свадьбы попадались нам на пути, какая чудная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном! То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный, грустный закат… Жаль, что Вас не было! В коляске Вы чувствовали бы себя, как в постели. Ели мы и пили каждые полчаса, не отказывали себе ни в чем, смеялись до колик…

К Смагиным приехали мы ночью. Встреча сопровождалась членовредительством. Узнав наши голоса, Сергей Смагин выскочил из дому, полетел к воротам и, наткнувшись в потемках на скамью, растянулся во весь свой рост. Александр тоже выскочил из дому и в потемках изо всей силы трахнулся лбом о старый каштан, после чего 3–4 дня ходил с красной шишкой; Вата набила себе щеку. После самой сердечной, радостной встречи поднялся общий беспричинный хохот, и этот хохот повторялся потом аккуратно каждый вечер.

Чехов — А. Н. Плещееву, 28 июня 1888 г. Сумы

Я еду в Ялту и положительно не знаю, зачем я туда еду. Надо ехать и в Тироль, и в Константино-

поль, и в Сумы: все страны света перепутались у меня в голове, фантазия кишмя кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор. А тут еще лень, нежелание ехать куда бы то ни было, равнодушие и банкротство… Живу машинально, не рассуждая.

Из Одессы выехал я не в понедельник, как обещал, а в субботу. Совсем было уж уложился, заплатил по счету, но пошел на репетицию проститься — и там меня удержали. Один взял шляпу, другая палку, а все вместе упрашивали меня так единодушно и искренно, что не устояла бы даже скала; пришлось остаться. Без тебя жил я почти так же, как и при тебе. Вставал в 8–9 часов и шел с Правдиным купаться. В купальне мне чистили башмаки, к<ото>рые у меня, кстати сказать, новые. Душ, струя… Потом кофе в буфете, что на берегу около каменной лестницы. В 12 ч. брал я Панову и вместе с ней шел к Замбрини есть мороженое (60 коп.), шлялся за нею к модисткам, в магазины за кружевами и проч. Жара, конечно, несосветимая. В 2 ехал к Сергеенко, потом к Ольге Ивановне борща и соуса ради. В 5 у Каратыгиной чай, к<ото>рый всегда проходил особенно шумно и весело; в 8, кончив пить чай, шли в театр. Кулисы. Лечение кашляющих ак-

трис и составление планов на завтрашний день. Встревоженная Лика, боящаяся расходов; Панова, ищущая своими черными глазами тех, кто ей нужен; Гамлет-Сашечка, тоскующий и изрыгающий громы; толстый Греков, всегда спящий и вечно жалующийся на утомление; его жена — дохленькая барыня, умоляющая, чтоб я не ехал из Одессы; хорошенькая горничная Анюта в красной кофточке, отворяющая нам дверь, и т. д. и т. д. После спектакля рюмка водки внизу в буфете и потом вино в погребке — это в ожидании, когда актрисы сойдутся у Каратыгиной пить чай. Пьем опять чай, пьем долго, часов до двух, и мелем языками всякую чертовщину. В 2 провожаю Панову до ее номера и иду к себе, где застаю Грекова. С ним пью вино и толкую о Донской области (он казак) и о сцене. Этак до рассвета. Затем шарманка снова заводилась и начиналась вчерашняя музыка. Все время я, подобно Петровскому, тяготел к женскому обществу, обабился окончательно, чуть юбок не носил, и не проходило дня, чтоб добродетельная Лика с значительной миной не рассказывала мне, как Медведева боялась отпустить Панову на гастроли и как m-me Правдина (тоже добродетельная, но очень скверная особа) сплетничает на весь свет и на нее, Лику, якобы

потворствующую греху.

Прощание вчера вышло трогательное. Насилу отпустили. Поднесли мне два галстуха на память и проводили на пароход. Я привык и ко мне так привыкли, что в самом деле грустно было расставаться.

Чехов — И. П. Чехову, 16 июля 1889 г. Пароход «Ольга» (по пути из Одессы в Ялту)

Было холодно, все повесили носы, птицы улетели обратно на юг, и я не писал Вам, чтобы не заразить Вас своим дурным настроением. Теперь птицы вернулись, и я пишу. Все обстоит по-прежнему: ни скучно, ни весело.

Веду жизнь по преимуществу растительную, которая постоянно отравляется мыслью, что надо писать, вечно писать. Пишу повесть. Прежде чем печатать, хотел бы прислать Вам ее для цензуры, ибо Ваше мнение для меня золото, но надо торопиться, так как нет денег. <…>

Во мне все-таки говорит хохлацкая кровь. Я велел убрать из колодца культурный насос, взвизгивающий, когда качают воду, и хочу поставить скрипящий журавль, который у здешних мужиков будет вызывать недоумение. Велел я также людскую выбелить. «Велел» — это уж очень по-помещицки; вернее — попросил, так как

все работы по окраске, починке всяких мелочей и проч. несут мои домочадцы с Мишей во главе. Парники засадили и засеяли сами, без наемников; весною деревья будем сажать тоже сами, и огород тоже. Все-таки экономия! В первое время меня всего ломало от физического труда, теперь же ничего, привык. Как работник и помощник я решительно ничего не стою. Только и умею снег в пруд бросать да канавки копать. А вбиваю гвоздь — криво выходит.

Чехов — А. С. Суворину. 31 марта 1892 г. Мелихово

Я жив и здрав. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко. Курение свел до одной сигары в сутки. Летом безвыездно сидел на одном месте, лечил, ездил к больным, ожидал холеры… Принял 1000 больных, потерял много времени, но холеры не было. Ничего не писал, а все гулял в свободное от медицины время, читал или приводил в порядок свой громоздкий «Сахалин». Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. Оттого что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом <русский адмирал, которого в 1893 г. бурно че-

ствовали в России и Франции>. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. Во-первых, квартиры нет — могу жить где угодно, во-вторых, паспорта все еще нет и… девицы, девицы, девицы… Все лето меня томило безденежье, я изнывал, теперь же, когда расходы стали меньше, я успокоился. Чувствую свободу от денег, т. е. мне начинает казаться, что больше 2 тысяч в год мне уже не нужно и я могу писать и не писать.

Чехов — А. С. Суворину, 11 ноября 1893 г. Мелихово

Живу я не в городе, потому что жизнь в деревне обходится мне вдвое дешевле; и к тому же здесь не так скучно, праздно, одиноко и тесно, как в городе. Здесь у меня и свой сад, и лес, и собаки, и свои лошади, здесь, когда выйдешь за ворота, горизонт видно.

Чехов — К. А. Каратыгиной, 16 февраля 1894 г. Мелихово

Вчера у нас были целый день гости. Была та очень красивая дама, что живет около Гурзуфа. Была m-me Бонье, похожая на красного петуха с белым хохлом. Вечером приходила начальница с Манефой и по обыкновению сидела долго и изумлялась бесчеловечности гостей, которые сидят

долго. Как только она ушла, с матерью сделалось дурно. Лежит бледная, жалуется вялым упавшим голосом на тошноту и слабость. Приехал Альтшуллер. Нашел у матери здоровые легкие, старческое перерождение сосудов и сердца и прописал покой. Сегодня утром вхожу в столовую, а мать уже сидит и пьет кофе. «Ведь вам, говорю, запретили вставать!» А она: «Надо же мне кофию напиться!»

В Ялте туман. День моих именин прошел в угрюмом молчании, я был нездоров.

Чехов — М. П. Чеховой. 21 января 1900 г. Ялта

Москва очень хороший город, по крайней мере таковой она кажется в эту зиму, когда я почти здоров, мороз небольшой, и время идет необычайно быстро. Но здесь страшная толкотня, ни одной свободной минуты, все время приходится встречать и провожать и подолгу говорить, так что в редкие свободные минуты я уже начинаю мечтать о своем возвращении к ялтинским пенатам, и мечтаю, надо сознаться, не без удовольствия.

Чехов — Л. В. Средину. 20 января 1904 г. Москва

Я жив и вроде как бы здоров, если не считать расстройства желудка, которое продолжается уже с неделю и которое, как мне кажется, пого-

нит меня из Ялты скорее, чем предполагалось. Вообще беда с кишечником, никак он у меня не успокоится.

Сейчас приходила девица Татаринова, приглашала к себе на свадьбу. Кто-то берет ее замуж. Два дня подряд приходили и сидели подолгу художники Коровин и бар. Клодт; первый говорлив и интересен, второй молчалив, но и в нем чувствуется интересный человек. У доктора Бородулина, которого ты знаешь, несчастье: рак пищевода. Доктор Средин тоже все болеет; чахотка отошла на второй план, а теперь мучает его нефрит, т. е. воспаление почек. Доктор Алексин похудел и постарел. Доктор Чехов влюблен в свою супругу и страдает расстройством кишечника.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 7 апреля 1904 г. Ялта

Дорогой Леонид Валентинович, я, как приехал в Москву, с той же минуты залег в постель и лежу до сих пор. У меня жестокий катар кишок и плеврит. К счастью, попался хороший доктор, некий Таубе, немец, который, не мудрствуя лукаво, запретил мне кофе, яйца, посадил на диету, и желудок мой теперь почти исправился. 2-го июня уезжаю за границу, по предписанию Таубе, в Шварцвальд, буду там лечиться у какого-то

немца. Знаете, голубчик, я полечился теперь у немцев и вижу, сколько вреда, зла причинили и причиняли мне Остроумов, Щуровский et tutti quanti <и прочие>, которые только разговаривали со мной, не лечили меня, говорили, что понос лечить не следует, так как он стал привычным. Ежедневно, по предписанию докторов, я съедал до 8 яиц, а яйца оказываются слабительным. Ну да черт с ними, я зол и намучился, так что, быть может, и не прав.

А Вы как поживаете? Напишите мне хоть две строчки. И мой совет: лечитесь у немцев! В России вздор, а не медицина, одно только вздорное словотолчение, начиная с согревающих компрессов, которые вызвали во мне плеврит и которые, как оказывается теперь, вредны, заменены спиртовыми компрессами. Меня мучили 20 лет!!

В Москве очень хорошая погода, но я не выхожу, в постели. Быть может, послезавтра поеду кататься с Ольгой.

Чехов — Л. В. Средину. 22 мая 1904 г. Москва

Милая Маша, пишу тебе из Берлина, где я живу уже сутки. В Москве после твоего отъезда стало очень холодно, пошел снег, и, вероятно, от этого я простудился, началась у меня ломота в ногах и руках, я не спал ночей, сильно похудел, впрыски-

вал морфий, принимал тысячи всяких лекарств и с благодарностью вспоминаю только об одном героине, прописанном мне когда-то Альтшуллером. К отъезду я стал все-таки набираться сил, появился аппетит, стал я впрыскивать в себя мышьяк и проч. и проч. и наконец в четверг выехал за границу очень худой, с очень худыми, тощими ногами. Ехал хорошо, приятно. Здесь в Берлине заняли уютный номер в лучшей гостинице, живу я тут с большим удовольствием и давно уже не ел так хорошо, с таким аппетитом, как здесь. Хлеб здесь изумительный, я объедаюсь им, кофе превосходный, про обеды уж и говорить нечего. Кто не бывал за границей, тот не знает, что значит хороший хлеб. Здесь нет порядочного чаю (у нас свой), нет закусок, зато все остальное великолепно, хотя и дешевле, чем у нас. Я уже отъелся и сегодня даже ездил далеко в Тиргартен, хотя было прохладно. Итак, стало быть, скажи мамаше и всем, кому это интересно, что я выздоравливаю, или даже уже выздоровел, ноги уже не болят, поносов нет, начинаю полнеть и уже целый день на ногах, не лежу. Завтра у меня будет здешняя знаменитость — проф. Овальд, специалист по кишечным болезням; ему писал обо мне д-р Таубе.

Вчера пил чудесное пиво.

Чехов — М. П. Чеховой. 6 (19) июня 1904 г. Берлин

Здоровье мое поправилось, я, когда хожу, уже не замечаю того, что я болен, хожу себе и все, одышка меньше, ничего не болит, только осталась после болезни сильнейшая худоба; ноги тонкие, каких у меня никогда не было. Доктора-немцы перевернули всю мою жизнь. В 7 час. утра я пью чай в постели, почему-то непременно в постели, в 71/2 приходит немец вроде массажиста и обтирает меня всего водой, и это, оказывается, недурно, затем я должен полежать немного, встать и в 8 час. пить желудевое какао и съедать при этом громадное количество масла. В 10 час. овсянка, протертая, необыкновенно вкусная и ароматичная, непохожая на нашу русскую. Свежий воздух, на солнце. Чтение газет. В час дня обед, причем я ем не все блюда, а только те, которые, по предписанию доктора-немца, выбирает для меня Ольга. В 4 час. опять какао. В 7 ужин. Перед сном чашка чаю из земляники — это для сна. Во всем этом много шарлатанства, но много и в самом деле хорошего, полезного, например овсянка. Овсянки здешней я привезу с собой.

Ольга уехала сейчас в Швейцарию, в Базель лечить свои зубы. В 5 час. вечера будет дома.

Меня неистово тянет в Италию.

Чехов — М. П. Чеховой. 16 (29) июня 1904 г. Баденвейлер

Юмор

Вспоминается, например, такой случай.

Как-то в часу седьмом вечера, Великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли или его кляча, — определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас

же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался — мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда.

Наконец я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

— Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест.

— Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

— На, держи, только остор…

Я не успел договорить: «Осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

— Осторожнее, это бомба… неси ее в участок…

Я сообразил и приказываю:

— Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

— Понимаю, вашевскродие.

А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городового с «бомбой», мы поехали ко мне в Столешников

чай пить.

На другой день я узнал подробности всего вслед за тем происшедшего. Городовой с «бомбой» в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о «бомбе».

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околодочному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести «бомбу» и положить ее на стол. Околодочный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидали толпу, узнали, в

чем дело, и старик-брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

— Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

В. А. Гиляровский. Жизнерадостные люди

Приезжайте не на неделю, а на две — на три. Каяться не будете, особливо если Вы не против житья по-свински, т. е. довольства исключительно только растительными процессами. Бросьте Вы Вашу архитектуру! Вы нам ужасно нужны. Дело в том, что мы (Киселев, Бегичев и мы) собираемся судить по всем правилам юриспруденции, с прокурорами и защитниками, купца Левитана, обвиняемого в a) уклонении от воинской повинности, b) в тайном винокурении (Николай пьет, очевидно, у него, ибо больше пить негде), c) в содержании тайной кассы ссуд, d) в безнравственности и проч. Приготовьте речь в качестве

гражданского истца.

Чехов — Ф. О. Шехтелю, 8 июня 1886 г. Бабкино

Наконец мы доехали до Москвы. Доехали благополучно и без всяких приключений. Закусывать начали в Ворожбе и кончили под Москвой. Цыплята распространяли зловоние. Маша во всю дорогу делала вид, что незнакома со мной и с Семашко, так как с нами в одном вагоне ехал проф<ессор> Стороженко, ее бывший лектор и экзаменатор. Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа; прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место. Семашко изображал камердинера.

Чехов — Е. М. Линтваревой, 6 сентября 1889 г. Москва

В доме было комнат девять-десять, и когда А. П. в первый раз показывал мне его, то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, «проходная», то «пушкинская» — по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, — то «для гостей», или «угловая» — она же «диванная», она же — «каби-

нет». А. П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает «толпы» или «воинов», одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами… чтобы создать впечатление многочисленности. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в «Юлии Цезаре», и я вспомнила шутку Чехова.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Самая его жестокая шутка была такова. В Мелихове бродили «по наивному», как его называл Чехов, двору голуби кофейного цвета с белым, так называемые египетские, и совершенно такой же расцветки кошка. А. П. уверил меня, что эти голуби произошли от скрещения этой кошки с обыкновенным серым голубем.

В то время в гимназии естественной истории не преподавали, и я в ней была совершенный профан. Хотя это и показалось мне странным, но не поверить такому авторитету, как А. П., я не решилась и, возвратясь в Москву, рассказала кому-то о замечательных чеховских голубях. Легко себе вообразить, какой восторг это вызвало в литературных кругах и как долго я стыдилась своего невежества.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Один из любимых его рассказов был такой: как он, А. П., будет «директором императорских театров» и будет сидеть, развалясь в креслах «не хуже вашего превосходительства». И вот курьер доложит ему: «Ваше превосходительство, там бабы с пьесами пришли! (вот как у нас бабы с грибами к Маше ходят)».

— Ну, пусти! — И вдруг — входите вы, кума. И прямо мне в пояс. — Кто такая? — «Татьяна Е<жо>ва-с!» — А! Татьяна Е<жо>ва! Старая знакомая! Ну так уж и быть: по старому знакомству приму вашу пьесу.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

По предложению Морозова было решено окрестить именем Чехова вновь отстроенную школу. Чехову это не понравилось, но он промолчал. Мне поручили составить соответствующий адрес, а дяде Косте — его прочитать. Тот долго отнекивался, но наконец сказал, что «ради памяти потомства» он согласен.

Когда Чехов узнал, что в школе будут служить молебен, он наотрез отказался присутствовать на торжестве. Тогда решили поднести ему адрес на дому. <…>

В комнату несмело вошла делегация: учитель, священник, фельдшер и начальник станции.

Дядя Костя выступил вперед и, задыхаясь от волнения, прочел мой высокопарный адрес… Настало торжественное молчание… Начальник станции даже вытянул руки по швам, как на параде.

Чехов медленно поднялся, взял папку с адресом из дрожащих рук дяди Кости и, оглядев его, сказал так, будто ничего не произошло:

— Константин Иванович, а у вас опять брюки не застегнуты!

Дядя Костя закрыл ладонями живот и присел от испуга. Все засмеялись и громче всех, басом, начальник станции, усатый жандарм.

Когда я вечером рассказал об этом Савве, тот долго трясся от заливистого, с бубенчиком, смеха и, вытирая белоснежным платком слезы, сказал:

— Чему же вы удивляетесь? Вы еще его не знаете — он не только дядю Костю, он кого угодно может стащить с колокольни… Не любит он пышности и вообще колокольного звона. Вы читали его «Степь»? Помните там: «по небу чиркнули серной спичкой». Это он так про грозу, чтоб не очень гремела… Вот подождите, Илья-пророк припомнит еще ему эти спички! Отомстит ему старик… Он ведь, как все мужики, — злопамятный.

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Дорога шла мимо земской больницы, расположенной в некотором отдалении от шоссе. На террасе стояла группа людей, отчаянно махавших руками в нашем направлении и как будто что-то кричавших… Мы ехали, углубившись в какой-то разговор, и хотя видели суетившихся людей, но все же не подумали, что это могло относиться к нам, и решили, что это сумасшедшие… Впоследствии оказалось, что это были не сумасшедшие, а группа ялтинских знакомых нам докторов, бывших в больнице на какой-то консультации и усиленно старавшихся остановить нас… Этот эпизод потом был источником смеха и всевозможных анекдотов.

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

Лейкин

Поэт Л. И. Пальмин сыграл в литературной судьбе Антона Чехова очень большую роль, хотя это и вышло совсем случайно. Он пописывал стишки в петербургских «Осколках», которые издавал известный юморист Н. А. Лейкин. В один из своих приездов в Москву Лейкин затащил Пальмина обедать в ресторан Тестова, и когда оба они ехали оттуда на извозчике, Пальмин увидал шедших по тротуару двух моих братьев, Николая и Антона, и указал на них Лейкину:

— Вот идут два талантливых брата: один из них — художник, а другой — литератор. Сотрудничают в здешних юмористических журналах.

Лейкин остановил извозчика. Пальмин окликнул моих братьев, и они познакомились с Лейкиным, который тут же пригласил Антона сотрудничать в его «Осколках». Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалась мало-помалу его слава.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Подобно Щедрину, Чехов превыше всего ста-

вил писательское звание, всегда интересовался писателями, большими и маленькими, и немало из этих последних вывел или по крайней мере стремился «вывести в люди». Познакомившись у Чехова с Лейкиным, я на следующий день сказал Чехову, что первое знакомство с Лейкиным оставило во мне приятное впечатление. Чехов ответил:

— У Лейкина, как и у всех нас, есть свои недостатки. Но есть и достоинства. Лейкин прежде всего — литератор. И это нужно ценить. Возьмите Горбунова: тот все дружит с генералами, а у Лейкина нет этих замашек. Для Лейкина прежде литератор, а затем — генерал.

А. С. Лазарев-Грузинский. А. П. Чехов

Получил сегодня от Лейкина письмо. <…> Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей. Он если приходит куда или говорит что-нибудь, то непременно с задней мыслью. Каждое свое слово он говорит строго обдуманно и каждое ваше слово, как бы оно ни было случайно сказано, мотает себе на ус в полной уверенности, что ему, Лейкину, это так нужно, иначе книги его не пойдут, враги восторжествуют, друзья покинут, кредитка прогонит… Лисица каждую минуту боится за свою шкуру, так и он. Тонкий

дипломат! Если говорит обо мне, то это значит, что он хочет бросить камешек в огород «нигилистов», которые меня испортили (Михайловский), и брата Александра, которого он ненавидит. В своих письмах ко мне он меня предостерегает, пугает, советует, открывает мне тайны… Несчастный хромой мученик! Мог бы покойно прожить до самой смерти, но какой-то бес мешает…

Чехов — А. С. Суворину, 3 ноября 1888 г. Москва

Вы писали, что будете в Москве, я все ждал от Вас телеграммы или письма, рассчитывая повидаться, но, очевидно, Вы изменили Ваши планы насчет Москвы. Вместо Вас небо послало мне Лейкина, который приезжал ко мне с Ежовым и Грузинским — двумя молодыми тюфяками, которые не проронили ни одного слова, но нагнали на всю усадьбу лютую скуку. Лейкин обрюзг, опустился физически, облез, но стал добрее и душевнее; должно быть, скоро умрет. Моя мать, заказывая мяснику мясо, сказала, что нужно мясо получше, так как у нас гостит Лейкин из Петербурга. «Это какой Лейкин? — изумился мясник. — Тот, что книги пишет?» — и прислал превосходного мяса. Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы.

Чехов — А. С. Суворину, 16 марта 1895 г. Мелихово

Приехал к нам туда <в Мелихово> в первый раз и издатель «Осколков» Н. А. Лейкин. Низенький, широкоплечий и хромой на одну ногу, он представлял собою очень оригинального человека. Отличаясь большим, своеобразным гостеприимством, он и сам любил бывать в гостях, что называется — рассесться, снять сюртук и целые часы провести за столом. Он в компании любил здорово «урезать» и после сытного, обильного ужина посылал за отвратительной «углицкой» копченой колбасой и ел ее с наслаждением. Лейкин был самородком. Из крестьян Ярославской губернии, он был привезен в Питер и отдан там в лавочники, но благодаря своему дарованию выбился в люди, сделался писателем, стал домовладельцем, гласным Думы и одним из заправил Городского кредитного общества. Он написал, по его словам, свыше 20 тысяч рассказов и сценок и всегда с гордостью и достоинством носил звание литератора. Его дом на Дворянской улице был открыт для всех. Он очень любил угостить приятеля и, чтобы показать ему, как он к нему расположен и как ничего не жалеет для него, всегда указывал цену того, чем угощал:

— Кушайте этот балык. Он стоит 2 рубля 75 копеек за фунт. Выпейте этой марсалы. Я заплатил за нее 2 рубля 80 копеек за бутылку. Вот эти кильки вовсе не 45-копеечные, а стоят целых 60 копеек жестянка.

Бездетный, живя лишь с супругой Прасковьей Никифоровной, он купил для себя огромное имение графа Строганова на Неве, с целым дворцом. Когда приехал к нему туда брат Антон и Лейкин повел его по комнатам и стал показывать ему свой дворец, то Антон Павлович удивился и спросил его:

— Зачем вам, одинокому человеку, вся эта чепуха?

Лейкин ответил:

— Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь — я, Лейкин, хам.

Последний раз я встретил его в Петербурге на банкете печати в честь французской прессы, устроенном во время приезда в Петербург французской эскадры с президентом Лубе. Лейкин ударял себя кулаком в грудь, на глазах у него появились слезы, и он сказал:

— Я Чехова родил!

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Вчера прочел новый рассказ Ан. Чехова «Дама

с собачкой», напечатанный в последней книжке «Русской мысли». Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте. Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!

Н. А. Лейкин. Дневник. 24 декабря 1899 г.

Рождество. Газеты «Новое время» и «Петербургская газета» переполнены так называемыми рождественскими рассказами, есть и мой — «Настюшкино горе». Рассказы плохи, неинтересны, и я с гордостью скажу, что мой рассказ всех лучше, даже лучше рассказа Антона Чехова, хотя писан наскоро. <Имеется в виду сокращенная перепечатка в приложении к «Петербургской газете» старого рассказа «Художество», 1886.>

Н. А. Лейкин. Дневник. 25 декабря 1899 г.

Григорович

В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского «юмора» неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику «А. Чехонте». Кажется, Григорович же устроил издание «Пестрых рассказов», и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в «Новом времени».

В. Г. Короленко. Антон Павлович Чехов

Милостивый государь Антон Павлович,

около года тому назад я случайно прочел в «Петербургской газете» Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что бы-

ло подписано Чехонте, хотя внутренне сердился за человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Читая Вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у Вас настоящий талант, — талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья. Я не журналист, не издатель; пользоваться Вами я могу, только читая Вас; если я говорю о Вашем таланте, говорю по убеждению. Мне минуло уже 65 лет; но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что не мог — как видите — утерпеть и протягиваю Вам обе руки. Но это еще не все; вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам Вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (метель, ночь и местность в «Агафье» и т. д.), чувству пластичности, где в нескольких строчках является полная картина: тучки на угасающей заре — «как пепел на потухающих угольях…» и т. д. — Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно

художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю Ваших средств; если у Вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите Ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики. В основу Ваших рассказов часто взят мотив несколько цинического оттенка, к чему это? Правдивость, реализм не только не исключают изящества, — но выигрывают от последнего. Вы настолько сильно владеете формой и чувством пластики, что нет особой надобности говорить, например, о грязных ногах с вывороченными ногтями и о пупке у дьячка. Детали эти ровно ничего не прибавляют к художественной красоте описания, а только портят впечатление в глазах читателя со вкусом. Простите мне великодушно такие замечания; я решился их высказать потому

только, что истинно верю в Ваш талант и желаю ему ото всей души полного развития и полного выражения. На днях, говорили мне, выходит книга с Вашими рассказами; если она будет под псевдонимом Чехон-те, — убедительно прошу Вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее Ваше имя. После последних рассказов в «Новом времени» и успеха «Егеря» оно будет иметь больше успеха. Мне приятно было бы иметь удостоверение, что Вы не сердитесь на мои замечания, но принимаете их как следует к сердцу точно так же, как я пишу Вам неавторитетно, — по простоте чистого сердца.

Жму Вам дружески руку и желаю Вам всего лучшего.

Уважающий Вас Д. Григорович.

Д. В. Григорович — Чехову. 25 марта 1886 г. Петербург

Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как Вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит Вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить Вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенные люди глядят на таких

избранников, как Вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия Ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно — гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мной эта высокая награда или нет… Повторяю только, что она меня поразила.

Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтоб быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства… А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый «литературный кружок»: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Если пойти мне

туда и прочесть хотя кусочек из Вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и — пошла писать! Это первая причина… Вторая — я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.

Пишу все это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед Вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток, а «Егеря», который Вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом… Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал.

Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться

написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.

Но вот нежданно-негаданно явилось ко мне Ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ «выехать из города в 24 часа!», т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз…

Я с Вами во всем согласен. Циничности, на которые Вы мне указываете, я почувствовал сам, когда увидел «Ведьму» в печати. Напиши я этот рассказ не в сутки, а в 3–4 дня, у меня бы их не было…

От срочной работы избавлюсь, но не скоро… Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело… Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.

Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова и книга напечатана. Мне многие петербуржцы еще до Вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно из самолюбия.

Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что, прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите Вы, я не стал бы печатать этой книги.

Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет.

Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро.

Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу.

Пришлите мне, если можно, Вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен Вами, что, кажется, не лист, а целую стопу написал бы Вам. Дай Бог Вам счастья и здоровья, и верьте искренности глубоко уважающего Вас и благодарного А. Чехова.

Чехов — Д. В. Григоровичу, 28 марта 1886 г. Москва

…«Засмеяться Чехову в лицо», если бы он прочел «хотя кусочек письма» Григоровича, вряд ли мог кто-либо, и он знал это очень хорошо. Так что «жалкие слова» вылились на бумаге под давле-

нием чувствительно-благодарного настроения и, быть может, какой-то домашней неприятности. Да и читалось это письмо. Не помню, читалось ли в кружке, но в Москве о нем очень знали и Чехов из него секрета не делал. И конечно, не встречал никаких насмешек, а напротив, самое живое и радостное сочувствие. Мы же, молодые, были прямо в восторге, что Чехову начинает везти. Однажды даже шампанское пили по этому случаю: Курепин, Чехов, я, Евгений Пасек, Гиляровский.

А. В. Амфитеатров. О письмах Чехова

Приезжаю я к Григоровичу. Старичина поцеловал меня в лоб, обнял, заплакал от умиления, и… от волнения у него приключился жесточайший припадок грудной жабы. Он невыносимо страдал, метался, стонал, а я 2 1/2 часа сидел возле него, браня во все лопатки свою бессильную медицину. К счастью, приехал Бертенсон, и я мог бежать. Старик серьезно болен и, вероятно, скоро умрет. Для меня это незаменимая потеря. С собой я привез его письмо, которое он начал писать ко мне: описывает подробно свою болезнь и проч.

Чехов — М. В. Киселевой. 17 марта 1887 г. Москва

12 янв. Татьянин день. (Университетская годов-

щина.) <…>

Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших меня резать трупы и писать рецепты. Вероятно, придется пить и за Ваше здоровье, так как у нас не проходит ни одна годовщина без того, чтобы пьющие не помянули добром Тургенева, Толстого и Вас. Литераторы пьют за Чернышевского, Салтыкова и Гл. Успенского, а публика (студиозы, врачи, математики и проч.), к которой я принадлежу как эскулап, все еще держится старины и не хочет изменять родным именам. Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых Вы изображали, но Вы останетесь целы и невредимы. Такова Ваша сила и таково, значит, и счастье.

Чехов — Д. В. Григоровичу, 12 января 1888 г. Москва

Вчера из Ниццы приехал Григорович, расцеловался со мною и завопил о том, что у нас в России нет критики и что такого гейнима, как Антон, недостаточно оценили. <…> И за границей, и в России он возит с собой сочинения Антона, читает их, делает на полях пометки карандашом

и, вероятно, надоедает соседям по вагону. <…> Такого пылкого энтузиаста и распространителя Антоновой славы я еще не встречал. Он, кажется, готов залепить в ухо, чтобы только доказать, что Антон — гейним. В редакции он ни с того ни с сего набросился на «Жителя» <А. А. Дьяков> и давай его укорять в том, что Антона будто бы обижают… Я тоже выслушал приблизительно такую речь: «Дорогой мой Чехов, скажите брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями, был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив. Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У — талант, у — силища! Жаль только, что он всё мелкие вещи пишет…»

Ал. П. Чехов — М. П. Чеховой. 8 июля 1888 г. Петербург

Дорогой Дмитрий Васильевич, пишу Вам на суворинской бумаге. Моя сестра, вернувшись из Петербурга, сказала мне: «На Суворины неприятно подействовало, что ты перед отъездом не побывал у Григоровича. Ты этим огорчил его». Уверяю Вас, милый мой, что у меня и в мыслях не было сделать Вам что-нибудь неприятное, а тем более оскорблять Вас своим невниманием. Правда, в моих жилах течет ленивая хохлацкая

кровь, я тяжел на подъем и не люблю выходить из дому, но моя любовь к Вам пересилила бы всякую лень. Видеть Вас и говорить с Вами для меня такое удовольствие, какое мне приходится испытывать не часто. Говорю я искренно. Не был же я у Вас благодаря одному обстоятельству, которое я теперь считаю просто недоразумением. Прошу Вас припомнить тот вечер, когда Вы, Алексей Сергеевич и я шли из музея в магазин Цинзерлинга. Мы разговаривали. Я, между прочим, сказал:

— Я к Вам на днях приду.

— Дома Вы его не застанете, — сказал Суворин.

Вы промолчали. Ваше молчание я понял не так, как нужно, — отсюда и мое невежество. Во всяком случае, я прошу извинить меня. Все-таки я виноват. Если Вы напишете мне, что не сердитесь на меня, то я буду очень рад, и за это, когда приеду в Петербург, обещаю Вам сопровождать Вас по улицам в качестве вожатого доктора, сколько Вам угодно.

Чехов — Д. В. Григоровичу, 24 декабря 1888 г. Москва

Я Григоровича очень люблю, но не верю тому, что он за меня боится. Сам он тенденциозный писатель и только прикидывается врагом тенденции. Мне кажется, что его одолевает постоянный

страх потерять расположение людей, которых он любит, — отсюда и его виртуозная неискренность.

Чехов — А. С. Суворину. 6 января 1889 г. Москва

Вчера приходил Григорович; долго целовал меня, врал и все просил рассказать ему про японок.

Чехов — М. П. Чеховой. 14 января 1891 г. Петербург

Мне памятен один приезд в Москву покойного Д. В. Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей. Было что-то необыкновенно торжественное, кажется единственное и небывалое в летописях литературы.

Так как писатель иногда помещал свои вещи в «Русской мысли», то В. М. Лавров захотел устроить ему в Москве «филиальное чествование».

Конечно, это не могло быть даже и тенью петербургского юбилея, но все же — «Эрмитаж», несколько десятков приглашенных, заранее предусмотренные речи.

Само собою разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича. С одной стороны, хотелось показать петербургскому литератору лучшее, что есть в литературной Москве и чем она гордится, а с дру-

гой — имелись в виду особые отношения между Чеховым и Григоровичем.

Ведь старый писатель первый заметил талант Чехонте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо.

Антону Павловичу все это было поставлено на вид — и уж само собою разумелось, что он будет украшением «филиального чествования».

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. Он, обыкновенно ко всему и ко всем относившийся с добродушной терпимостью, для всех находивший извиняющие объяснения, вдруг сделался строг ко всему и ко всем, просто огрызался, так что лучше было к нему не приставать.

К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой, по-видимому, речи:

— Глубокоуважаемый и досточтимый писатель… Мы собрались здесь тесной семьей… — Потом, после молчания, опять: — Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубокочтимый…

— Что это ты? — спросил я.

— А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича.

— Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что-нибудь.

— Так я же завтра уезжаю.

— Куда?

— В Мелихово.

Я возмутился:

— Как же так? Григорович, его письмо… Такие отношения… Наконец, разочарование Лаврова и всех прочих…

И тут он начал приводить свои доводы:

— Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь. И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров — и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но

самое главное, что и я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд. Ведь ты же на себе испытал, что значит не плакать от умиления. <…>

И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню, давши мне на прощанье такого рода ответственное поручение:

— А ты там как-нибудь уж… уладь. Главное, успокой Лаврова.

Но уладить было трудно. В. М. Лавров чуть не заболел, когда узнал о бегстве А. П. Самый главный кирпич из его великолепной постройки выпал, и самая постройка грозила развалиться.

Но разумеется, все обошлось. Григорович приехал, обед состоялся.

Я на нем оскандалился на всю жизнь: вняв увещаниям В. А. Гольцева, покусился на речь о Чехове, то есть о том, как он страстно желал быть на обеде, чтобы самому лично и т. д., но болезнь заставила его уехать в деревню. И Господь наказал меня за ложь.

С первых же слов я, никогда еще в жизни не выступавший с публичными речами, сбился. Я только и успел упомянуть об Антоне Павловиче

Чехове, который…

А милый старик, видя, должно быть, мое затруднение, сейчас же и выручил меня и сам заговорил о Чехове, о том, как он открыл его талант, о его письмах, словом — все то, что мы теперь так хорошо знаем.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

…и те, которые давали обед приезжавшему Григоровичу, говорят теперь: как много мы лгали на этом обеде и как много он лгал!

Чехов — А. С. Суворину. 25 января 1894 г. Мелихово

Долго и много вспоминал про Вас и как душевно отзывался он о «невольном изгнаннике», обреченном жить вдали от друзей… в прескучной Ялте. <Рассказ о последней встрече с Григоровичем, умершим 20 декабря.>

С. Н. Худеков — Чехову, 27 декабря 1899 г.

<Чехов:> Бывали и отрадные случаи. Помню, получаю письмо Григоровича. Я тогда писал в «Петербургской газете». Письмо было с самыми лучшими пожеланиями, самое сердечное… Становилось на время легче…

В. С. Миролюбов. Записные книжки. 1 (14) июля

У большого успеха много соавторов. Оказывается, Чехова родили Лейкин (см. выше) и Суворин (см. ниже), открыли Григорович, Лесков, даже Буренин (в других, непубликуемых, версиях воспоминаний).

Важно, что в данном случае было что открывать: сколько раз надежды не оправдывались и «литературные отцы» стремились забыть о своих неудавшихся потомках.

Еще важнее иное: поиск победителя-ученика, не стилистического эпигона, а писателя, пришедшего с «новым словом», которого побежденный учитель обязан благословить, стал после Державина и Жуковского важной культурной миссией, частью призвания.

«Неавторитетное» письмо Григоровича так поразило Антошу Чехонте (его ответ уникален в чеховском эпистолярии по открытости и страстности) как раз потому, что Григорович был не старым неудачником и не приятелем-литерато-

ром, а одной из символических фигур пришедшего после Гоголя литературного поколения, определявшего вкусы почти полстолетия. Через полтора месяца в юмористической «Литературной табели о рангах» (май 1886) Григоровичу наряду с Салтыковым-Щедриным будет присвоен генеральский чин действительного статского советника: выше оказались лишь тайные советники Толстой и Гончаров.

Григорович имел право воскликнуть: «Новый Гоголь явился!» Но окончательно зафиксировал процесс «передачи лиры» Лев Толстой, увидевший в Чехове своего победителя-ученика, наследника, литературного сына (и даже чеховскую драматургию критиковавший как-то забавно-ворчливо, по-семейному, по-родственному).

Забегая вперед, можно отметить, что Чехов достойно выполнил и эту задачу. Поискав «новых Чеховых» в своем кругу (А. С. Лазарев-Грузинский, Н. М. Ежов), он в конце жизни поддержал и ободрил Бунина и Горького, точно угадав перспективу, вектор литературного развития.

Горький подменил задачу, превратив поиск наследника в литературную учебу, воспитание «литературного молодняка». Бунин отменил ее, занимаясь в конце жизни не угадыванием будущего, а переписыванием прошлого (результатом чего и была замечательная неоконченная книга «О Чехове»).

Когда и куда это исчезло потом?

Петербург

Теперь, вглядываясь вдумчивее в обстоятельства московской жизни Чехова, вижу ясно, что, именно живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве: приходилось исключительно думать о хлебе насущном и писать, писать, писать… Самое главное место занимал в этот «оседлый» московский период в его обиходе — письменный стол, тогда как в Петербурге, куда он наезжал изредка и где временно отдыхал от всяких работ и забот, заглавную роль играл пиршественный стол — понимая, разумеется, это слово в широком символическом смысле. Оттого, в большинстве своих писем, он всегда с такой теплотой вспоминает свои петербургские дни, своих петербургских друзей и разные петербургские мелочи.

Но вопрос о том, какой из городов он больше любил — Петербург или Москву, — по отношению к Чехову до некоторой степени праздный вопрос. Чехов больших городов «вообще» не любил и мог бы ответить на такой вопрос стихом Бодлера:

Я люблю… облака — там, в небесах, эти чудные облака!

Больше всего Чехов любил природу и лучше всего себя чувствовал на лоне природы. Наиболее жизнерадостные, наиболее тонкие и поэтические из его писем вылились из-под его пера именно с этого вечно юного лона! Все же Петербургу первое время принадлежали его лучшие симпатии и держались крепко добрый десяток лет, вплоть до злополучного первого представления на александрийской сцене его «Чайки». Этот роковой день непредвиденно рассорил Чехова с Петербургом, и с той поры он делается его редким гостем или появляется на самое короткое время и с сохранением строжайшего инкогнито.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове

Словом, если Москва дала ему медицинские познания и сделала его врачом, то восприемником его литературной карьеры был Петербург.

И сколько мне помнится, в Петербург он всегда ездил с удовольствием. В Москве у него шла постоянная, напряженная работа. Даже в Мелихове, которое он любил, как птица любит ею самой свитое гнездо, он не был избавлен от всегдашней заботы о средствах к жизни. В Петербург же он приезжал как будто на гастроли.

Здесь были люди, у которых он мог считать

себя как дома. С семейством А. С. Суворина он был в прекрасных отношениях, и там для него был всегда готов «и стол, и дом».

Правда, он не особенно любил там останавливаться, но это происходило не от недостатка любезности со стороны хозяев или недоверия с его стороны, а просто от желания не стеснять ни других, ни себя. Быть кому-нибудь обязанным без уверенности в том, что он сможет отплатить, было для него настоящим пугалом. И если он иногда останавливался в гостинице, то это вызывалось не необходимостью, а его капризом.

В самом же Петербурге он был, что называется, нарасхват. Всюду его звали, всем хотелось видеть его своим гостем. Литературных приятелей у него было множество, со всеми надо было посидеть, поболтать, распить бутылку вина.

А кроме того, наполняли время и литературные дела, так как круг его литературных отношений расширился.

И петербургский образ жизни был совсем иной, более подходящий к его вкусам, чем московский, и менее для него вредный. Петербуржцы — домоседы по преимуществу. Московская трактирность им не по нутру. И потому тут жизнь проходит спокойнее и здоровее.

Он всегда говорил, что в Петербурге у него голова как-то яснее, чем в Москве. Это понятно. Когда люди спрашивают друг у друга: где мы встретимся вечером? — в Петербурге это значит: я к вам приеду или вы ко мне? Когда такой же вопрос задают в Москве, это значит: в «Эрмитаже», в «Метрополе», в «Праге» или у «Яра»?

И в этом отношении Петербург был благоприятен для его здоровья. Здесь он и спать ложился раньше, и нервы его были спокойнее.

И конечно, он давно оставил бы Москву и стал бы жить в Петербурге, если бы не убийственный для его легких климат нашей северной столицы. Эта вечная сырость, постоянные неожиданные смены тепла холодом и холода теплом, ветры — все это для него было переносимо только в самой небольшой дозе. И он, под личиной постоянного бронхита всегда подозревавший прятавшуюся за ним свою болезнь, стремился в этот город и боялся его.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

После Вашего отъезда, перед Рождеством, приехал в Москву один петербургский редактор и повез меня в Петербург. Ехал я на курьерском в I классе, что обошлось редактору не дешево. В

Питере меня так приняли, что потом месяца два кружилась голова от хвалебного чада. Квартира у меня была там великолепная, пара лошадей, отменный стол, даровые билеты во все театры. Я в жизнь свою никогда не жил так сладко, как в Питере. Расхвалив меня, угостив, как только было возможно, мне дали еще денег рублей 300 и отправили обратно в I классе. Оказалось, что в Петербурге меня знают гораздо больше, чем в Москве.

Чехов — М. Е. Чехову, 11 апреля 1886 г. Москва

В Питере я отдыхал, т. е. целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты, которых не терпит душа моя. Увы и ах! В Питере я становлюсь модным, как Нана. В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Голубев читает… Для меня это лестно, но мое литературное чувство оскорблено… Мне делается неловко за публику, которая ухаживает за литературными болонками только потому, что не умеет замечать слонов, и я глубоко верую, что меня ни одна собака знать не будет, когда я стану работать серьезно…

Чехов — М. В. Киселевой. 13 декабря 1886 г. Москва

На днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фимиамы. Жил я у Суворина, привык к его семье и весною еду к нему в Крым. На правах великого писателя я все время в Питере катался в ландо и пил шампанское. Вообще чувствовал себя прохвостом. <…>

Меня в Питере почему-то прозвали Потемкиным, хотя у меня нет никакой Екатерины. Очевидно, считают меня временщиком у муз.

Работается плохо. Хочется влюбиться, или жениться, или полететь на воздушном шаре.

Чехов — М. В. Киселевой. 25 марта 1888 г. Москва

Я утомлен, как балерина после пяти действий и восьми картин. Обеды, письма, на которые лень отвечать, разговоры и всякая чепуха. Сейчас надо ехать обедать на Васильевский остров, а мне скучно, и надо работать. Поживу еще три дня, посмотрю, если балет будет продолжаться, то уеду домой или к Ивану в Судорогу.

Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девя-

ти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий) не ходит к Суворинам обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Все это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень.

Чехов — М. П. Чеховой, 14 января 1891 г. Петербург

Работаю я теперь только в Москве, но душа моя тянется к Петербургу, где когда-то меня так баловали.

Чехов — А. С. Суворину. 6 января 1895 г. Москва

Да, моя «Чайка» имела в Петербурге, в первом представлении, громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я — по законам физики — вылетел из Петербурга, как бомба. Во всем этом виноваты ты и Сумбатов, так как это вы подбили меня написать пьесу.

Твою нарастающую антипатию к Петербургу я понимаю, но все же в нем много хорошего; хотя бы, например, Невский в солнечный день или Комиссаржевская, которую я считаю великолепной актрисой.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко, 20 ноября 1896 г. Мелихово

Благодарю сердечно за письмо и за книжку. И я тоже частенько вспоминаю о Вас, вспоминаю, как мы вместе служили в одной дивизии, как в ночь под Крещение мы вместе бродили по Петербургу и потом на другой день Вас. Ив. Немирович-Данченко рассказывал, будто Вы в Исаакиевском соборе, стоя на коленях, били себя по груди и восклицали: «Господи, прости меня, грешного!» Помните Вы эту ночь? Это было под 6-е января, сегодня годовщина, и я спешу поздравить Вас и выразить искреннее сожаление, что я не с Вами и что мы не можем опять побродить до утра, как тогда. Вы когда-то уверяли, что у Вас истерия. А теперь?

Здоровы ли? Как чувствуете себя? Мое здоровье порядочно, но в Москву и в Петербург меня не пускают; говорят, что бацилла не выносит столичного духа. Между тем мне ужасно хочется в столицу, ужасно! Я здесь соскучился, стал обывателем и, по-видимому, уже близок к тому, чтобы сойтись с рябой бабой, которая бы меня в будни била, а в праздники жалела. Нашему брату не следует жить в провинции. Я еще допускаю Павловск — это аристократический город (я по-

дозреваю, что Вы избрали его для жизни именно поэтому), город государственных мужей, Ялта же мало чем отличается от Ельца или Кременчуга; тут даже бациллы спят.

Чехов — В. А. Тихонову. 5 января 1899 г. Ялта

Ты пишешь, что я не люблю Петербурга. Кто тебе это сказал? Петербург я люблю, у меня к нему слабость. И столько воспоминаний связано у меня с этим городом!

Чехов — О. Л. Книппер. 11 марта 1901 г. Ялта

Суворин

Очень много писалось о равнодушии Чехова к общественным вопросам, о его «холодной крови». По натуре своей он не был борцом и сам это неоднократно повторял. Судя по его рассказам, когда он вступал в жизнь, он мало интересовался общественными вопросами, но уже на старших курсах его симпатии и общественные интересы, под влиянием в значительной степени, я думаю, земско-медицинской среды, получают совершенно определенный уклон. Его часто упрекали за дружбу с Сувориным. Но Чехов всю жизнь помнил, что Суворин, Григорович, Плещеев и Полонский первые обратили на него внимание, когда он еще был Антошей Чехонте, и первые помогли ему выбраться из «Осколков» и «Будильника», и он сохранил к Суворину благодарность навсегда. Он не раз, и всегда с большим волнением, рассказывал, как в начале его писательской карьеры встретила его серьезная критика, как Скабичевский писал, что ему «суждено умереть пьяным под забором». И однако, при всем этом он, который когда-то утверждал, что будет печататься там, «куда занесут ветер и его свобода», уже с

начала 90-х годов перестал печататься в «Новом времени», а после процессов Золя и Дрейфуса он, возмущенный отвратительным поведением «Нового времени», навсегда и резко порвал с редакцией и не мог хладнокровно говорить о ней. Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие, отношения до конца. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал очень часто не Сувориным «Нового времени». И о студенческих беспорядках, и даже о процессе Дрейфуса, и о многом другом он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержание или изредка читал отрывки из его писем, не верилось, что автором их был Суворин. Вообще обнародование писем Суворина к Чехову представило бы громадный общественный интерес; к сожалению, этого никогда не случится, потому что Суворин очень ловко сумел получить их обратно вскоре после смерти Антона Павловича и, конечно, уничтожил.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Дело совсем не в том, кто именно, ознакомившись с рассказами Антоши Чехонте, крикнул о нем в уши Суворину: «Талант!» Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин

даже и от того же Григоровича, и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости — шло бы, в полном смысле слова, своим путем.

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

Из «Пет<ербургской> газ<еты>» пошел в «Новое время», где был принят Сувориным. Он очень любезно меня принял и даже подал руку.

— Старайтесь, молодой ч<елове>к! — сказал он. — Я вами доволен, но только почаще в церковь ходите и не пейте водки. Дыхните!

Я дыхнул. Суворин, не услышав запаха, повернулся и крикнул: «Мальчики!» Явился мальчик, к<ото>рому было приказано подать чаю вприкуску и без блюдечка.

За сим уважаемый г. Суворин дал мне денег и сказал:

— Надо беречь деньги… Подтяните брюки!

Чехов — М. П. Чехову, 25 апреля 1886 г. Петербург

Пишу Вам, милый капитан, с берегов Черного моря. Живу в Феодосии у генерала Суворина. <…> Целый день проводим в разговорах. Ночь тоже. И мало-помалу я обращаюсь в разговорную машину. Решили мы уже все вопросы и наметили тьму новых, еще никем не приподнятых вопросов. Говорим, говорим, говорим и, по всей вероятности, кончим тем, что умрем от воспаления языка и голосовых связок. Быть с Сувориным и молчать так же нелегко, как сидеть у Палкина и не пить. Действительно, Суворин представляет из себя воплощенную чуткость. Это большой человек. В искусстве он изображает из себя то же самое, что сеттер в охоте на бекасов, т. е. работает чертовским чутьем и всегда горит страстью. Он плохой теоретик, наук не проходил, многого не знает, во всем он самоучка — отсюда его чисто собачья неиспорченность и цельность, отсюда и самостоятельность взгляда. Будучи беден теориями, он поневоле должен был развить в себе то, чем богато наделила его природа, поневоле он развил свой инстинкт до размеров большого ума. Говорить с ним приятно. А когда поймешь его разговорный прием, его искренность, которой нет у большинства разговорщиков, то болтовня с ним становится почти наслаждением. Ваше

Суворин-шмерц я отлично понимаю.

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 18 июля 1888 г. Феодосия

Вспоминается мне, между прочим, одно полночное пиршество в «Большой Московской» гостинице в обществе А. П. Чехова и А. С. Суворина. Как ни был последний в то время удручен своей недавней семейной потерей, Чехов сумел-таки его расшевелить и зажечь. Надо и то сказать — тема, тронутая Чеховым (о рутине и тенденциозности, заедающих современную русскую литературу и искусство), пришлась особенно по душе Суворину, и он распахнулся, что называется, вовсю, решительно увлекая своей художественной чуткостью, заразительной искренностью и чисто юношеской запальчивостью… Тема оказалась, однако, чересчур обширной, и было неудивительно, что, когда мы покинули «Большую Московскую» гостиницу, на улице светало и в московских церквах звонили к ранней обедне. А между тем Суворин все еще продолжал «гореть», и махать руками, и что-то доказывать… до самого подъезда «Славянского базара», куда мы его довели. Со стороны нашу компанию смело можно было принять за московских студентов, слушающих профессора-шестидесятника, и меньше

всего, конечно, подумать… об издателе «Нового времени» и его сотрудниках…

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове

В редакции у нас идет страшная сволочность и скандал следует за скандалом. <…> Я не знаю содержания твоего письма старику Суворину, но знаю его последствия. Михаил Алексеевич <Суворин, старший сын, ровесник Чехова> и дофин <прозвище Алексея Алексеевича Суворина, второго сына, считавшегося главным наследником дела отца> оба вместе упрекают тебя в самой черной неблагодарности. Ты-де всем от первой нитки до последней, от денег и до славы обязан старику. Без него ты был бы нулем. Ты же в знак благодарности суешь свой нос в семейные дела и восстановляешь его против детей. Об этом у нас говорят в редакции громко, даже в моем присутствии.

Ал. П. Чехов — Чехову, 31 марта 1893 г. Петербург

Я собирался писать Суворину, но не написал ни одной строки, и потому письмо мое, которое так возмутило дофина и его брата, есть чистейшая выдумка. Но раз идут разговоры, значит так

тому и быть: старое здание затрещало и должно рухнуть. Старика мне жалко, он написал мне покаянное письмо; с ним, вероятно, не придется рвать окончательно; что же касается редакции и дофинов, то какие бы то ни было отношения с ними мне совсем не улыбаются. Я оравнодушел в последние годы и чувствую свою animam <душу> настолько свободной от забот суетного света, что мне решительно все равно, что говорят и думают в редакции. К тому же по убеждениям своим я стою на 7375 верст от Жителя и Ко. Как публицисты они мне просто гадки, и это я заявлял тебе уже неоднократно.

Чехов — Ал. П. Чехову. 4 апреля 1893 г. Мелихово

Вы смеетесь над моею основательностью, сухостью, ученостью и над потомками, которые оценят мой труд <«Остров Сахалин»>, я же добром плачу за зло: с восхищением читаю Ваше последнее письмо о расколе и воздаю Вам великую хвалу. Великолепное письмо, и успех его вполне понятен. Во-первых, оно страстно, во-вторых, либерально и, в-третьих, очень умно. Либеральное Вам всегда чрезвычайно удается, а когда пытаетесь проводить какие-нибудь консервативные мысли или даже употребляете консервативные выражения (вроде «к подножию трона»), то напо-

минаете тысячепудовый колокол, в котором есть трещинка, производящая фальшивый звук.

Чехов — А. С. Суворину. 2 января 1894 г. Мелихово

А. С. <Суворин>: «Чехов — кремень-человек и жестокий талант по своей суровой объективности. Избалован, самолюбие огромное».

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник. 22 августа 1896 г.

<Чехов:> «Я очень люблю Суворина, очень, но знаете ли, Жан, бесхарактерные люди подчас в серьезные минуты жизни бывают вреднее злодеев».

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Материалы <о Чехове>

В деле Зола «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем <А. С. Сувориным> обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном), — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что любит военных, — не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Зола задаром, а в газете выливать на этого же Зола помои — и за что?

за то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы то ни было, ругать Зола, когда он под судом, — это не литературно.

Чехов — Ал. П. Чехову, 23 февраля (7 марта) 1898 г. Ницца

Как-никак, а в общем «Новое время» производит отвратительное впечатление. Телеграмм из Парижа нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество. <…> Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов, это черт знает что.

Чехов — Ал. П. Чехову. 5 февраля 1899 г. Ялта

Когда мы с Горьким стали нападать на «Новое время», специально на Суворина и Меньшикова, косвенно упрекая Чехова, что он с ними не порывает связи, Чехов заметил, что не видит особенной разницы между направлением «Нового времени» и так называемых либеральных газет.

— Ну а антисемитизм? А позиция «Нового времени» в «деле Дрейфуса»?

Чехов согласился, что Суворин по отношению к делу Дрейфуса держал себя подло.

— Помню, — рассказывал при этом Чехов, — мы

сидели в Париже в каком-то кафе на бульварах: Суворин, парижский корреспондент «Нового времени» Павловский и я. Это было время разгара борьбы вокруг «дела Дрейфуса». Павловский, как и я, был убежден в невиновности Дрейфуса. Мы доказывали Суворину, что упорствовать в обвинении заведомо невиновного только потому, что он еврей, как это делает «Новое время», по меньшей степени непристойно. Суворин защищался слабо, и наконец, не выдержав наших нападок, встал и пошел от нас. Я посмотрел ему вслед и подумал: «Какая у него виноватая спина!»

Вероятно, в тот момент у Чехова тотчас сложился рассказ «Виноватая спина».

В. А. Поссе. <Воспоминания о Чехове>

Я с Чеховым чувствую себя превосходно. Я на 26 лет старше его. Познакомились мы с ним в 1886 г. «Я тогда был моложе», — сказал я. «А все-таки на 26 лет и тогда были старше».

А. С. Суворин. Дневник, 15 мая 1900 г.

Милый Мишель, я вернулся из-за границы и теперь могу ответить на твое письмо. Что ты будешь жить в Петербурге, это, конечно, очень хорошо и спасительно, но насчет службы у Суворина ничего определенного сказать не могу,

хотя думал очень долго. Конечно, на твоем месте я предпочел бы службу в типографии, газетой же пренебрег бы. «Новое время» в настоящее время пользуется очень дурной репутацией, работают там исключительно сытые и довольные люди (если не считать Александра <Чехова>, который ничего не видит), Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты, т. е. он говорит искренно, быть может, но нельзя поручиться, что через полчаса же он не поступит как раз наоборот. Как бы ни было, дело это нелегкое, помоги тебе Бог, а советы мои едва ли могут оказать тебе какую-либо помощь.

Чехов — М. П. Чехову. 22 февраля 1901 г. Ялта

Совершенно исключительная была какая-то нежная любовь Суворина к Чехову. К другим он питал интерес; считал их полезными России и т. д. Из всех этих сложных отношений выделялась его любовь к Чехову как личности — и только; больше — к личности, чем к литератору, хотя он очень любил его и как литератора. Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро ходил), все браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон… Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп

ребенка, или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал… хотел, хотел… гроб!!

Удивительно. Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему: «Пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах, покое и жене», то Суворин бы сказал ему: «Располагайтесь во всем у меня». Буквально. Да я что-то такое и видел в кусочках, подсмотрел.

Чехова, в литературном мире давнем и новом, он больше всех любил.

В. В. Розанов. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине

А. С. <Суворин> о Чехове: «Певец среднего сословия! Никогда большим писателем не был и не будет…» Видимо, А. С. начинает остывать.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник. 22 июля 1904 г.

Путешествие

Что касается меня, то я тоже кашляю, но жив и, кажется, здоров. Этим летом у Вас не буду, так как в апреле по своим надобностям уезжаю на остров Сахалин, откуда вернусь в декабре. Туда еду через Сибирь (11 тысяч верст), а оттуда морем. Миша, кажется, писал Вам, что меня будто кто-то командирует туда, но это вздор. Я сам себя командирую, на собственный счет. На Сахалине много медведей и беглых, так что в случае, если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать лихом.

Чехов — Н. М. Линтваревой. 5 марта 1890 г. Москва

9 марта. Сорок мучеников и 10 000 жаворонков.

Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но Вы, вероятно, больше, чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку: но не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтских, ни даже кеннановских. Я хочу написать хоть 100–200 страниц

и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узна́ю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25–30 дней, не больше, все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать Вас письмами. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку не случится таких 2–3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью? И т. д. и т. д. Так-то, государь мой.

Все это неубедительно, но ведь и Вы пишете столь же неубедительно. Например, Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин — это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю,

видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации.

В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего; тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками.

Чехов — А. С. Суворину. 9 марта 1890 г. Москва

Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или, самое большое, в четверг. До свиданья до декабря. Счастливо оставаться. Деньги я получил, большое Вам спасибо, хотя полторы тысячи много, не во что их положить, а на покупки в

Японии у меня хватило бы денег, ибо я собрал достаточно.

У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли, которая у меня непременно будет в дороге. Так как, если говорить о документах, я вооружен одним только паспортом и ничем другим, то возможны неприятные столкновения с предержащими властями, но это беда проходящая. Если мне чего-нибудь не покажут, то я просто напишу в своей книге, что мне не показали — и баста, а волноваться не буду. В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре; она заплатит мои долги.

Чехов — А. С. Суворину. 15 апреля 1890 г. Москва

Прощайте, голубчик. Уезжаю сегодня. Ярославский вокзал, 8 ч. веч. Чеховы, Кувшин<никовы> и Левитан провожают меня до Троицы. Приглашают Вас. Желаю всего хорошего.

Ваш Чехов.

Чехов — А. П. Ленскому. 21 апреля 1890 г. Москва

— Отчего у вас в Сибири так холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег…

Чехов. «Из Сибири», 1890

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей. <…>

Теперь извольте вам приключение, которым я обязан сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо все обошлось благополучно. В ночь под 6-е мая на рассвете вез меня один очень милый старик на паре. Тарантасик. Я дремал и от нечего делать поглядывал, как в поле и в березняке искрились змееобразные огни: это горела прошлогодняя трава, которую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громадную, тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обратный ямщик. За этой тройкой несется вторая тройка тоже во весь дух. Мы спешим свернуть

вправо… К великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает не вправо, а влево… Едва я успел подумать: «Боже мой, сталкиваемся!», как раздался отчаянный треск, лошади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на меня мои чемоданы. Но это не всё… Летит третья тройка… По-настоящему, эта должна была искрошить меня и мои чемоданы, но, слава богу, я не спал, ничего не сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, что мог отбежать в сторону. «Стой! — заорал я третьей тройке. — Стой!» Тройка налетела на вторую и остановилась… Конечно, если бы я умел спать в тарантасе или если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то я вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится

дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут… После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавливались… <…>

Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно натерпевшийся человек, не смевший сидеть в моем присутствии, стал собираться ехать к Томи. И я тоже. Поехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свидетелем одного странного явления: гремел гром — это при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял тебя с собой! Как я умно сделал, что никого не взял! Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов тальника… Как бывает перед грозой или во время грозы,

вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший валы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника; на это ему ответили, что если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь до ночи и все равно утонешь. Стали решать большинством голосов и решили плыть дальше. Нехорошее, насмешливое мое счастье! Ну, к чему эти шутки? Плыли мы молча, сосредоточенно… Помню фигуру почтальона, видавшего виды… Помню солдатика, который вдруг стал багров, как вишневый сок… Я думал: если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто… потом валенки… потом и т. д… Но вот берег все ближе, ближе… На душе все легче, легче, сердце сжимается от радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег… Слава богу!

Чехов — Чеховым. 14–17 мая 1890 г. Красный Яр — Томск

Ну-с, о чем же интересном написать Вам? Начну с того, что дорога необыкновенно длинна. От Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом и с разливами рек; холода были ужасные, на Вознесенье стоял мороз и шел снег,

так что полушубок и валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. Что же касается разливов, то это казнь египетская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, а с ними и дороги; то и дело приходилось менять экипаж на лодку, лодки же не давались даром — каждая обходилась пуда крови, так как нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и холодным ветром и ждать, ждать… От Томска до Красноярска отчаянная война с невылазною грязью. Боже мой, даже вспоминать жутко! Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; случалось, что от станции до станции ехал я 6–10 часов, а на починку повозки требовалось 10–15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку… Но тем не менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие… Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека.

Енисей, тайга, станции, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха, — все, вместе взятое, так хорошо, что и описать не могу. Уж одно то, что я больше месяца день и ночь был на чистом воздухе — любопытно и здорово; целый месяц ежедневно я видел восход солнца от начала до конца.

Чехов — Н. А. Лейкину. 5 июня 1890 г. Иркутск

Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби — вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея.

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает,

куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо…

Чехов. «Из Сибири», глава IX

Амур очень хорошая река; я получил от него больше, чем мог ожидать, и давно уже хотел поделиться с Вами своими восторгами, но канальский пароход дрожал все семь дней и мешал писать. К тому же еще описывать такие красоты, как амурские берега, я совсем не умею; пасую перед ними и признаю себя нищим. Ну как их опишешь? Представьте себе Сурамский перевал, который заставили быть берегом реки, — вот Вам и Амур. Скалы, утесы, леса, тысячи уток, цапель и всяких носатых каналий, и сплошная пустыня. Налево русский берег, направо китайский. Хочу — на Россию гляжу, хочу — на Китай. Китай так же пустынен и дик, как и Россия: села и сторожевые избушки попадаются редко. В голове у меня все перепуталось и обратилось в порошок; и немудрено, Ваше превосходительство! Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были Байкал, Забайкалье… Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, непохожая на нашу. Только и разговора, что о золоте. Золото, золото и больше ничего. У меня глупое настроение, писать не

хочется, и пишу я коротко, по-свински; сегодня послал Вам четыре листка об Енисее и тайге, потом пришлю о Байкале, Забайкалье и Амуре. Вы не бросайте эти листки, я соберу их и по ним, как по нотам, буду рассказывать то, что не умею передать на бумаге. Теперь я пересел на пароход «Муравьев», который, говорят, не дрожит; авось, буду писать.

Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России.

Чехов — А. С. Суворину, 27 июня 1890 г. Благовещенск

Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» Это уже Великий, или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как на постройке стучат топорами каторжане, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане сахалинские мысы, направо тоже мысы… а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и,

наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу, овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев.

Чехов. «Остров Сахалин», глава XIII

Прожил я на Сев<ерном> Сахалине ровно два месяца. Принят я был местной администрацией чрезвычайно любезно, хотя Галкин не писал обо мне ни слова. Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали; пришлось действовать на собственный страх.

Сахалинский генерал Кононович — интеллигентный и порядочный человек. Мы скоро спелись, и все обошлось благополучно. Я привезу с собою кое-какие бумаги, из которых Вы увидите, что условия, в которые я был поставлен с самого начала, были благоприятнейшими. Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел.

Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что

мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел все, но слона-то и не приметил.

Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд.

Чехов — А. С. Суворину, 11 сентября 1890 г. Татарский пролив, пароход «Байкал»

Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом. Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки и от мысли, что из Владивостока на Сахалин идет холера и что я таким образом рискую прозимовать на каторге. Но, слава небесам, холера прекратилась, и 13 октября пароход увез меня из Сахалина. <…>

Когда вышли из Гонг-Конга, нас начало качать. Пароход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так что мы боялись, что он опрокинется. Морской болезни я не подвержен — это открытие меня приятно поразило. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Заболел у нас рогатый скот. По приговору доктора Щербака и Вашего покорнейшего слуги скот убили и бросили в море.

Сингапур я плохо помню, так как, когда я объезжал его, мне почему-то было грустно; я чуть не плакал. Затем следует Цейлон — место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге и по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской… и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь». От Цейлона безостановочно плыли 13 суток и обалдели от скуки. Жару выношу я хорошо. Красное море

уныло; глядя на Синай, я умилялся.

Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга-муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится.

Чехов — А. С. Суворину, 9 декабря 1890 г. Москва

Привез я с собой около 10 тысяч статистических карточек и много всяких бумаг. Я хотел бы быть женат теперь на какой-нибудь толковой девице, чтобы она помогала мне разбираться в этом хламе, на сестру же взваливать сию работу совестно, ибо у нее и так работы много.

У меня растет брюшко и начинается импотенция.

После тропиков простудился: кашель, жар по вечерам и голова болит.

Григорович никогда не был дворником на Песках, потому так дешево и ценит царство небесное. Врет он.

Мне кажется, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать.

Если в царстве небесном солнце заходит так же хорошо, как в Бенгальском заливе, то, смею Вас уверить, царство небесное очень хорошая штука. <…>

Как Вы были не правы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! У меня и брюшко теперь, и импотенция милая, и мириады мошек в голове, и чертова пропасть планов, и всякие штуки, а какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел — черт меня знает.

Чехов — А. С. Суворину, 17 декабря 1890 г. Москва

Зима. Участок мой уже закрыт, но больные все-таки ходят. Вчера отвез в «Русскую мысль» две повести. Буду работать всю зиму не вставая, чтобы весной уехать в Чикаго. Оттуда через Америку и В<еликий> океан в Японию и Индию. После того, что я видел и чувствовал на востоке,

меня не тянет в Европу, но, будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж.

Чехов — А. С. Суворину. 18 октября 1892 г. Мелихово

Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку.

Чехов — А. С. Суворину. 22 июня 1894 г. Мелихово

Суворин пишет, что приедет в Ниццу в конце января или февраля, когда я вернусь из Алжира. О времени своего отъезда в Алжир сообщу своевременно. Поеду в Марсейль, потом морем в Африку, увижу там наших скворцов, которые, быть может, и узнают меня, но не скажут.

Чехов — М. П. Чеховой. 25 декабря 1897 г. (6 января 1898 г.) Ницца

Так не хотите в Индию? Напрасно. Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить.

Чехов — М. Горькому, 15 февраля 1900 г. Ялта

Милый Алексей Максимович, Ваше приглашение в Китай удивило меня. А пьеса? Как же пьеса? Вы кончили, стало быть? Как бы ни было, в Китай ехать уже поздно, так как, по-видимому, война

приходит к концу. Да и поехать туда я могу только врачом. Военным врачом. Если война затянется, то поеду, а пока вот сижу и пишу помаленьку.

Чехов — М. Горькому. 12 июля 1900 г. Ялта

Ну, дуся моя хорошая, сегодня, по всей вероятности, я уезжаю в Алжир. <…> Здесь в последние дни стало холодно, холодно как в Ялте, и я рад, что уезжаю. Если, мамуся моя, вечером начнется на море волнение, тогда, повинуясь спутникам своим, поеду не в Алжир, а в Италию, в Неаполь — и об этом напишу тебе не позже, как сегодня вечером. В Марсель буду ехать всю ночь… бррр! Но, однако, у меня воспрянул дух мой, люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней — поездка на Шпицберген летом или в Соловки.

Чехов — О. Л. Книппер. 26 января (8 февраля) 1901 г. Ницца

Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная, теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем, впечатление, одним словом, осталось роскошное — быть может, оттого, что я возвращался на родину. Когда кончится война (а она скоро кончится), Вы начнете разъезжать по окрестностям; побываете в Хабаровске, на Амуре, на Сахалине,

по побережью, увидите тьму нового, неизведанного, что потом будете помнить до конца дней, натерпитесь и насладитесь и не заметите, как промелькнут эти страшные три года. Во Владивостоке, в мирное время по крайней мере, живется не скучно, по-европейски, и мне кажется, жена Ваша не сделает ошибки, если приедет к вам после войны. Если Вы охотник, то сколько разговоров про охоту на тигров! А какая вкусная рыба! Устрицы по всему побережью крупные, вкусные.

В июле или в августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток. Быть может, побываю и во Владивостоке.

Чехов — Б. А. Лазаревскому. 13 апреля 1904 г. Ялта

Загадочная поездка на Сахалин, возможно, была не общественным предприятием и даже литературным «проектом», а личным испытанием.

Если цели нет, ее можно придумать.

А потом были главным образом воображаемые путешествия: Индия, Африка, Америка, Китай… Но в ялтинском одиночестве он чаще вспоминал не сахалинских каторжников и бронзовых женщин

Цейлона, а Москву, журнальную молодость – или думал о том, чего никому не хотел рассказывать.

Европа

Ах, друзья мои тунгусы, если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все 6- и 7-этажные, а магазины — это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстухов в окнах миллиарды! Какие изумительные вещи из бронзы, фарфора, кожи! Церкви громадные, но они не давят своею громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши собор св. Стефана и Votiv-Kirche. Это не постройки, а печенья к чаю. Великолепны парламент, дума, университет… все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство. И здесь это искусство попадается не кусочками, как у нас, а тянется полосами в несколько верст. Много памятников. В каждом переулке непременно книжный магазин. На окнах книжных магазинов попадаются и русские книги, но увы! это сочинения не Альбова, не Баранцевича и не Чехова, а всяких анонимов, пишущих и печатающих за границей.

Чехов — Чеховым. 20 марта (1 апреля) 1891 г. Вена

Я теперь в Венеции, куда приехал третьего дня из Вены. Одно могу сказать: замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная, и нет того местечка, которое не возбуждало бы исторического или художественного интереса. Плывешь в гондоле и видишь дворцы дожей, дом, где жила Дездемона, дома знаменитых художников, храмы… А в храмах скульптура и живопись, какие нам и во сне не снились. Одним словом, очарование.

Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и плаваю по улицам или же брожу по знаменитой площади святого Марка. Площадь гладка и чиста, как паркет. Здесь собор святого Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь.

А вечер! Боже ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле… Тепло, тихо, звезды… Лошадей в Венеции нет,

и потому тишина здесь, как в поле. Вокруг снуют гондолы… Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипки, гитара, мандолина и корнет-а-пистон, две-три барыни, несколько мужчин — и ты слышишь пение и музыку. Поют из опер. Какие голоса! Проехал немного, а там опять лодка с певцами, а там опять, и до самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких за душу берущих звуков.

Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество.

Великолепны усыпальницы Кановы и Тициана. Здесь великих художников хоронят, как королей, в церквах; здесь не презирают искусства, как у нас: церкви дают приют статуям и картинам, как бы голы они ни были.

Чехов — И. П. Чехову, 24 марта (5 апреля) 1891 г. Венеция

Одним словом, дурак тот, кто не едет в Венецию. Жизнь здесь дешева. Квартира и стол в неделю стоят 18 франков, т. е. 6 рублей с человека, а в

месяц 25 р., гондольер за час берет 1 франк, т. е. 30 коп. В музеи, академию и проч. пускают даром. В десять раз дешевле Крыма, а ведь Крым перед Венецией — это каракатица и кит.

Чехов — Чеховым, 25 марта (6 апреля) 1891 г. Венеция

Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто заграница мне не понравилась? Господи ты боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом. Мне даже Болонья понравилась. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами? Идей я не вывез, что ли? Но и идеи, кажется, вывез. Ваша статья об ипподроме больше моя, чем Ваша, ибо я Вам уши прожужжал про эту новую форму театра.

Чехов — А. С. Суворину, 27 мая 1891 г. Богимово

У нас уродился очень вкусный картофель и дивная капуста. Как Вы обходитесь без щей? Не завидую ни Вашему морю, ни свободе, ни хорошему настроению, какое испытывается за границею. Русское лето лучше всего. А сказать

кстати, за границу мне не особенно хочется. После Сингапура, Цейлона и, пожалуй, нашего Амура Италия и даже кратер Везувия не кажутся обольстительными. Побывав в Индии и Китае, я не видел большой разницы между заграницей и Россией.

Чехов — А. С. Суворину, 16 августа 1892 г. Мелихово

Как-то после поездки в Аббацию он сказал мне: «Зелень там глянцевитая — точно металлическая. То ли дело наши березы и липы!» Заграничные путешествия не отозвались ни на его творчестве, ни на нем самом. Я часто думала, отчего это? И мне кажется, объяснение нашла. Чехов был писатель, которого страстно интересовала жизнь, интересовал человек. Чтобы писать, он должен был наблюдать жизнь и человека. За границей же это не могло быть ему доступно — по той простой причине, что Чехов не владел ни одним европейским языком, — и таким образом его жизнь за границей превращалась для него во что-то вроде кинофильма: он, так сказать, чувствовал себя глухонемым: один пейзаж, да и тот «бутафорский», казавшийся ему слишком нарочито красивым, не удовлетворял его.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя Вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Св. Марка и сказал: «Хорошо бы теперь у нас в Моск<овской> губернии на травке полежать!» Ломбардия меня поразила, так что, мне кажется, я помню каждое дерево, а Венецию я вижу, закрывши глаза.

Чехов — А. С. Суворину, 23 марта 1895 г. Мелихово

Мелихово

Ужасно я люблю все то, что в России назыв<ается> имением. Это слово еще не потеряло своего поэтического оттенка.

Чехов — Н. А. Лейкину. 12 или 13 октября 1885 г. Москва

Ах, подруженьки, как скучно! Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита — это не жизнь, а какой-то гондон и больше ничего.

Чехов — А. С. Суворину, 20 октября 1891 г. Москва

Г.<осподи,> Б.<лагослови> Имение куплено в с. Мелихово 1892 года.

1-го марта переехали из Москвы со всем имуществом Павел Чехов, Маша и горничная Пелагея к обеду.

Сорохтин с семейством в этот день выехал.

4. Антоша совсем переехал в свое имение.

В продолжение сего месяца дневник не велся по случаю уборки и очистки комнат.

П. Е. Чехов. Дневник. Март 1892 г.

15. Антоша поехал в Москву.

16. Лед растаял в пруде.

17. Начали пахать 2 работника. Сад расчистили.

18. Корову выгнали в стадо. Тепло 15 гр.

19. Соху купили. Тепло 18 гр. Антоша и Ваня приехали.

20. Соху новую привезли. Тепла 17 гр. среди дня.

21. Приехала Е. И. Коновицер.

22. Суворин А. С. приехал. Коновицер уехала.

23. Деревья распустились. Овес получили от Смагина.

24. Суворин и Антоша уехали в Москву. Картошку купили на посев мелкую.

25. Сегодня 16 лет как я приехал в Москву жить. Киселев А. С. приехал к нам с Сашей и Сережей.

26. Киселев и Миша уехали. Сильный дождь.

27. Помолившись Богу, овес посеяли. Свободин, Антоша приехали.

28. А. А. Суворин II приехал. Миша пришел пешком.

29. Крестный ход. Преполовение. Воду святили.

30. Прохладно. В ожидании мороза.

П. Е. Чехов. Дневник. Апрель 1892 г.

15. Баран прыгает. Марьюшка радуется.

17. Уехал в Москву П. Г. Чехов. Днем +2. Привезли овес.

18. –1. Идет снег. Слава богу, все уехали и остались только двое: я и m-me Чехова.

19. –5. Приехали Маша и Мизинова. Ясный день. Привезли чечевицу и гречку.

20. –5. Ясный день. Парники готовы. Мамаше снилась коза на горшке.

21. +5. Приехал Семашко. Ели жареное вымя.

22. +6. Слыхали жаворонка. Вечером прилетел журавль. Уехал Семашко.

23. +3. Мамаше снился гусь в камилавке. Это к добру. Больна животом Машка. Зарезали свинью.

24. Делали колбасы.

25. –2. Яркое утро.

<Записи А. П. Чехова в дневнике П. Е. Чехова>. Март 1893 г.

В первый раз я попала в Мелихово приблизительно через год после того, как эта маленькая, заброшенная усадебка была куплена. Чехов ку-

пил ее за глаза, даже не осматривая. В то время она состояла из запущенного сада, земли с множеством пустырей и неуютного дома. Через год после покупки усадьбы нельзя было узнать. Вся семья взялась дружно за работу: кто занялся садом, кто огородом, кто посевами, при помощи двух работников не покладая рук чистили, сажали, сеяли… У всех Чеховых есть одно свойство: их, как говорится, «слушаются» растения и цветы: «хоть палку воткни, вырастет», — говорил А. П. Он сам был страстный садовод и говорил, так же как Чайковский, что мечта его жизни, «когда он не сможет больше писать», — заниматься садом. Дом был весь приведен в порядок, заново окрашен, оклеен, кое-где перестроен, выведена отдельная кухня. Мелихово стало настоящей «чеховской усадьбой»: не романтический тургеневский уголок с беседкой «Миловидой» и «Эоловой арфой», не щедринская деревня с страшными воспоминаниями — но и не «дача», хотя все и было новое. Новый низкий дом без всякого стиля, но с собственным уютом. Лучшая комната отведена была А. П. под кабинет. Большая, с огромными венецианскими окнами, с тамбуром, чтобы не дуло, с камином и большим турецким диваном. Зимой окна до половины за-

носило снегом. Иногда зайцы заглядывали в них из сугробов, становясь на задние лапки, причем Чехов говорил Лике, что это они любуются на нее. А весной — в окна смотрели цветущие яблони, за которыми ухаживал сам А. П. Он, между прочим, особенно любил цветущие яблони и вишни и в своей пьесе «Вишневый сад» больше всего ценил ее название. Цветение фруктовых деревьев вызывало в нем какие-то радостные ассоциации — может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза.

В доме было комнат девять-десять, и когда А. П. в первый раз показывал мне его, то меня обвели кругом дома раза три, и каждый раз он называл комнаты по-иному: то, положим, «проходная», то «пушкинская» — по большому портрету Пушкина, висевшему в ней, — то «для гостей», или «угловая» — она же «диванная», она же — «кабинет». А. П. объяснял, что так в провинциальных театрах, когда не хватает «толпы» или «воинов», одних и тех же статистов проводят через сцену по нескольку раз — то пешком, то бегом, то поодиночке, то группами… чтобы создать впечатление многочисленности. Позже этим способом великолепно воспользовался Станиславский в «Юлии

Цезаре», и я вспомнила шутку Чехова.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Жить в деревне неудобно, началась несносная распутица, но в природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своею поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава. День тянется, как вечность. Живешь, как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда издали люди кажутся очень хорошими, и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе около людей бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай.

Чехов — А. С. Суворину, 17 марта 1892 г. Москва

Вы говорите, что я был моложе. Да, представьте! Как это ни странно, мне уже давно перевалило за 30, и я уже чувствую близость 40. Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как-то глупо оравнодушел ко всему на свете, и почему-то

начало этого оравнодушения совпало с поездкой за границу. Я встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом; если последнее, то все, значит, к лучшему.

Чехов — А. С. Суворину. 8 апреля 1892 г. Мелихово

Ну-с, я жив и здрав. Лето было прекрасное, сухое, теплое, изобильное плодами земными, но вся прелесть его, начиная с июля, вконец была испорчена известиями о холере. В то время, как Вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацию, я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовал новый участок. У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого. Оказался я превосходным нищим; благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных

барака со всею обстановкой и бараков пять не превосходных, а скверных. Я избавил земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень. Одним словом, А. П. Коломнин должен гордиться, что учился в той же гимназии, где и я. Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь, — это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится.

Чехов — А. С. Суворину. 16 августа 1892 г. Мелихово

Собравши плоды земные, мы тоже теперь сидим и не знаем, что делать. Снег. Деревья голые. Куры жмутся к одному месту. Чревоугодие и спанье утеряли свою прелесть; не радуют взора ни жареная утка, ни соленые грибы. Но как это ни странно, скуки совсем нет. Во-первых, просторно, во-вторых, езда на санях, в-третьих, никто не лезет с рукописями и с разговорами, и, в-четвертых,

сколько мечтаний насчет весны! Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень. В головах кишат планы. Да, атавизм — великая штука. Коли деды и прадеды жили в деревне, то внукам безнаказанно нельзя жить в городе. В сущности, какое несчастье, что мы с детства не имели своего угла.

Чехов — Ал. П. Чехову, 21 октября 1892 г. Мелихово

Днем валит снег, а ночью во всю ивановскую светит луна, роскошная, изумительная луна. Великолепно. Но тем не менее все-таки я удивляюсь выносливости помещиков, которые поневоле живут зимою в деревне. Зимою в деревне до такой степени мало дела, что если кто не причастен так или иначе к умственному труду, тот неизбежно должен сделаться обжорой и пьяницей или тургеневским Пегасовым. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи — все это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. Если Вам когда-нибудь случится в своих «маленьких письмах» посылать интеллигенцию в деревню, то ставьте непременным условием, чтобы люди, не умеющие писать, читать, ле-

чить, работать на фабрике, учить в школе или, как покойный Голохвастов, копаться в истории, оставались бы в городе, иначе они очутятся в дураках. Один мой сосед, молодой интеллигент, сознавался мне, что он очень любит читать, но не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо.

Чехов — А. С. Суворину. 22 ноября 1892 г. Мелихово

Я живу в деревне. Постарел, одичал. У меня по целым дням играют и поют романсы в гостиной рядом с моим кабинетом, и потому я постоянно пребываю в элегическом настроении, чем и прошу объяснить мирный и спокойный тон этого письма.

Чехов — Л. А. Авиловой, 1 марта 1893 г. Москва

Ходил в деревню к чернобородому мужику с воспалением легкого. Возвращался полем. По деревне я прохожу не часто, и бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого. Каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчет канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку. В поле поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло и весело.

Чехов — А. С. Суворину. 18 апреля 1895 г. Ме-

лихово

Повесть для «Нивы» <«Моя жизнь»> я кончил. Колокольню кончил. Было освящение школы, и мужики после молебна (который служили три попа) поднесли мне образ, две серебр<яные> солонки и четыре хлеба на блюдах. Один старик говорил речь; говорил очень хорошо. Школа — лучшая в уезде.

Чехов — А. С. Суворину. 13 августа 1896 г. Мелихово

Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так как приходилось и считать, и писать до боли в пальцах, и читать лекции 15 счетчикам. Счетчики работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена была перепись в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в самые тяжелые минуты сказывались больными. Лучшим из них оказался пьющий и привирающий a la И. А. Хлестаков — все-таки характер, по крайней мере, хоть с точки зрения комедии, остальные же черт знает как бесцветны и как досадно иметь с ними дело. <…>

Весь пост и потом весь апрель придется опять возиться с плотниками, с конопатчиками и проч.

Опять я строю школу. Была у меня депутация от мужиков, просила, и у меня не хватило мужества отказаться. Земство дает тысячу, мужики собрали 300 р. — и только, а школа обойдется не менее 3 тысяч. Значит, опять мне думать все лето о деньгах и урывать их то там, то сям. Вообще хлопотлива деревенская жизнь.

Чехов — А. С. Суворину. 8 февраля 1897 г. Москва

Живу я теперь, как Вам известно, в деревне, в собственном имении, заложенном в земельном банке, живу здесь лето и зиму и, когда становится скучно, уезжаю во едину из столиц. Я по-прежнему не женат, не богат, все еще не седею, не лысею. Отец и мать при мне; постарели, но не очень. Сестра летом живет дома и занимается хозяйством, зимою учительствует в Москве. Братья служат. Имение у меня неважное, некрасивое, дом небольшой, как у помещицы Коробочки, но жизнь тихая, не дорогая и в летнее время приятная.

Чехов — С. А. Петрову (архимандриту Сергию). 23 мая 1897 г. Мелихово

Я строю еще новую школу, по счету третью. Мои школы считаются образцовыми — говорю это, чтобы Вы не подумали, что Ваши 200 р. я ис-

тратил на какую-нибудь чепуху.

Чехов — А. С. Суворину. 24 августа 1898 г. Мелихово

5. Утро –4°. Деревья сажают около пруда в поле. Полдень 0°. Ване письмо. Вечер –2°. Маша и М. И. уехали. Зарезали 2-х овец, весу 2 пуда 8 фунтов.

6. Утро –3°. Тихо и пасмурно. Капусту рубят — секут. Из ледника выбрасывают лед. Купили 2 куля угля. Полдень –3. Снег валит. Метель. Вечер –5°.

7. Утро –5°. Снегу выпало на 1/2 аршина. Зарезали 2-х телят больших весу 3 пуда 36 фунтов. Полдень 0°. Начали на санях ездить. Вечер –8°. Капусты нарубили 60 ведер.

8. Утро –12°. Окна заледенели, как зимою. Восход солнца яркий. В доме во всех комнатах холодно. Дров еще не навозили. Полдень 0°. Роман поехал на санях в Лопасню. От Вогау получен чай, сахар и кофе. Вечер –2°.

12. Сего месяца Павел Георгиевич Чехов скончался в Москве в пять часов пополудни.

П. Е. Чехов. Дневник. Октябрь 1898 г.

Последнюю запись – о смерти отца – сделала в мелиховском дневнике М. П. Чехова.

…В октябре нашу семью постигло несчастье. Наш отец приподнял в Мелихове с полу тяжелый ящик с книгами, и у него произошло невправимое ущемление грыжи. Пока по отвратительной грязной дороге его довезли до станции (13 верст), пока три часа везли в поезде в Москву и пока поместили в клинику, кишка у него омертвела, и явилась необходимость вскрывать брюшную полость. Отец не выдержал операции и умер. Мы похоронили его в Новодевичьем монастыре, и я, мать и сестра с грустью возвратились в Мелихово. Я прошел по пустынным комнатам. Брата Антона нет — он в Ялте; отца нет — он в могиле; «прекрасной Лики» тоже нет — она в Париже. Даже нет нашего вечного друга А. И. Иваненко — он навсегда уехал к себе на родину. Опустело наше Мелихово! Точно один отец занимал весь наш дом — так почувствовалось в Мелихове его отсутствие.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Милая Маша, твою телеграмму Синани получил вчера 13 окт<ября> в 2 часа дня. Телеграмма неясна: «как принял Антон Павл. Чехов известие о кончине его отца». Синани был смущен и думал, что ему нужно скрывать от меня. Вся Ялта знала о смерти отца, а я не получал никаких известий, и

Синани показал мне телеграмму только вечером; после этого я пошел на почту и там прочел только что полученное письмо от Ивана, который извещал меня об операции. Пишу я это 14-го вечером, и до сих пор никаких известий, ни звука.

Как бы ни было, грустная новость, совершенно неожиданная, опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль отца, жаль всех вас; сознание, что вам всем приходится переживать в Москве такую передрягу в то время, как я живу в Ялте, в покое, — это сознание не покидает и угнетает меня все время. Что мать? Где она? Если она не поедет в Мелихово (ей там тяжело одной), то где ты поселишь ее? Вообще много вопросов, которые следовало бы решить. <…> Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни.

Чехов — М. П. Чеховой. 14 октября 1898 г. Ялта

У меня умер отец. Выскочила главная шестерня из мелиховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мелихове утеряла теперь всякую прелесть и что мне придется устраивать для них теперь новое гнездо. И это весьма вероятно, так как зимовать в Мелихове я уже не буду, а без мужчин в деревне не управиться.

Чехов — М. О. Меньшикову, 20 октября 1898 г. Ялта

Толстой

Насколько я успел заметить, у Чехова не было «богов» в литературном мире. Анализируя всякую человеческую личность, он всегда делал спокойный, замечательно правдивый вывод. Вот это, дескать, его хорошие черты, а вот это — дурные. <…>

Я уверен, что если бы, например, и Л. Н. Толстой сделал худой поступок, то Чехов бы сказал: «Да, это дурно». И если бы последний негодяй сделал хорошее, то Чехов сказал бы: «Да, он поступил хорошо».

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Неужели Вам не понравилась «Крейцерова соната»? Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная — тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль. Читая ее,

едва удерживаешься, чтобы не крикнуть: «Это правда!» или «Это нелепо!». Правда, у нее есть очень досадные недостатки. Кроме всего того, что Вы перечислили, в ней есть еще одно, чего не хочется простить ее автору, а именно — смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрямства не хочет понять. Так, его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и проч. не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами. Но все-таки эти недостатки разлетаются, как перья от ветра; ввиду достоинства повести их просто не замечаешь, а если заметишь, то только подосадуешь, что повесть не избегла участи всех человеческих дел, которые все несовершенны и не свободны от пятен.

Чехов — А. Н. Плещееву. 15 февраля 1890 г. Москва

У меня в сарае холодно. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем! В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества — культуру, выражающуюся в коврах,

рессорных экипажах и остроте мысли. Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть бы за большим столом!

Чехов — А. С. Суворину. 30 августа 1891 г. Богимово

Для моей повести рекомендуемое Вами название «Ложь» не годится. Оно уместно только там, где идет речь о сознательной лжи. Бессознательная ложь есть не ложь, а ошибка. То, что мы имеем деньги и едим мясо, Толстой называет ложью — это слишком.

Чехов — А. С. Суворину. 8 сентября 1891 г. Москва

Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище. Юпитер. В «Сборник» он дал статью насчет столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора «Рус<ских> вед<омостей>» Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в «Сборнике», а в «Правительственном вестнике».

Чехов — А. С. Суворину. 11 декабря 1891 г. Москва

Я хотел быть у Толстого, и меня ждали, но Сер-

геенко подстерегал меня, чтобы пойти вместе, а идти к Толстому под конвоем или с нянькой — слуга покорный. Семье Толстого Сергеенко говорил: «Я приведу к вам Чехова», и его просили привести. А я не хочу быть обязанным С<ергеенк>у своим знакомством с Толстым.

Чехов — А. С. Суворину. 7 августа 1893 г. Мелихово

Двуличновольнодумствующий Саша!

Обращаюсь к тебе с предложением исполнить нижеследующую мою просьбу. Третьего дня утром, когда я был в Ясной Поляне, к Льву Толстому явился человек с котомкой за спиной. Он просил милостыни. Помутнение роговицы в обоих глазах, видит очень плохо, ходит ощупью. Не способен к труду. Лев Толстой попросил меня написать куда-нибудь: нельзя ли сего странника законопатить в какой-нибудь приют для слепых? Так как ты специалист по слепой части, то не откажи написать оному страннику, куда он должен обратиться с прошением и какого содержания должно быть последнее? Вот его status: отставной солдат Сергей Никифоров Киреев 59 лет, ослеп на оба глаза 10 лет тому назад, живет в Кашире, в доме Киреева. Адресуйся в Каширу.

Я говорил про тебя Толстому, и он остался очень

недоволен и упрекал тебя за развратную жизнь.

Хина родила сучку Селитру. Больше нет никаких новостей.

Чехов — Ал. П. Чехову. 11 августа 1895 г. Мелихово

Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и небезупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь… Невесту и любовницу можно надуть как угодно, и в глазах любимой женщины даже осел представляется философом, но дочери — другое дело.

Чехов — А. С. Суворину. 26 октября 1895 г. Москва

Завидую Вам, что Вы едете в Ясную Поляну. Я стремлюсь туда всем существом своим, и, должно быть, в сентябре мне удастся побывать там. Я собирался в июне — в июле, но не было уверенности, что я не стесню. Судя по газетным известиям, Ясная Поляна запружена гостями — французами и американцами. Не так давно я встретил на

железной дороге доктора, который хвалился мне, что он гостил у Льва Николаевича вместе со своими малолетними детьми и что одновременно с ним гостил там и Тищенко, нудный хохол, читавший вслух свою повесть. Вот приехать, когда там этакая компания, было бы не совсем кстати.

Чехов — М. О. Меньшикову. 11 августа 1896 г. Мелихово

О «Чайке» Чехова Лев Николаевич <Толстой> сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет.

— Нагорожено чего-то, а для чего, неизвестно. А Европа кричит: превосходно. Чехов самый талантливый из всех, но «Чайка» — очень плоха.

— Чехов умер бы, если бы ему сказать, что вы так думаете, — сказала Анна Ивановна <Суворина>. — Вы не говорите ему этого.

— Я ему скажу, но мягко, и удивляюсь, что он так огорчится. У всякого есть слабые вещи.

А. С. Суворин. Дневник. 11 февраля 1897 г. Петербург

28 авг<уста> я не буду у Толстого, во-первых, оттого, что холодно и сыро ехать к нему, и во-вторых — зачем ехать? Жизнь Толстого есть сплошной юбилей, и нет резона выделять ка-

кой-нибудь один день; в-третьих, был у меня Меньшиков, приехавший прямо из Ясной Поляны, и говорил, что Л. Н. морщится и крякает при одной мысли, что к нему могут приехать 28 авг<уста> поздравители; и в-четвертых, я не поеду в Я<сную> П<оляну>, потому что там будет Сергеенко. С Серг<еенко> я учился вместе в гимназии; это был комик, весельчак, остряк, но как только он вообразил себя великим писателем и другом Толстого (которого, кстати сказать, он страшно утомляет), то стал нуднейшим в мире человеком. Я боюсь его, это погребальные дроги, поставленные вертикально.

Меньшиков говорил, что Толстой и его семья очень приглашали меня в Я<сную> П<оляну> и что они обидятся, если я не поеду. («Только, пожалуйста, не 28-го», добавлял Меньшиков.) Но повторяю, стало сиро и очень холодно, и я опять стал кашлять. Говорят, что я очень поправился, и в то же время опять гонят меня из дому. Придется уехать на юг; я тороплюсь, кое-что делаю, хочу кое-что успеть до отъезда — и подумать тут некогда об Ясной Поляне, хотя и следовало бы поехать туда дня на два. И хочется поехать.

Чехов — А. С. Суворину. 24 августа 1898 г. Мелихово

Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю, и понимаю каждое движение его бровей, но все же я люблю его.

Чехов — Л. А. Авиловой. 23 марта 1899 г. Ялта

...Ваша «Душечка» — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи...

Т. Л. Толстая — Чехову. 30 марта 1899 г.

Говоря о Толстом, он <Чехов> как-то сказал:

— Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня... Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана, и на Семенова. Вот Шекспир — другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не по-толстовски...

И. А. Бунин. Чехов

Пришел Лев Николаевич на «Дядю Ваню» <24 января 1900>. Чехова как драматурга он упорно не хотел признавать. И по его биографии, и по

дневникам его рассыпаны разные отрицательные отзывы. Где он говорил — «ничего нельзя понять», где называл пьесу просто «вздором», где («Чайка») упрекал в ненужной автобиографичности. Во время спектакля «Дяди Вани» мы исподтишка не спускали с него глаз. Решительно казалось нам, что спектакль вовлекал его в свою атмосферу, что внимание его было захвачено, что местами он был растроган. Но или мы ошибались, или он отстранял от самого себя простую, непосредственную восприимчивость, потому что в антрактах он ничего не хвалил. Правда, ничего не порицал, словно дожидаясь, чем все это кончится. А по окончании сказал так: «Чего ему еще нужно (Астрову)? Тепло, играет гитара, славно трещит сверчок. А он сначала хотел взять чужую жену, теперь о чем-то мечтает…»

И неодобрительно кивал головой.

Вл. И. Немирович-Данченко. Из прошлого

<Толстой:> Я вас знаю, вы хорошо играете дядю Ваню. Но зачем вы пристаете к чужой жене? Завели бы свою скотницу.

А. Л. Вишневский. Клочки воспоминаний

Толстому не понравился мой любимейший «Дядя Ваня», хотя он очень чтит и ценит Вас

как писателя. «Где драма?!», вопил гениальный писатель, «в чем она», «пьеса топчется на одном месте!»... <...> Затем Толстой заявил, что Астров и дядя Ваня — дрянь люди, бездельники, бегущие от дела и деревни как места спасения... На эту тему он говорил много... Говорил еще о том, что «Астрову нужно взять Алену, а дяде Ване — Матрену и что приставать к Серебряковой нехорошо и безнравственно...». И знаете, что я Вам скажу. Я ждал приезда Толстого к нам в театр как какого-то откровения. И боже мой, как я разочаровался!.. Толстой, тот, прежний, вдруг показался мне постаревшим, отставшим от жизни, людей, молодости...

А. А. Санин — Чехову. 12 марта 1900 г. Москва

И, помолчав, <Чехов> вдруг заливался радостным смехом:

— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня» — и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

И. А. Бунин. Чехов

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя.

Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико.

— Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Серьезно, я его боюсь, — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

— А эти шириной с Черное море! подумает: нахал…

И. А. Бунин. Чехов

Дача Паниной похожа на средневековый замок. Внутри все грандиозно и великолепно. Огромные террасы, на которых могли бы помещаться роты. Но наверх идет витая лестница, куда и вносят Льва Николаевича по слабости. На вид он очень ослабел и смотрит стариком. Софья Андреевна объявила, что ждут Чехова, таким тоном, как событие. Очевидно, у них мало бывает. У Льва Николаевича лицо усталое… Приехал Чехов. Произошло оживление. При встрече Л. Н. и Софья Андреевна похвалили жену Чехова. К удивлению моему, Чехов вошел в некотором роде фертом, в модных узких штанах и с «развязностью почти военного человека».

Но Лев Николаевич был опьянен Чеховым и все находил в нем превосходным, охотно соглашаясь с ним и уже авансом улыбаясь, когда Чехов собирался острить. Только раз он как бы скиксовал в своем любовно-ухаживательном тоне, когда я заикнулся о пьесе… Лев Николаевич сказал серьезно, что ждет от него не пьес, а того, в чем он силен, и, похвалив «В овраге», процитировал что-то из Чехова. Вообще, много раз подходил к нему и относился к нему с особенной благожелательностью и даже с пристрастием.

П. А. Сергеенко. Записи. 11 сентября 1901 г. Гас-

пра, Крым

Вернувшись, он <Чехов> сказал:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно вполне едва живой, краше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, сверхгениальный!

И. А. Бунин. Чехов

Чехов довольно часто приезжал из Ялты. Помню его внимательное, умное, неулыбающееся лицо. Его учтивое благожелательное отношение к людям, его узкую фигуру. Уже тогда у него был вид нездорового человека: он был очень худ, цвет лица его был матово-бледен. А когда он клал ногу на ногу, он легко сплетал свои мягкие ноги, и мне казалось, что их мускулатура была слаба.

Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: «Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских». Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не

спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец.

С. Л. Толстой. Очерки былого

Видаю здесь Чехова, совершенно безбожника, но доброго, и Горького, в котором гораздо больше «fond» <глубины>.

Л. Толстой — В. Г. Черткову. 30 ноября 1901 г. Гаспра

Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего

не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шаршавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться.

Чтобы кончить о Толстом, скажу еще о «Воскресении», которое я читал не урывками, не по частям, а прочел все сразу, залпом. Это замечательное художеств<енное> произведение. Самое неинтересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители. Сцену у генерала, коменданта Петропавл<овской> крепости, спирита, я читал с замиранием духа — так хорошо! А m-me Корчагина в кресле, а мужик, муж Федосьи! Этот мужик называет свою бабу «ухватистой». Вот именно у Толстого перо ухватистое. Конца у повести нет,

а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия — это уж очень по-богословски. Решать все текстом из Евангелия — это так же произвольно, как делить арестантов на пять разрядов. Почему на пять, а не на десять? Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстами.

Чехов — М. О. Меньшикову, 28 января 1900 г. Ялта

...Надо бы прочесть все сразу, в один присест, как я недавно прочел «Воскресенье». Всё, кроме отношений Нехлюдова к Катюше — довольно неясных и сочиненных, все поразило меня в этом романе силой и богатством, и широтой, и неискренностью человека, который боится смерти, не хочет сознаться в этом и цепляется за тексты из Свящ<енного> Писания.

Чехов — М. Горькому. 15 февраля 1900 г. Ялта

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! — говорил он <Чехов> не раз.

— Литература?

— И литература.

И. А. Бунин. Чехов

<Толстой> Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя…

М. Горький. Лев Толстой

<Толстой> Чехову, по телефону:

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

М. Горький. Лев Толстой

— Вот вы, — он <Толстой> обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит как барышня. Просто — чудесный!

М. Горький. Лев Толстой

…о брехне Горького на Толстого, будто Толстой

сказал про Чехова, что он, Чехов, «скромный, тихий, точно барышня», и ходит как барышня, я уже писал вам. Почему это брехня? Потому, что, во-первых, Горький всегда вкладывал в уста Толстого совершенно несвойственный Толстому язык, вложил и тут, а во-вторых, потому, что такой «проницательный» человек, как Толстой, не мог не видеть, что Чехов, ходивший именно как сын своего сурового отца-лавочника, высокий, широкоплечий и на людях всегда бывавший несколько суровым, сугубо сдержанным, ничуть не был похож на барышню. Это я Вам писал. Теперь прибавляю, почему именно нужна была Горькому эта брехня, как и многие, многие брехни его: потому что он всегда действовал в этих случаях очень расчетливо — много раз противопоставлял свою силу, свой нахрап, свой «челкашизм» выдуманным им у Чехова «тихости», бессильной «грусти»…

И. А. Бунин. О Чехове (Из писем Г. В. Адамовичу)

Борьбу за своего Чехова вели не только родственники, но и литературные наследники. Двух главных после революции разделила непреодолимая идеологическая граница (хотя оба долго жили в одном, европейском, хронотопе). В этом столкновении Горький выглядит более вели-

кодушным, может быть, потому, что кажется современникам несомненным победителем (даже несмотря на бунинскую Нобелевскую премию). В ответ на многочисленные резкие нападки Бунина Горький то приведет в письме своему биографу длинный список «кое-каких неточностей» в очередном бунинском мемуаре, то представит для публикации около полусотни дружеских бунинских писем к нему, то понимающе-снисходительно вздохнет в письме «третьему Толстому»: «Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев, злопыхательство его все возрастает — и странное дело! — мне кажется, что его мания величия — болезнь искусственная, самовнушенная, выдуманная им для сохранения» (А. Н. Толстому, февраль 1932 г.). В рамках «литературной учебы» Горький не раз предъявлял молодым литераторам список классиков, у которых надо учиться языку: Бунину там всегда отводилось место рядом с Чеховым. «…Читайте таких мастеров словесного искусства, каковы: Пушкин, Гоголь, Л. Толстой, Лесков, Чехов, Бунин. Читайте, старайтесь уловить, чем отличается Лесков от Гоголя и Толстого, Чехов от Бунина» (А. Перегудову, 4 октября 1927 г.).

Что же касается конкретной толстовской ре-

плики, Горький мог возразить: при тебе, Иван, не говорил, а при мне говорил. Слова могли быть несколько иными, но любовно-отеческое отношение Толстого к Чехову (пока речь не заходила о драматургии или религии) — факт, подтвержденный многими мемуаристами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом — писал бы еще лучше.

М. Горький. Лев Толстой

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой» <«Душечкой»>. Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил, очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки…
М. Горький. А. П. Чехов

— Так, скончался Антон Павлович… Хорошие похороны, говорите, были? Ну, отлично… Речей не было? По его желанию? Прекрасно, это прекрасно. Не надо речей… Я именно поэтому и не принимал никакого участия в его похоронах… Я противник всяких демонстраций… <…> Но вот, раз вы заехали, я могу вам высказать то, что думаю о Чехове…

Взглядываю на него: идет так же бодро и скоро, смотрит в землю и руки заложил за спину.

— Чехов… Чехов, видите ли, это был несравненный художник… Да, да… Именно несравненный… Художник жизни… И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще… А это главное… Я как-то читал книгу одного немца, и там вот молодой человек, желая сделать своей невесте хороший подарок, дарит ей книги; и чьи? Чехова… Считая его выше всех известных писателей… Это очень верно; я был поражен тогда…

Он брал из жизни то, что видел, независимо от содержания того, что видел.

Зато если уж он брал что-нибудь, то передавал удивительно образно и понятно — до мелочей

ясно… То, что занимало его в момент творчества, то он воссоздавал до последних черточек…

Он был искренним, а это великое достоинство; он писал о том, что видел и как видел…

И благодаря искренности его он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде! <…>

Я повторяю, что новые формы создал Чехов, и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель… <…>

Одно могу сказать вам: смерть Чехова — это большая потеря для нас, тем более что, кроме несравненного художника, мы лишились в нем прелестного, искреннего и честного человека… Это был обаятельный человек, скромный, милый…

Последние слова Толстой произносит сердечно и задумчиво… Мы идем по узенькой аллейке, поросшей травою; то остановимся, и он, глядя прямо мне в глаза, высказывает свои мысли, то опять пойдем, и он говорит, смотря в землю…

А. Зенгер. У Толстого

<Толстой:>☒И теперь уже получил два пись-

ма от революционеров. Один цитирует Чехова. «Надо учиться, учиться науке спасения». Искусственная, насилу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове <…> таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они — молодежь — учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин.

Д. П. Маковицкий. Дневник. 17 августа 1905 г. Ясная Поляна

Цитируемой революционером фразы в сочинениях Чехова нет. Ближе всего к ней по смыслу финал рассказа «Убийство», где сказано: «…хотелось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погибели хотя бы одного человека и прожить без страха хотя бы один день». Раздражение Толстого понятно: отводя Чехову роль «художника жизни», он с удивлением замечал, что современники, особенно люди чеховского поколения, видят в нем и учителя жизни. А эту роль он уступать не хотел.

Сергей Львович: Читал ты, папá, в фельетоне Меньшикова письмо Чехова к нему о тебе?

Л. Н. кивнул головой и сказал:

— Я не знал, что он меня так любил.

Д. П. Маковицкий. Дневник. 25 марта 1908 г. Ясная Поляна

Разговор зашел о Чехове. Я привез корректуру моей статьи и просил просмотреть. Он указал на одну неточность. Он еще мягче сделался, заговорив о Чехове. Одно сокрушало Льва Николаевича в Чехове — его неверие, а главное, его слепое рабство перед наукой…

П. А. Сергеенко. Записи. 2 сентября 1904 г. Ясная Поляна

Кто-то вспомнил, будто бы монашки в Новодевичьем монастыре недовольны тем, что у них похоронен Чехов, и будто бы говорят, что совратил его Толстой. Гадали, почему недовольны? Потому что Чехов был атеист.

Д. П. Маковицкий. Дневник. 24 марта 1909 г. Ясная Поляна

Долгоруков о 50-летии со дня рождения Чехова, о Чехове.

Л. Н.: Самый пустяшный писатель.

Кто-то: Но его вещи художественные?

Л. Н.: Очень художественные, <но> содержания нет никакого, нет raison d'être <разумного основания>, и даже какая-то неясность, нытье

постоянное. Даже то, что мне нравится, «Душечка»… он хотел посмеяться, а вышло…

Д. П. Маковицкий. Дневник. 31 января 1910 г. Ясная Поляна

Вечером в школе деревенские мальчики под руководством И. М. Диомидова играли «Злоумышленника» Чехова. Л. Н. сердечно, громко смеялся, особенно с самого начала на «чаво» и другое.

Д. П. Маковицкий. Дневник. 18 августа 1910 г. Кочеты

Женщины

Интимная жизнь Чехова почти неизвестна. Опубликованные письма не вскрывают ее. Но несомненно, она была сложная. Несомненно, до позднего брака с Книппер Чехов не раз не только увлекался, но и любил «горестно и трудно».

Только любивший человек мог написать «Даму с собачкой» и «О любви», где огнем сердца выжжены слова:

«Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».

Кажется, в тот же вечер Чехов сказал мне:

— Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.

Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно

сравнение женщины с вином. Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову. Да и кому она чужда?! Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он этого бы смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо.

В. А. Поссе. <Воспоминания о Чехове>

Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию.

Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево

охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток… И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат, и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. <…>

Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз; какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов.

«Это оттого, — думал я, — что я весь в пыли, загорел, и оттого, что я еще мальчик».

Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжанья мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка.

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и

армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем.

«Красавицы». 1888

Тайны любви постиг я, будучи 13 лет.

Чехов — В. А. Тихонову. 22 февраля 1892 г. Москва

Кстати сказать, супруги Мережковские на сих днях уезжают в Ниццу. M-me Гиппиус, вероятно, прыгает от радости. Но боже, какая скука ехать в Ниццу затем, чтобы у одра Алексея Николаевича непрерывно говорить о литературе! Положение хуже онегинского. Восторженный и чистый душою Мережковский хорошо бы сделал, если бы свой quasi-гётевский режим, супругу и «истину» променял на бутылку доброго вина, охотничье ружье и хорошенькую женщину. Сердце билось бы лучше.

Чехов — А. С. Суворину. 1 марта 1892 г. Москва

Приближается весна, дни становятся длиннее. Хочется писать, и кажется, что в этом году я буду писать так же много, как Потапенко. И деньги нужны адски. Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной,

если она не в шелковой сорочке. К тому же, когда у меня есть деньги, я чувствую себя как на облаках, немножко пьяно, и не могу не тратить их на всякий вздор. Третьего дня я был именинник; ожидал подарков и не получил ни шиша. <…>

Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но, представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного: только молодость. Пейзаж невозможно писать без пафоса, без восторга, а восторг невозможен, когда человек обожрался. Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую: употреблял бы раз в год и ел бы раз в день.

Чехов — А. С. Суворину. 19 января 1895 г. Москва

Фю-фю! Женщины отнимают молодость, только не у меня. В своей жизни я был приказчиком, а не хозяином, и судьба меня мало баловала. У меня было мало романов, и я так же похож на Екатерину, как орех на броненосец. Шелковые же сорочки я понимаю только в смысле удобства, чтобы рукам было мягко. Я чувствую расположение к комфорту, разврат же не манит меня, и я не мог бы оценить, например, Марии Андреевны.

Чехов — А. С. Суворину. 21 января 1895 г. Мелихово

Папá сегодня читал новый рассказ Чехова «Дом с мезонином». И мне было неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его 17-летняя девочка. Вот Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никто так в душу не проникал. Я ходила в воскресенье к Петровским, чтобы видеть его портрет. А его я видела только два раза в жизни.

Т. Л. Толстая. Дневник. 19 апреля 1896 г.

Татьяна Вас очень любит, но чувствует какую-то грусть за Вас, думает, что у Вас очень большой талант, но безжизненное материалистическое мировоззрение.

М. О. Меньшиков — Чехову. 30 августа 1896 г. Ясная Поляна

Мне очень жаль, что вы не пишете мне о своем здоровье. Судя по вашим работам — надо думать, что вы в полном обладании всех ваших сил. Ваша «Душечка» — прелесть. Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи. <…> Меня всегда удивляет, когда мужчины-писатели так хорошо знают женскую душу. Я не могу себе представить, чтобы я могла напи-

сать что-либо о мужчине, что похоже было бы на действительность. А в «Душечке» я так узнаю` себя, что даже стыдно. Но все-таки не так стыдно, как было стыдно узнать себя в «Ариадне».

Т. Л. Толстая — Чехову, 30 марта 1899 г. Ясная Поляна

> Дочь Толстого тоже была влюблена в Чехова. Он об этом не то что не догадывался, но, видимо, не хотел догадываться. В 1899 г. она выходит замуж за М. С. Сухотина, вдовца с шестью детьми, в начале мировой войны, летом 1914-го теряет мужа, после революции оказывается в эмиграции и умирает в Риме в 1950 году, двух недель не дожив до 86-летия. Мемуары о Чехове, которые Т. Л. хотела включить в книгу «Друзья и гости Ясной Поляны», так и остались ненаписанными.

Говорили, что Антон Павлович увлекался Комиссаржевской. Она же была в него влюблена очень сильно. Однажды она специально приехала в Гурзуф, чтобы встретиться с Антоном Павловичем. Она прислала ему письмо, и он поехал к ней, но… взял с собою Марию Павловну, как будто нарочно, как будто назло себе.

Ехали на извозчике.

Комиссаржевская пришла на гурзуфскую дачу Антона Павловича, и они сидели в большой комнате. Мария Павловна заходила и уходила, чувствуя себя лишней. Ей было очень скучно. Комиссаржевская смотрела на нее сурово. Под вечер Мария Павловна зашла и сказала:

— Антоша, есть обратный извозчик. Поедем!

И поехали. Антон Павлович не был наедине с Комиссаржевской.

Когда Антон Павлович был уже женат и жил с Ольгой Леонардовной в своем ялтинском доме, Комиссаржевская приехала в Ялту и дала об этом знать Антону Павловичу. Он собрался и поехал на извозчике. Ольга Леонардовна как тигрица ходила по саду то к угловой скамеечке, то обратно. Подбегала к забору смотреть на каждого проезжавшего извозчика.

Наконец он вернулся. Какой был между ними разговор, неизвестно.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948 гг.

<Чехов:> Дружба лучше любви. Меня любят друзья, и я их люблю, и через меня они любят друг друга. Любовь делает врагами тех, которые любят одну женщину. В любви желают обладать жен-

щиной всецело, не давать ее никому другому и всякого считать врагом, который имеет желание понравиться ей. Дружба такой ревности не знает. Оттого и в браке лучше — не любовь, а дружба.

Если б женщины обращали внимание на красоту мужчин столько же, сколько мужчины обращают внимания на красоту женщин, то и мужчины стали бы так же тщеславны, как женщины. Женщины принимают и некрасивых мужчин, и это показывает их разумность и трезвость, а может быть, недостаток эстетического чувства. <…>

Красивой женщине надо иметь много хороших качеств, чтобы сохранить верность в браке.

А. С. Суворин. Дневник. 23 июля 1897 г.

Как относился Чехов к женщинам? Для романистов знание женской души то же, что знание тела для скульптора. Не время, конечно, говорить об этой стороне жизни Чехова. В своей родной семье он мог наблюдать на редкость милые, прекрасные женские типы. Я был не раз свидетелем самого восторженного восхищения, какое Чехов вызывал у очаровательных девушек. Вероятно, он имел бы ошеломляющий «успех» у дам разного круга, если бы это было не ниже его души. Заметно было, что Чехову любовь — как и Турге-

неву — давалась трудно. Вкушая, он здесь «вкусил мало меда»… Лет девять назад он говорил мне: «Вот, что такое любовь: когда вы будете знать, что к вашей возлюбленной пришел другой и что он счастлив; когда вы будете бродить около дома, где они укрылись; когда вас будут гнать как собаку, а вы все-таки станете ходить вокруг и умолять, чтобы она пустила вас на свои глаза, — вот это будет любовь». А через пять лет мы как-то поздним вечером ехали из Гурзуфа в Ялту. Стояла чудная ночь. Глубоко внизу под ногами лежало сонное море и, точно горсть бриллиантов, горели огоньки Ялты. Чехов сидел крайне грустный и строгий, в глубокой задумчивости. «Что такое любовь?» — спросил наш спутник в разговоре со мной. «Любовь — это когда кажется то, чего нет», — вставил мрачно Чехов и замолк.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Поверь мне, – счастье только там,
Где любят нас, где верят нам.

Лермонтов

<…>

Где нас любят и где нам верят, там нам скучно; но счастливы мы там, где сами любим и где сами верим…

Антон Чехов.
10 май 98 г.
Чехов. Запись в альбоме А. Ф. Онегина (Отто). 28 апреля (10 мая) 1898 г. Париж

Автограф как автограф, но меня удивило, что подпись Чехова стояла не под текстом, а путалась посреди текста, перечеркивая последний. Недоумение мое разрешил хозяин книги.

Чехов явился к нему не один, а в сопровождении целой компании, в составе которой находилось несколько молодых дам и девиц. Чехов был весел, отпускал шутки, публика хохотала. Когда Онегин попросил Антона Павловича внести в альбом свой автограф, Чехов подчеркнул строку из Лермонтова <поэма «Хаджи-Абрек»>, написал: «Где нас любят и где нам верят, там нам скучно», поставил на этом точку и подписался.

Но тут дамы и девицы почувствовали себя горько обиженными; поднялся бурный ропот, на Чехова посыпались упреки, жалобы. Тогда он взял перо, точку в конце своего автографа переправил на точку с запятой и далее приписал: «но счастливы мы там, где сами любим и где сами верим».

А. Б. Дерман. В гостях у А. Ф. Онегина

Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет. «Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».

И. А. Бунин. Чехов

Все это в сущности грубо и бестолково, и поэтическая любовь представляется такою же бессмысленной, как снеговая глыба, которая бессознательно валится с горы и давит людей. Но когда слушаешь музыку, все это, то есть что одни лежат где-то в могилах и спят, а другая уцелела и сидит теперь, седая, в ложе, кажется спокойным, величественным, и уж снеговая глыба не кажется бессмысленной, потому что в природе все имеет смысл. И все прощается, и странно было бы не прощать.

Чехов. Записи на отдельных листах

Эротика

Теперь же позвольте отгрызнуться на Вашу критику… Даже Ваша похвала «На пути» не смягчила моего авторского гнева, и я спешу отмстить за «Тину». Берегитесь и, чтобы не упасть в обморок, возьмитесь покрепче за спинку стула. Ну, начинаю… <…>

Прежде всего, я, так же как и Вы, не люблю литературы того направления, о котором у нас с Вами идет речь. Как читатель и обыватель я охотно сторонюсь от нее, но если Вы спросите моего честного и искреннего мнения о ней, то я скажу, что вопрос о ее праве на существование еще открыт и не решен никем, хотя Ольга Андреевна и думает, что решила его. У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в «навозной куче», но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, к<ото>рые не стыдились воспевать

любовь такою, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлита, Пьера Бобо? Подобно вопросам о непротивлении злу, свободе воли и проч., этот вопрос может быть решен только в будущем. Мы же можем только упоминать о нем, решать же его — значит выходить из пределов нашей компетенции. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших «навозную кучу», не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает; ведь было же раньше них поколение писателей, считавшее грязью не только «негодяев с негодяйками», но даже и описание мужиков и чиновников ниже титулярного. Да и один период, как бы он ни был цветущ, не дает нам права делать вывод в пользу того или другого направления. Ссылка на развращающее влияние названного направления тоже не решает вопроса. Всё на этом свете относительно и приблизительно. Есть люди, к<ото>рых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в Псалтири и в притчах Соломона пикантные местечки, есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейскою грязью, тем становятся чище. Публицисты, юристы и врачи, посвященные во все тайны человеческого греха, неизвестны

за безнравственных; писатели-реалисты чаще всего бывают нравственнее архимандритов. Да и в конце концов никакая литература не может своим цинизмом перещеголять действительную жизнь; одною рюмкою Вы не напоите пьяным того, кто уже выпил целую бочку.

Чехов — М. В. Киселевой. 14 января 1887 г. Москва

С Благовещенска начинаются японцы, или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической, с красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво. В языке их преобладает звук «тц». Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской б<…>. Комнатка у японки чистенькая, азиатско-сентиментальная, уставленная мелкими вещичками, ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Постель широкая, с одной небольшой подушкой. На подушку ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе прическу, кладет под голову деревянную подставку. Затылок ложится на вогнутую часть. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит, и на вопрос, как по-японски называется то или

другое, она отвечает прямо и при этом, плохо понимая русский язык, указывает пальцами и даже берет в руки, и при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все это время смеется и сыплет звуком «тц». В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит из рукава зубами листок хлопчатой бумаги, ловит вас за «мальчика» (помните Марию Крестовскую?) и неожиданно для вас производит обтирание, причем бумага щекочет живот. И все это кокетливо, смеясь, напевая и с «тц»…

Чехов — А. С. Суворину. 27 июня 1890 г. Благовещенск

Мы, старые холостяки, пахнем, как собаки? Пусть так. Но насчет того, что врачи по женским болезням в душе селадоны и циники, позвольте поспорить. Гинекологи имеют дело с неистовой прозой, которая Вам даже не снилась и которой Вы, быть может, если б знали ее, со свирепостью, свойственною Вашему воображению, придали бы запах хуже, чем собачий. Кто постоянно плавает в море, тот любит сушу; кто вечно погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии. Все гинекологи идеалисты. Ваш доктор читает стихи

— чутье подсказало Вам правду; я бы прибавил, что он большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене во вкусе некрасовской русской женщины. Известный Снегирев говорит о «русской женщине» не иначе как с дрожью в голосе. Другой гинеколог, которого я знаю, влюблен в какую-то таинственную незнакомку под вуалью, которую он видел издали. Третий ходит в театр на все первые представления и потом громко бранится около вешалок, уверяя, что авторы обязаны изображать одних только идеальных женщин и т. д. Вы упустили также из виду, что хорошим гинекологом не может быть глупый человек или посредственность. Ум, хотя бы семинарский, блестит ярче, чем лысина, а Вы лысину заметили и подчеркнули, а ум бросили за борт. Вы заметили также и подчеркнули, что толстый человек — бррр! — выделяет из себя какой-то жир, но совершенно упустили из виду, что он профессор, т. е. что он несколько лет думал и делал что-то такое, что поставило его выше миллионов людей, выше всех верочек и таганрогских гречанок, выше всяких обедов и вин. У Ноя было три сына: Сим, Хам и, кажется, Афет. Хам заметил только, что отец его пьяница, и совершенно упустил из виду, что Ной гениален, что он построил ковчег и

спас мир. Пишущие не должны подражать Хаму. Намотайте это себе на ус. Я не смею просить Вас, чтобы Вы любили гинеколога и профессора, но смею напомнить о справедливости, которая для объективного писателя нужнее воздуха.

Чехов — Е. М. Шавровой. 16 сентября 1891 г. Москва

Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване, не суть бешеные, это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван — очень неудобная мебель. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его. Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно, но Золя и той даме, которая говорила «хлоп — и готово», я не верю. Распутные люди и писатели считают себя гастрономами и знатоками блуда; они смелы, решительны, находчивы, употребляют по 33 способа, чуть ли не на лезвии ножа, но все это только на словах, на деле же они употребляют кухарок и ходят в рублевые дома терпимости. Все писатели врут. Употребить даму в городе не так легко, как они пишут. Я не видел ни одной квартиры (порядочной, конечно), где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки

и в турнюр женщину на сундук, на диван или на пол и употребить ее так, чтобы не заметили домашние. Все эти термины вроде «в стоячку», «в сидячку» и проч. — вздор. Самый легкий способ — это постель, а остальные 33 трудны и удобоисполнимы только в отдельном номере или в сарае. Роман с дамой из порядочного круга — процедура длинная. Во-первых, нужна ночь. Во-вторых, вы едете в «Эрмитаж». В-третьих, в «Эрмитаже» вам говорят, что номеров нет, и вы едете искать другое пристанище. В-четвертых, в номере ваша дама падает духом, дрожит и восклицает: «Ах, боже мой, что я делаю?! Нет! Нет!», добрый час идет на раздевание и на слова. В-пятых, дама ваша на обратном пути имеет такое выражение, как будто вы ее изнасиловали, и все время бормочет: «Нет, никогда себе этого не прощу!» Все это не похоже на «хлоп — и готово!». Конечно, бывают случаи, когда человек грешит, точно стреляет — пиф! паф! и готово, — но эти случаи не так часты, чтобы о них стоило говорить.

Чехов — А. С. Суворину. 12 июня 1894 г. Москва

Я ничего не делаю, только сплю, ем и приношу жертвы богине любви. Теперешняя моя француженка очень милое доброе создание, 22 лет, сложена удивительно, но все это мне уже

немножко прискучило и хочется домой. Да и лень трепаться по чужим лестницам.

Чехов — А. С. Суворину. 27 января (8 февраля) 1898 г. Ницца

На пароходе <Севастополь — Ялта> Чехов ужасно возмущался продажей порнографических карточек на открытых письмах.

— Вы знаете, во Франции даже продажа этих вещей карается уголовными законами. Эти мерзости окончательно портят вкус.

Б. А. Лазаревский. Дневник. 22 августа 1901 г.

О женщинах он <Толстой> говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый…

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить

его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь.

М. Горький. Лев Толстой

Великий знаток женской души, психолог-атомист, интеллигентнейший друг русской женщины, Антон Павлович Чехов в жизни многим казался грубым в своих личных откровенно-материальных взглядах на женщину. Многим — Аркадиям Николаевичам Кирсановым, любителям говорить красиво. Действительно, сам Чехов по этой части иногда произносил слова весьма резкие и совершенно лишенные «условных лжей». Медик и физиолог, внук Базарова, сидел в нем крепко и не допускал самообманов. Человек вполне достоверный, личный и литературный друг А. П. Чехова рассказывал мне, что однажды в его присутствии, когда несчастный муж жаловался Антону Павловичу на ссоры свои с женою и спрашивал совета, как спасти готовый рухнуть брак, Чехов долго и участливо допрашивал этого горемыку обо всех тайных подробностях его супружеской жизни, а потом, присев к столу, написал рецепт какого-то средства, укрепляющего половую энергию:

— Попробуйте-ка вот так! <...>

В письмах Чехова некоторые пропуски указывают по содержанию как будто на то, что в подлиннике тут были пущены в ход цинические выражения. Это меня очень удивляет, потому что я никогда за все 22 года знакомства нашего не слыхал, чтобы Чехов говорил нехорошие слова или вел фривольный разговор на цинические темы. <…> Вообще, «эротомана» и «сладострастника» не было в мещанской крови Чехова ни капли. Он был больной человек, но — здоровая кровь.

А. В. Амфитеатров. Из записной книжки

Два процитированных фрагмента писем Суворину (благовещенский и московский) и еще несколько подобных мест не попали даже в академическое собрание его сочинений и стали широко известны лишь в 1991 году благодаря публикации А. П. Чудакова. Потом они были растиражированы как сенсация в многочисленных желтых изданиях и интернет-журналах.

И это понятно, ничего сенсационного в других обстоятельствах чеховской жизни даже с лупой обнаружить не удается: он не ссорился с властями, не стрелялся с

друзьями, в его смерти невозможно обвинить ни царскую охранку, ни немецкую разведку. Остается эксплуатировать «любовные похождения».

Отношение советской цензуры к откровенности чеховских эротических описаний напоминало реакцию старой девы, закрывающей «неприличные места» от племянника-подростка ладошкой ломаных скобок и многоточий.

Позднее некоторые исследователи, журналисты и даже сочинители сделались похожими как раз на таких вырвавшихся на свободу, сбежавших от тети-ханжи дикарей, впервые увидевших «это» через дыру в заборе и с каким-то непонятным восторгом, ужимками, хихиканьем кричавших о чеховских любовных подвигах и эротических страстях городу и миру, а попутно лягавших «старорежимных чеховедов», которые скрывали правду о писателе (между тем цензуровали чеховское собрание не исследователи; они как раз долго, но безуспешно боролись за полного Чехова).

Оказывается, большевики прятали от

народа не только подлинную могилу Пушкина (см. довлатовский «Заповедник»), но и настоящего Чехова! Доказывать эту богатую мысль приходится, бесконечно тасуя если не две, то два десятка цитат, скрывая от «народа» как раз все остальное.

То, что Чехов в юности был красив, пользовался большим успехом у женщин, не было секретом уже для его современников (см. приведенные выше фрагменты в разделах «Портрет» и «Женщины»).

Как и то, что он долго решал свои мужские проблемы вне брачных уз.

Как и то, что, как профессиональный врач, он сдавал экзамены по акушерству и гинекологии, а позднее, в отличие от некоторых своих исследователей, получающих консультации у специалистов, имел дело с женскими болезнями.

Но, даже обсуждая эротические темы среди своих, в частной переписке, не рассчитанной на посторонний взгляд, Чехов остается верен кодексу порядочного человека. Он никогда не называет имен женщин из своего круга, с которыми

имел отношения. Визит к профессиональной гейше или общее физиологическое рассуждение – другое дело.

Но и здесь он остается художником, находя стилистическую нишу между откровенным похабством и перифрастической невнятицей. Его этнографическо-эротическое описание точно, но не пошло. Это материал для литературных наблюдений, а не биографических разоблачений.

Тем же, кто смотрит на чужую жизнь через щель в заборе, приходится неизбежно выдавать часть за целое; претендуя на раскрытие голой правды, постоянно прибегать к домыслам и догадкам.

Лика

У нашей сестры Марии Павловны была подруга Лидия Стахиевна Мизинова, очаровательная девушка, которую сестра в шутку представляла так: «Подруга моих братьев и моя». И действительно, эта Лидия Стахиевна, или, как все мы ее звали, Лика, была нашим лучшим другом. Я не скажу, чтобы кто-нибудь из нас, братьев, пылал к ней, но нам было с нею весело, и мы без нее скучали. Она обладала необыкновенным даром понимать шутки и отвечать на них еще более острыми и более удачными шутками. Она никогда не хныкала, не жаловалась и всегда была весела, хотя мы и знали отлично, как иногда тяжело ей приходилось в жизни. Когда она приезжала к нам, то у нас все оживало, и даже отец наш Павел Егорович подсаживал ее к себе и угощал настоечкой из березовых почек.

М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах

Лика была девушка необыкновенной красоты. Настоящая Царевна Лебедь из русских сказок. Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под «соболиными» бровями, необычайная

женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием ломанья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

28 июнь, 4 часа утра.

Снится ли Вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? Продолжаете ли Вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать ей? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от Ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который Вы уже забросили мне на шею.

Воображаю, как злорадно торжествуете и как демонски хохочете Вы, читая эти строки… Ах, я, кажется, пишу глупости. Порвите это письмо. Из-

вините, что письмо так неразборчиво написано, и не показывайте его никому. Ах, ах!

Мне Басов писал, что Вы опять стали курить. Это подло, Лика. Презираю Ваш характер.

Каждый день идут дождики, но земля все-таки сухая.

Ну, до свиданья, кукуруза души моей. Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас. Пишите мне о Ваших успехах. Будьте благополучны и не забывайте побежденного Вами Царя Мидийского.

Чехов — Л. С. Мизиновой, 28 июня 1892 г. Мелихово

Не знаю, как понимать то, что Вы по две недели не желаете отвечать на мои письма, — просто ли Вашей ленью писать письма или желанием дать мне понять, что я слишком часто пишу? Во всяком случае, не обращаю внимания на это и пишу, потому что хочется. Ах! Антон Павлович, не знаю, как и приступить к тому, что должна написать Вам, так боюсь, что это слишком тяжело Вам будет! Простите меня, забудьте меня и возвратите мне мои письма! Дело в том, что я ездила к дяде на именины и участвовала в живых картинах, и вот наш сосед (72 лет) сделал мне предложение. Итак,

я невеста! Долго боролась я между любовью к Вам и благоразумием — наконец последнее победило. Во-первых, у него винный завод, во-вторых, он стар и толст ужасно, а главное тщеславие — стать винной заводчицей! Вы, вероятно, меня похвалите. День свадьбы еще не назначен; зависит это от того, когда Вы можете приехать, потому что такой важный шаг в жизни я не могу сделать без Вас. Ах, дядя, не любите только никого больше, а то это мне было бы слишком больно. Я, должно быть, заразилась у Вас благоразумием и осторожностью, и вот что из этого вышло. Только пока — это тайна! Скучно живется! Жара страшная. Я пью во́ды и скоро превращусь в щепку от них; впрочем, говорят, что когда кончу их пить, то опять поправлюсь. Где Маша? Не вздумайте на мои два письма ответить одним — ведь от Вас и это станет. Или уже если ответите одним, то чтобы оно было вдвое длиннее. В августе, может быть, поеду в Финляндию, если же не поеду, то после 20 августа буду уже в Москве. Итак, Вы мне писать не хотите? Если Вам жалко бумаги и марок, то я могу Вам послать. Если Вы не хотите, чтобы я писала, то тоже можете объявить прямо. Я тоже перестану зря пачкать бумагу и сыпать бисер! Все-таки в память прежней дружбы пи-

шите чаще, право, это совсем не так трудно! Не будьте эгоистом! Прощайте, полубог мой.

Ваша Л. Мизинова.

А как бы я хотела (если бы могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!

Л. С. Мизинова — Чехову. 13 июля 1892 г. Ржев

Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. Меня обманывает Лика. Это хорошо. Хорошо в том отношении, что я могу теперь, ужиная с приятелями, говорить: «Меня обманывает блондинка»...

Чехов — Л. С. Мизиновой. 28 декабря 1892 г. Петербург

Милая Лика, не пишу Вам, потому что не о чем писать; жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь, как кусаются мухи, — и больше ничего. Приезжайте, милая блондиночка, поговорим, поссоримся, помиримся; мне без Вас скучно, и я дал бы пять рублей за возможность поговорить с Вами хотя бы в продолжение пяти минут. Холеры нет, но есть дизентерия, есть коклюш, есть плохая погода с дождем, с сыростью и с кашлем. Прите к нам, хорошенькая Лика, и спойте. Вечера стали длинные, и нет возле чело-

века, который пожелал бы разогнать мою скуку.

В Петербург я поеду, когда буду иметь право, т. е. после холеры. Вероятно, в октябре уже водворюсь там. Помышляю о постройке в том участке и мечтаю о переселении. Но все это пошло. Не пошла одна только поэзия, которой мне недостает.

Денег! Денег! Будь деньги, я уехал бы в Южную Африку, о которой читаю теперь очень интересные письма. Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель.

У нас поспели огурцы. Бром влюбился в m-elle Мерилиз <жившие в Мелихово собаки>. Живем мирно. Водку уже не пьем и не курим, но почему-то все-таки после ужина всякий раз сильно хочется спать, и в комнате пахнет сигарой. Гладков похудел, князь потолстел. У Вареникова, по его словам, клевер хорошо взялся. Недотепа Иваненко продолжает быть недотепой и наступать на розы, грибы, собачьи хвосты и проч. Будет он служить у Ивана в школе? Что Вам известно на этот счет? Мне его бесконечно жаль, и, если б это было принято и не было бы дурно понято, я подарил бы ему кусок земли и построил бы ему дом. Ведь он уж старик!

Я тоже старик. Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной, и потому я

спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, все это глупо. Простите, Лика, но, право, писать больше не о чем. Мне нужно не писать, а сидеть близко Вас и говорить.

Пойду ужинать.

У нас поспели яблоки. Я сплю по 17 часов в сутки.

Лика, если Вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной. Маша и Миша ездили в Бабкино к Киселевым и разочаровались — это новость. Больше же писать не о чем. Были у нас Потапенко и Сергеенко. Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет.

Будьте здоровы, милая моя Лика, и не забывайте меня. Если Вы увлеклись каким-нибудь Тишей, то все-таки черкните хоть строчку.

Ваш А. Чехов

Чехов — Л. С. Мизиновой. 13 августа 1893 г. Мелихово

Милая Лика, Вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете им меня в каждом письме.

Назовите этим словом Вашу собачку.

Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже Вы не чужды этой слабости, несмотря на Вашу воздушность. Что же касается писанья в свое удовольствие, то Вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и с угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь, как бы мелок он ни казался Вам.

Мне все удается? Да, Лика, все, кроме разве того, что в настоящее время у меня нет ни гроша и что я не вижу Вас. Впрочем, не буду спорить с Вами. Пусть по-вашему. Не могу только не поделиться с Вами, друг мой, изумлением: что это Вам, ни с того ни с сего, вздумалось продернуть меня?

Чехов — Л. С. Мизиновой. 1 сентября 1893 г. Мелихово

Очень часто Потапенко и Лика гостили в Мелихове в одно время. <…>

Я и Лика подружились с Игнатием Николаевичем. Мы стали называться его «сестрами» и перешли на «ты». Он был искренен и трогателен в своих отношениях с нами. <…>

И вот, как это нередко бывает в жизни, одна из «сестер», Лика, начала увлекаться Потапенко. Очень. Может быть, что ей хотелось забыться и освободиться от своего мучительного чувства к

Антону Павловичу. Но у Потапенко была семья: жена и две дочери…

Лика и Потапенко стали встречаться и в Москве. В конце концов, постепенно разрастаясь, их увлечение перешло в роман.

Начался самый драматический этап в жизни Лики — роман с Потапенко. Все это происходило у нас в Мелихове и в Москве в зиму 1893/94 года. В начале марта 1894 года Лика и Игнаша, как мы его звали, решили уехать в Париж. <…>

Дальше происходит тривиальное и вместе с тем трагическое: Лика ждет ребенка. Потапенко ее оставляет.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Вы упорно не отвечаете на мои письма, милая Лика, но я все-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами. Я в Вене. Отсюда поеду в Аббацию, потом на озера. <…> Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я за границей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии. Если узнают, что я за границей, то будут огорчены, ибо мои частые поездки давно уже надоели.

Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как Вас.

Чехов — Л. С. Мизиновой. 18 (30) сентября 1894 г.

Вена

Сегодня получила Ваше письмо из Вены! Обрадовалась ужасно возможности Вас увидеть! Вчера еще послала Вам в Мелихово письмо и рада, что Вы его не получите! Напишите поскорее, когда думаете приехать сюда, если не раздумаете! Предупреждаю, не удивляться ничему. Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте! От нее не осталось и помину! Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне! Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камнем! Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и к их недостаткам и слабостям! Если даже Вы не приедете (что очень возможно, при вашей лени), то все, что я пишу, пусть останется между нами, дядя! Никому, даже Маше, Вы не скажете ничего! Я нахожусь в том состоянии, когда не чувствуешь под собой почвы! И около нет ни души, которая могла бы что-либо посоветовать и беспристрастно отнестись.

Впрочем, никому не интересны чужие горя, и Вы меня простите за то, что я Вам навязываю свое! Может быть, и все не так черно, как мне кажется! <…>

Все время здесь было тепло, а эти дни холодно!

Снег выпал низко на горы. Я живу в 10 минутах ходьбы от Шильонского замка! Как видите, все прекрасно, но меня ничто не веселит! Как это Вы надумали и собрались поехать за границу! Это меня удивляет! Я тоже кашляю беспрерывно! Но теперь уже привыкла!

Л. С. Мизинова — Чехову, 21 сентября (3 октября) 1894 г. Монтрё

Потапенко покинул Лику. 8 ноября 1894 г. в Париже она родила дочь Христину, которая через два года умерла в России.

То, что люди называют хорошими отношениями, по-видимому, не существует, ибо стоит человеку уйти с глаз долой, они забываются! Начинаю с философии, дядя, потому что более, чем когда-нибудь, думаю по этому поводу. Вот уж скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху! Неужели и Вы тоже отвернетесь от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще более располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без Вари я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на Вашем диване, поговорить с Вами 10 минут, поужинать

и вообще представить себе, что всего этого года не существовало, что я никогда не уезжала из России и что вообще всё и все остались по-старому! Впрочем, надеюсь хоть немного все это осуществить, и очень скоро. <…> Вообще жизнь не стоит ни гроша! И я теперь никогда не скажу, как Мусина-Пушкина: «Ах, как прекрасна жизнь!»

Скоро у меня будет чахотка, так говорят все, кто меня видит! Перед концом, если хотите, завещаю Вам свой дневник, из которого Вы можете заимствовать многое для юмористического рассказа.

Л. С. Мизинова — Чехову. 15 (27) декабря 1894 г. Париж

Видела Гольцева, он мне торжественно объявил, что у него родился незаконный сын — Борис! Он счастлив, по-видимому, что еще может быть отцом только что появившегося младенца! Хотя и ломается немного, говоря, что он уже стар и т. д. Вот бы «некоторым» поучиться! Между прочим, он просил Вам написать, что они очень просят Вас напечатать «Чайку» в декабрьской книжке!

Л. С. Мизинова — Чехову. 25 октября 1896 г. Москва

Вы пишете возмутительные письма в три строчки — это эгоизм и лень отвратительные!

<...> Напишите мне в Москву, когда приедете? Мне надо Вас видеть по делу, и я Вас долго не задержу. Остановиться можете у меня без страха. Я уже потому не позволю себе вольностей, что боюсь убедиться в том, что блаженству не бывать никогда. А так все-таки существует маленькая надежда.

До свиданья. Отвергнутая Вами два раза [Ар.], т. е.

Л. Мизинова.

Вот Вам повод назвать меня лгуньей!

Да, здесь все говорят, что и «Чайка» тоже заимствована из моей жизни, и еще, что Вы хорошо отделали кого-то.

Л. С. Мизинова — Чехову. 1 ноября 1896 г. Покровское

> Зачеркнутое начало слова исследователи читают как «Ариадна», – название чеховского рассказа, с героиней которого Лика, видимо, отождествляла себя. В Ариадне, как и в Душечке, будет узнавать себя и Татьяна Львовна Толстая.

Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя — Ариадна. Оно так шло к

ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства — и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в Бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. <…> Эти необуздан-

ные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов все прощалось и все позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили:

— Дай Бог вам жениться на котловичевой барышне.

И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом.

«Ариадна». 1895

Я на письма всегда отвечаю, и не Вам меня в этом упрекать! А Вы, дядя? не сочли нужным это сделать! Я Вам писала последняя. Но так как Ваше непостоянство мне давно известно, то не очень обиделась на это! Итак, Вы в Крыму, а я сильно рассчитывала повидать Вас здесь, думала, Вы опять поедете куда-нибудь и заедете сюда. Так весной здесь говорили со слов Ковалевского. Я нарочно старалась пожить здесь подольше, чтобы повидать Вас! А то, знаете, я полчаса не застала Вас в Петербурге! Почему-то не воображала, что при Вашей скупости Вы поедете с Nord Express.

Ну что же Вам рассказать бы про себя. С одной стороны, со стороны занятий, мне живется хорошо, но все остальное время погибаю от тоски. Обществом Петруши и Вари насытилась до того, что иногда хочется не видеть их неделю, а этого нельзя. Заграница и Париж не изменили их ни на каплю. Все то же времяпрепровождение, те же разговоры, тот же многоуважаемый Савва Иванович! Больше почти никого не вижу. Была одна русская семья, но уехала. Те хорошие интересные люди, но уже слишком погруженные в политическую экономию и Карла Маркса. О Вас там говорили как о божестве, особенно прочтя «Мою жизнь»! Спрашивали меня, какие Ваши убеждения, но я могла ответить на это мало и не подробно, насчет же того, «марксист» Вы или нет — и ничего не могла сказать! Ну напишите же побольше про себя. Говорят, Вы теперь толще меня. Значит, красивы?

Когда же Ваша свадьба? Мне здесь покоя не дают с этим! И где Ваша невеста? А все-таки гадко с Вашей стороны не сообщить об этом такому старому приятелю, как я.

Л. С. Мизинова — Чехову. 13 (25) сентября 1898 г. Париж

Если бы Вы знали, как я обрадовался Вашему

письму! Вы жестокосердечная, Вы толстая, Вам не понять этой моей радости. Да, я в Ялте и буду жить здесь, пока не выпадет снег. Из Москвы не хотелось уезжать, очень не хотелось, но нужно было уезжать, так как я все еще пребываю в незаконной связи с бациллами — и рассказы о том, будто я пополнел и даже потолстел, это пустая басня. И то, что я женюсь, тоже басня, пущенная в свет Вами. Вы знаете, что я никогда не женюсь без Вашего позволения, Вы в этом уверены, но все же пускаете разные слухи — вероятно, по логике старого охотника, который и сам не стреляет из ружья, и другим не дает, а только ворчит и кряхтит, лежа на печке. Нет, милая Лика, нет! Без Вашего позволения я не женюсь, и, прежде чем жениться, я еще покажу Вам кузькину мать, извините за выражение. Вот приезжайте-ка в Ялту. <…>

У Немировича и Станиславского очень интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я остался еще немного, то потерял бы голову. Чем старше я становлюсь, тем чаще и полнее бьется во мне пульс жизни. Намотайте себе это на ус. Но не бойтесь. Я не стану огорчать «моих друзей» и не осмелюсь на то, на что они осмеливались так успешно.

Еще раз повторяю: Ваше письмо меня очень, очень порадовало, и я боюсь, что Вы не поверите этому и не скоро ответите мне. Клянусь Вам, Лика, что без Вас мне скучно.

Чехов — Л. С. Мизиновой. 21 сентября 1898 г. Ялта

Вы, верно, давно забыли о моем существовании, Антон Павлович, и вот я наконец собралась Вам напомнить о нем. Много раз хотелось писать Вам, да ничего не выходило из этого. Интересного рассказать нечего, а писать так, просто, не хотелось — много писем и без моих Вы получаете — я думаю!

Я все думала, что Вы приедете сюда — захотите посмотреть на свои вещи в Художественном театре и на их исполнителей. Оказывается, что Вы и не собираетесь! Жаль — мне так хотелось бы Вас повидать! Машу почти не вижу! Мы с ней, как она говорит, поменялись ролями — она выезжает и никогда почти не бывает дома — я же нигде не бываю. Вначале бывала часто в Клубе, но потом и там перестала бывать — и там скучно! Смотрела на днях «Чайку»! Говорить о ней самой ничего не буду — всё уже Вам переговорили все! Была я в понедельник, а сегодня суббота, и до сих пор я еще вся под впечатлением ее. Играют все пре-

восходно! Роксанова очень хороша! (Говорят, она совсем иначе играет теперь!) И я не знаю, почему Вы были ею недовольны! Она так трогательна и дает именно ту молодость и свежесть, которая, по-моему, главное в «Чайке»! Может быть, я ничего не понимаю, но на меня она произвела такое хорошее впечатление и я так ревела в театре, как никогда. Вот Станиславский скверен. Впрочем, Вам это все, верно, давно надоело, а я пишу потому, что для меня это еще очень ново! Я в театрах не бываю совсем. Вообще мне кажется, что я живу на свете уже лет сто. И скучно — скучно! <…>

Если напишете, буду страшно рада, хочется о Вас знать, а ни у кого толком ничего не добьешься. Пришлите портрет. Вы ведь обещали мне. Это жульничество! Я Вам прислала из Парижа два, и они украшают я знаю какое помещение, а от Вас не добьешься. Слышите, пришлите. <…>

Ну, прощайте, дайте Вашу лапу и будьте счастливы. Я очень хочу Вас видеть.

Ваша Лика.

Л. С. Мизинова — Чехову. 22 января 1900 г. Москва

Милая Лика, мне писали, что Вы очень пополнели и стали важной, и я никак не ожидал, что Вы вспомните обо мне и напишете. Но Вы вспом-

нили — и большое Вам спасибо за это, касатка. Вы ничего не пишете о Вашем здоровье; очевидно, оно недурно, и я рад. Надеюсь, что и мама Ваша здорова и что все обстоит благополучно. Я почти здоров; бываю болен, но это нечасто — и только потому, что я уже стар, бациллы же здесь ни при чем. И когда я теперь вижу красивую женщину, то старчески улыбаюсь, опустив нижнюю губу, — и больше ничего. <…>

Лика, мне в Ялте очень скучно. Жизнь моя не идет и не течет, а влачится. Не забывайте обо мне, пишите хотя изредка. В письмах, как и в жизни, Вы очень интересная женщина. Крепко жму руку.

Ваш А. Чехов.

Чехов — Л. С. Мизиновой. 29 января 1900 г. Ялта

Это последние письма в десятилетнем эпистолярном романе. Чехову оставалось жить три с половиной года. За это время они, кажется, виделись лишь дважды. Из оборванного сюжета незаметно начал вырастать другой: интересный театр, прекрасные артисточки…

Ты сейчас удивишься: знаешь, кто экзаменовался? Угадай… Лика Мизинова… Читала «Как

хороши, как свежи были розы...» Тургенева, потом Немирович дал ей прочесть монолог Елены из 3-го акта «Дяди Вани» и затем сцену Ирины и Годунова, как видишь, все под меня, с каверзой. Но все прочитанное было пустым местом (между нами), и мне было жаль ее, откровенно говоря. Комиссия единогласно не приняла ее. Санин пожелал ей открыть модное заведение, т. е., конечно, не в лицо.

О. Л. Книппер-Чехова — Чехову. 25 августа 1901 г. Москва

По-моему, Санин влюблен в Лику. Может, я ошибаюсь.

О. Л. Книппер-Чехова — Чехову. 6 марта 1902 г. Петербург

Знаешь — Санин женится на Лике, принимает поздравления уже. Значит, у меня нюх есть. Но ее я не понимаю совершенно. Спрошу его самого сегодня.

О. Л. Книппер-Чехова — Чехову. 7марта 1902 г. Петербург

Лику я давно знаю, она, как бы ни было, хорошая девушка, умная и порядочная. Ей с С<аниным> будет нехорошо, она не полюбит его, а главное — будет не ладить с его сестрой и, вероятно, через

год уже будет иметь широкого младенца, а через полтора года начнет изменять своему супругу. Ну, да это все от судьбы.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 12 марта 1902 г. Ялта

Своих героев понять легче, чем живых людей. Пунктир этой судьбы, как и мотивы отказа сестры от замужества, он не угадал. Брак оказался долгим и счастливым. А. А. Санин, сначала бывший помощником Станиславского, ставил много и удачно, работал в Петербурге и Москве, Лондоне и Париже. Вскоре после революции он занялся кинорежиссурой – и тоже настолько удачно, что в конце двадцатых годов его приглашали поставить в Москве «Войну и мир». Но вместо этого его ждала психиатрическая лечебница. Забота верной и преданной жены привела к улучшению и возвращению домой. Но теперь заболевает она.

Последний раз Лика мелькнет в парижском воспоминании Бориса Зайцева (а расскажет он об этой случайной встрече, конечно, в чеховской биографии).

В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина.

— Знаете, кто это? — спросила моя знакомая.

— Нет.

— Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.

Б. К. Зайцев. Чехов

По другим, более точным, сведениям Мизинова умерла в 1939 году.

Дорогому Антону Павловичу на добрую память о восьмилетних хороших отношениях. Лика.

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя,
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы

Все для тебя!!!

(Чайковский — Апухтин)

Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада,

Париж, 11 октября 1898 г.

Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет.

Л. С. Мизинова — Чехову. Дарственная надпись на фотографии

Но через десять лет Лика не могла повторить эти слова… Антона Павловича уже не было в живых. Мне на забыть, как в Москве после похорон Антона Павловича Лика, вся в черном, пришла к нам и часа два молча простояла у окна, не отвечая на наши попытки заговорить с ней… Все прошлое, пережитое, должно быть, стояло перед ее глазами.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Лика пережила Чехова на тридцать пять лет. В тридцать девятом ей было шестьдесят девять.

Авилова

Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности, ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много! У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные.

Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни

— Вам надо лечь спать, — сказал Чехов, — вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше... помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы?.. Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно. Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны, и в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки,

мне казалось, что вы еще похорошели и что вы другая, новая, что опять вас надо узнавать и любить еще больше, по-новому. И что еще тяжелее расстаться...

Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку; я — против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом, а лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно.

— Знали вы это?

У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его; изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь не интересна, не гостеприимна и, сверх того, устала и хочу спать.

«Кошмар», — промелькнуло у меня в голове.

— Я вас любил, — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. — Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал и которые меня бросали; что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это?

Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как

мне казалось, с отвращением.

— О, какая холодная рука!

И сейчас же он встал и посмотрел на часы.

— Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Суворины, а вы ложитесь скорей спать. Скорей.

Он что-то искал глазами на столе, на диване.

— Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся.

Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни

Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.

Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.

Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.

Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними.

И. А. Бунин. О Чехове

О «романе» с Авиловой судить трудно, потому что мы знаем о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним неравнодушен, «задет», «влюблен», смотря по темпераменту.

Б. К. Зайцев. Чехов

Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик. Вы пишете о каких-то «странных вещах», которые я будто бы говорил у Лейкина, затем — просите во имя уважения к женщине не говорить о Вас «в этом духе» и, наконец, даже — «за одну эту доверчивость легко обдать грязью»... Что сей сон значит? Я и грязь... Мое достоинство не позволяет мне оправдываться; к тому же обвинения Ваши слишком неясны, чтобы в них можно было разглядеть пункты для самозащиты. Насколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему, не в розницу, а оптом: и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. п. Успокойтесь, бога ради. Если я недостаточно убедителен, то поговорите с Ясинским, который после юбилея

вместе со мною был у Лейкина. Помню, оба мы, я и он, долго говорили о том, какие хорошие люди Вы и Ваша сестра… Мы оба были в юбилейном подпитии, но если бы я был пьян как сапожник или сошел с ума, то и тогда бы не унизился до «этого духа» и «грязи» (поднялась же у Вас рука начертать это словечко!), будучи удержан привычною порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к женщинам. Говорить дурно о Вас, да еще при Лейкине!

Впрочем, бог с Вами. Защищаться от сплетен — это все равно, что просить у жида взаймы: бесполезно. Думайте про меня, как хотите.

У меня только одна вина. Вот она. Когда-то я получил от Вас письмо, в котором Вы делали мне запрос по поводу идеи какого-то нестоящего моего рассказа. Будучи тогда с Вами мало знаком и забыв, что Ваша фамилия по мужу — Авилова, я забросил Ваше письмо, а марку прикарманил — так я поступаю вообще со всеми запросами, а наипаче же с дамскими. Потом же в Петербурге, когда Вы намекнули мне насчет этого письма, мне вспомнилась Ваша подпись, и я почувствовал себя виноватым.

Чехов — Л. А. Авиловой. 19 марта 1892 г. Мелихово

…Поехал в библиотеку Страхова на Плющиху, где остановилась Л. А. Авилова, и пил у нее чай. Она в горе, она десять дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение и звала его в Москву, а он ни сам не приехал и не ответил. Она справилась в редакции «Русской мысли», в имении ли он теперь, а ей сказали, что он уехал в Таганрог, а я сообщил ей, что мне в «Русской мысли» сказали, что он в имении, ждет меня, и завтра я еду к нему. Вот ее и горе. Чехов теперь в деревне, работает, пишет. В Москву ему ехать — терять время, вот он просил в «Русской мысли», чтобы вообще всем его поклонницам (а Авилова из их числа) говорили, что он уехал в Таганрог.

Н. А. Лейкин. Дневник. 9 марта 1895 г. Москва

Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула! Я причинила ему боль. И он не знает, в каком я была состоянии… и какое это было ужасное недоразумение… и как мне тяжело.

Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала: «Повести и рассказы. Соч. Ан. Чехова», а с другой — «Стран. 267, стр. 6 и 7».

Если найти эти строки в книге, то можно было

прочесть: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию «Русской мысли».

Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу.

Л. А. Авилова. Чехов в моей жизни

<Маскарад в театре А. С. Суворина. Январь 1896 г.>

Я подошла к Антону Павловичу.

— Как я рада тебя видеть! — сказала я.

— Ты не знаешь меня, маска, — ответил он и пристально оглядел меня. <…>

— А ты знаешь, кто я? Кто же? Скажи!

Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся.

— Знаешь, скоро пойдет моя пьеса, — не отвечая на вопрос, сообщил он.

— Знаю. «Чайка».

— «Чайка». Ты будешь на первом представлении?

— Буду. Непременно.

— Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна. Не забудь.

Он опять взял мою руку и прижал к себе.

— На что ты мне ответишь?

— На многое. Но следи и запомни.

Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы.

— Это ложа Суворина. Сядем. Чокнемся.

Он стал наливать шампанское.

— Не понимаю! — сказала я. — Ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я? <…>

Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Вероятно, выпитое шампанское не прошло даром. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо.

— Я тебя любила, — сказала я ему. — Тебя, тебя…

— Ты интригуешь, маска, — сказал он. — И ты противоречишь себе: ты только что сказала «не знаю».

— Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не

веришь мне? Дорогой мой! ненаглядный!

Он откинул прядку волос со лба и поднял глаза к потолку.

— Ты мне не веришь? Ответь мне.

— Я не знаю тебя, маска.

— Если не знаешь, то все-таки принимаешь меня за кого-то. Ты сказал, что ответишь мне со сцены.

— Сказал на всякий случай. Если ты не та, кому я хотел сказать, это значения не имеет. Тогда ты не поймешь.

— А кому ты хотел сказать?

Он улыбнулся:

— Тебе!

— Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь?!

— Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь.

Л. А. Авилова. Чехов в моей жизни

Пьеса с треском проваливалась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!

А про ответ со сцены Антон Павлович, очевидно, пошутил. Сказал на всякий случай неизвестно

кому.

Но вот… вышла Нина, чтобы проститься с Тригориным. Она протянула ему медальон и объяснила: «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги».

«Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон.

Нина ушла… а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел: «Страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину:

— Есть мои книги в этом доме?

И уже с книгой в руках он повторил: «Страница 121, строки 11 и 12». А когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное: я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось как бешеное. Но я не пропустила и не забыла: страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на

брелоке. Несомненно, это был ответ.

Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне, только мне, а не Яворской и никому другому.

«Тебе!» «Ты!» Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках?

Л. А. Авилова. Чехов в моей жизни

Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило: 121, 11 и 12.

Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит. Найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице 121 и на строках 11 и 12? Ах, скорей бы, скорей!

Наконец чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повозился там, посвистел и прошел через гостиную в спальную.

— Мать! Ты скоро?

— Да, сейчас.

Тогда и я прошла в кабинет; пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руках я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла: «…кие феномены. Но

что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»

В полном недоумении я опять пересчитала строки. Нет, я не ошиблась: «…кие феномены…». <…>

Спать я не могла. И меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатления этого грандиозного провала и мое собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?»

И вдруг точно молния блеснула в моем сознании: я выбрала строки в его книге, а он, возможно, в моей?

Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет, нашла свой томик «Счастливца», и тут, на странице 121, строки 11 и 12, я прочла: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».

Вот это был ответ! Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все он знал.

Ну и что же?

Л. А. Авилова. Чехов в моей жизни

Носит он мой брелок?

Л. А. Авилова. Чехов в моей жизни

Вы спрашиваете насчет жетона. Когда он надоест Вам, то пришлите его по адресу: Лопасня,

Моск. губ.

Чехов — В. Ф. Комиссаржевской. 20 мая 1897 г. Мелихово.

Жетон – и есть тот самый брелок. Чехов отдал его актрисе, игравшей в «Чайке» Нину Заречную.

Я поеду в Крым, потом на Кавказ и, когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду.

Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать. Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так (т. е. писал бы), что, извините за выражение, чертям бы тошно стало.

Это скитальческое существование, да еще в зимнее время — зима за границей отвратительна, — совсем выбило меня из колеи.

Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед.

Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят

только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки.

Погода сквернейшая. Холодно и сыро.

Крепко жму Вам руку. Будьте здоровы и счастливы.

Ваш А. Чехов.

Чехов — Л. А. Авиловой. 30 августа 1898 г. Мелихово

Я передал ему, что Авилова просила передать: «Кланяется старая матушка». Чехов подумал и сказал: «А действительно она на попадью похожа».

Б. А. Лазаревский. Дневник. 3 января 1902 г.

Увы! мне суждено всю жизнь порываться так или иначе и потом долго, иногда годами страдать от стыда, презирать себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь: ничего поправить нельзя! Слова — пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую, захватанную форму и передается людям.

О, даю Вам слово! если я не ошиблась, если в Ваших немногих строках не было сухости и строгости, не было осуждения (или Вы скрыли?) — я заслужила это! Я всегда была очень неловка. Мо-

жет быть, и теперь. Но я знаю, я не буду жалеть об этом письме. Я хочу и могу теперь сказать еще больше: Вам, Антон Павлович, я многим обязана. <…>

Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но это оттого, что я сегодня глупо счастлива. Я уже давно не пишу издерганных писем, я выучилась застегивать на все пуговицы свой нравственный вицмундир. Пять лет. Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла, — сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело! Точно позор. А я, по совести, не чувствую, что заслужила его.

Простите мне, Антон Павлович, всю эту мою непрошеную откровенность. Я ухватилась за случай. Но я не искала его. Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей. И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни. Теперь пора это сказать.

Крепко жму Вашу руку. Благодарю Вас, если я даже ошиблась. И помните, мне дорога была бы не только Ваша дружба (я не смею рассчитывать на нее), но каждое Ваше слово хотя бы снисходи-

тельного участия. Мне не надо, чтобы Вы меня простили, я хочу, чтобы Вы меня поняли.

Ваша Л. Авилова.

Л. А. Авилова — Чехову. Около 10 февраля 1904 г. Петербург

Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике, так как не идут поезда, что-то там сошло с рельсов), руки плохо пишут, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное — будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, — это еще вопрос.

Чехов — Л. А. Авиловой. 14 февраля 1904 г. Москва

Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз…

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу

Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам. У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня «матушка». Я не видела его пять лет.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как безотрадно, как трудно жить. Без этих «чувств, изящных и красивых, как цветы».

Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело.

Л. А. Авилова — М. П. Чеховой, 20 июля 1904 г. Клекотки Тульской губ.

Т. Л. Щепкина-Куперник говорила:

— Вот, я выйду замуж за Мишеньку <М. П. Чехова>, а Антон Павлович женится на Яворской.

Он увлекался ею. С Авиловой у Антона Павловича никакого романа не было. Это была неинтересная женщина с толстыми ногами и тремя детьми. Антон Павлович обладал вкусом и не мог бы увлечься этой женщиной.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948 гг.

И вот сколько лет прошло. Я вся седая, старая… Тяжело жить. Надоело жить. Противно жить. И я уже не живу… Но все больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта — это А. П. И в ней мы оба молоды и мы вместе. В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка.

Л. А. Авилова. Запись на полях рукописи «Чехов в моей жизни»

Дорогая Мария Павловна.

Не сердитесь на меня, что я называю Вас «дорогой». Поверьте, что иного обращения к Вам я в душе своей найти бы не могла.

Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. <…>

Нет, пожалуйста, не сердитесь на меня! Я старая, больная, слабая. Надеюсь, что скоро я умру. И мне так хочется от Вас хотя бы одно ласковое слово!

Ведь и у меня тоже, как у Смагина, всю жизнь была одна любовь. Можно мне Вас поцеловать?

Сердечно любящая Вас

Л. Авилова.

Л. А. Авилова — М. П. Чеховой. 14 апреля 1939 г.

Москва

…Письмо это очень взволновало меня. При очередной моей поездке из Ялты в Москву летом 1939 года я зашла сама к Авиловой на квартиру. Она жила тогда на улице Воровского в доме № 10. Я увидела старую, больную, опустившуюся женщину. На столе лежала груда окурков от папирос.

Свидание наше было грустным и — последним. В 1943 году Лидия Алексеевна умерла.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Почти все окружавшие Чехова женщины оказались долгожительницами. Лидии Алексеевне Авиловой было 79 лет.

Про эту придуманную любовь теперь снимается кино.

«Чайка»

Я приеду <в Петербург>, но, вероятно, не раньше конца ноября, так как дела у меня чертова пропасть. Во-первых, весною я буду строить новую школу в селе, где попечительствую; загодя нужно составить план, сметы, съездить то туда, то сюда и проч. Во-вторых, можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви.

Чехов — А. С. Суворину. 21 октября 1895 г. Мелихово

Пока «Чайка» идет неинтересно. В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злы, мелочны, фальшивы, на улице то весеннее солнце, то туман. Спектакль пройдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное.

Чехов — М. П. Чеховой. 12 октября 1896 г. Петербург

И когда Чехов, никем из актеров не замеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и посидел часа полтора, — то, что происходило на сцене, произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал в виде реплик последние слова из их роли…

Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке: «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить!» — тот с выражением оскорбленной гордости отвечал: «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль…»

Антон Павлович вышел из театра подавленный.

«Ничего не выйдет, — говорил он. — Скучно, неинтересно, никому это не нужно. Актеры не заинтересовались — значит, и публику они не заинтересуют».

У него уже являлась мысль — приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе.

Когда обо всем этом узнала Комиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла вполголоса, — о ней

судить Антон Павлович не мог. Но она больше, чем кто другой, чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной.

На одну из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и, когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским: чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу; без предварительного уговора — общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки.

Все подтянулись и начали играть. У не знающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение.

Когда же вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра.

В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала.

В зале не было публики, но был Чехов; она

играла для него одного и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александрийские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема.

И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций! Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, и если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного.

Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царила какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба.

Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на александрийских. Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занесло снегом, и пришлось идти ощупью, как попало.

Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал

неуспех и сильно нервничал.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Моя «Чайка» идет 17 окт<ября>. Комиссаржевская играет изумительно. Новостей никаких. Жив и здоров. В Мелихове буду около 25 окт<ября> или в конце октября. 29-го земское собрание, на котором мне надо быть, ибо будет разговор о дороге.

Чехов — М. П. Чехову. 15 октября 1896 г. Петербург

Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы.

Началось первое действие.

Очень трудно описать то чувство, с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его ни говорил, я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог: «Люди,

львы, орлы…», я услышала в партере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех, или это был не смех, а ропот, возмущение? Во всяком случае, это было что-то неприятное, враждебное. Но этого не может быть! Чехов так популярен, так любим!

Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое: хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, — хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали: «Символистика…», «Писал бы свои мелкие рассказы…», «За кого он нас принимает?..», «Зазнался, распустился…».

Остановился передо мной Ясинский, весь взъерошенный, задыхающийся.

— Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие…

Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: Чехов… Чехов…

Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но

я и не хотела. В зале стало тихо, все злобствующее, язвительное, злорадно захлебывающееся — все ушло разливать свою желчь на просторе, собираясь в кружки, стараясь перекричать друг друга. Литературно-журналистская братия! Та, которая кланялась ему низко, подобострастно льстила. Им ли было не радоваться, когда неожиданно явился случай лягнуть его побольнее. Слишком быстро и высоко он поднялся, и теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними.

Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я увидала в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было.

И опять упорно, но уже безнадежно я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспомнилось: Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелек тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флигелек, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тогда был Петербург с Александринкой, далеко

был день первого представления, а теперь далеко Мелихово с его покоем и тишиной, и вместо флигелька — переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари. <…>

Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было — значит, он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать, не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть! Но мне казалось, что сейчас, в его тяжелом состоянии, он едва бы узнал меня, прошел бы мимо, даже подосадовал бы, возможно, что я встретилась ему. Он ответил мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятной. Недаром я, как виноватая, боялась его. Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры, и фойе. Ведь я сразу увидала бы по его лицу, нужна ли я ему.

Но я его нигде не встретила, а позже услыхала, как говорили, что Чехов убежал из театра. Об этом шептались, передавая друг другу эту но-

вость. Сбежал!

В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, Комиссаржевская (Нина), вспоминая ту пьесу Треплева, в которой она в первом действии играла Мировую душу, вдруг сдернула с дивана простыню, закуталась в нее и опять начала свой монолог: «Люди, львы, орлы…»

Но едва она успела начать, как весь зал покатился от хохота. И это в самом драматическом, самом трогательном месте пьесы, в той сцене, которая должна бы была вызвать слезы!

Смеялись над простыней, и надо сказать, что Комиссаржевская, желая напомнить свой белый пеплум Мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Ясинский, звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась, а может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы то ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел Треплева, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие

аплодисменты.

Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни

Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что «молодежь» ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель?

Под такими впечатлениями началась «Чайка».

Как была воспринята пьеса по ту сторону рампы, писалось уже много раз очевидцами этого зрелища. Добавляю от себя, что ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александрийского театра и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков «всех» или «автора». Исполнители погрузились во тьму провала. Но всеми было признано, что над ним ярким светом осталась сиять Комиссаржевская, а когда она выходила раскланиваться перед публикой одна, ее принимали восторженно. И если зрители, пришедшие на бенефис комической артистки

вдоволь посмеяться, заодно хохотали над жестом Комиссаржевской с «коленкоровой простыней» (как выразился по этому поводу один из мемуаристов), то в этом артистка неповинна, общее же исполнение «Чайки» не могло способствовать тому, чтобы заставить эту праздную публику радикально изменить настроение.

Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновато, не то с состраданием смотрела на него своими выпуклыми глазами и даже ручками не вертела. Антон Павлович сидел, чуть склонив голову, прядка волос сползла ему на лоб, пенсне криво держалось на переносье… Они молчали. Я тоже молча стала около них. Так прошло несколько секунд. Вдруг Чехов сорвался с места и быстро вышел.

Он уехал не только из театра, но и из Петербурга.

На втором спектакле произошла волшебная перемена: пьесу прекрасно принимали, раздавались многочисленные крики — «автора», вызывали «всех». О восторгах по адресу Комиссаржевской и говорить нечего. Но в общем играли мы «Чайку», конечно, не лучше и во второй раз.

М. М. Читау. Премьера «Чайки»

Неслыханный провал «Чайки». Пьесу ошикали, ни разу не вызвав автора. <…> Одного из лучших наших беллетристов, Чехова, освистали как последнюю бездарность. Публика была какая-то озлобленная, говорила — что это черт знает что такое, скука, декадентство, что это даром смотреть нельзя, а тут деньги берут. Кто-то в партере объявил: «C'est de Meterlink» <Это Метерлинка>. В драматических местах хохотали, все остальное время кашляли до неприличия. Ума, таланта публика в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится. Дайте ей маляра, она поймет. Ее мрачного, безнадежного колорита публика не поняла, а кричала: скучно! Непонятно! Самый треск этого провала на сцене, где всякая дрянь имеет успех, говорит в пользу автора. Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями.

Чехов все время скрывался за кулисами, в уборной у Левкеевой, а после конца вовсе исчез. Суворин тщетно искал его, чтобы успокоить его сестру, которая сидела в ложе. Перед началом он был только нервен, но еще полон надежд. Сам повязывал Надежде <Нине?> голову белым, когда она вышла тенью.

Чествование Левкеевой за 25 лет прошло, как всегда, с речами, подношениями, поцелуями

товарищей и слезами бенефициантки. <…> Освиставши нашего лучшего после Толстого писателя, публика неистово хлопала посредственной актрисе.

С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 17 октября 1896 г.

Сегодня «Чайка» в Александрийском театре. Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, неслушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видал такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала к нам его сестра, спрашивала, где он. Она беспокоилась. Мы поехали в театр, к Потапенко, к Левкеевой (у нее собирались артисты на ужин — пьеса шла в ее бенефис за 25-летнюю службу). Нигде его не было. Он пришел в 2 ч. Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были. «Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление… Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам в театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача». Завтра в 3 ч. хочет ехать. «Пожалуйста, не останавливайте меня, я не могу слушать эти разговоры».

А. С. Суворин. Дневник. 17 октября 1896 г.

Пьеса шлепнулась и провалилась с треском.

В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль: не следует писать пьес.

Тем не менее все-таки я жив, здоров и пребываю в благоутробии.

Ваш папаша А. Чехов.

Чехов — М. П. Чехову, 18 октября 1896 г. Петербург

Сегодня во всех газетах, кроме «Нового времени», торжественно заявляется о провале чеховской «Чайки», прямо торжественно и притом с каким-то особенным злорадством. Точь-в-точь будто поймали волка, который до поимки его задрал всех скотин.

Н. А. Лейкин. Дневник. 18 октября 1896 г.

В Вашем последнем письме (от 18 окт<ября>) Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая диффамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь-честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки и жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою «Чайку»,

волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь… Когда Вы были у меня ночью после спектакля, то ведь Вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от Вас письмо, в котором Вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полною искренностью.

Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой — и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения и не боюсь, что ко мне придут Давыдов и Жан говорить о пьесе. С Вашими поправками я согласен — и благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы.

А. С. Суворин, 22 октября 1896 г. Мелихово

Понедельник, 21,12 ч. ночи.

Сейчас вернулась из театра <после второго представления «Чайки»>. Антон Павлович, голуб-

чик, наша взяла!

Успех полный, единодушный, какой должен был быть и не мог не быть! Как мне хочется сейчас Вас видеть, а еще больше хочется, чтобы Вы были здесь, слышали этот единодушный крик: «Автора!» Ваша, нет, наша «Чайка», т. к. я срослась с ней душой, навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит. «Думайте же о своем призвании и не бойтесь жизни!» Жму Вашу руку.

В. Комиссаржевская.

В. Ф. Комиссаржевская — Чехову. 21 октября 1896 г.

Театр был переполнен. Публика (не бенефисная) с полным вниманием слушала пьесу, «Чайка» имела выдающийся успех, но… было поздно.

Е. П. Карпов. История первого представления «Чайки»…

Получил Ваши два письма насчет «Дяди Вани» — одно в Москве, другое дома. Не так давно получил еще письмо от Кони, который был на «Чайке». Вы и Кони доставили мне письмами немало хороших минут, но все же душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего,

кроме отвращения, и через силу читаю корректуру. Вы опять скажете, что это неумно, глупо, что это самолюбие, гордость и проч. и проч. Знаю, но что же делать? Я рад бы избавиться от глупого чувства, но не могу и не могу. Виновато в этом не то, что моя пьеса провалилась; ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня как с гуся вода. 17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17-го окт<ября> дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья (как, например, Ясинский) — все эти имели странное выражение, ужасно странное… Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а «Неделе» вопрошать: «Что сделал им Чехов», а «Театралу» поместить целую корреспонденцию (95 №) о том, будто бы пишущая братия устроила мне в театре скандал. Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили.

Чехов — А. С. Суворину. 14 декабря 1896 г. Мелихово

МХТ

Настали тревожные дни открытия Художественного театра и первых месяцев его существования.

Дела театра шли плохо. За исключением «Федора Иоанновича», делавшего большие сборы, ничто не привлекало публики. Вся надежда возлагалась на пьесу Гауптмана «Ганнеле», но московский митрополит Владимир нашел ее нецензурной и снял с репертуара театра.

Наше положение стало критическим, тем более что на «Чайку» мы не возлагали материальных надежд.

Однако пришлось ставить ее. Все понимали, что от исхода спектакля зависела судьба театра.

Но этого мало. Прибавилась еще гораздо большая ответственность. Накануне спектакля, по окончании малоудачной генеральной репетиции в театр явилась сестра Антона Павловича — Мария Павловна Чехова.

Она была очень встревожена дурными известиями из Ялты.

Мысль о вторичном неуспехе «Чайки» при тогдашнем положении больного приводила ее в

ужас, и она не могла примириться с тем риском, который мы брали на себя.

Мы тоже испугались и заговорили даже об отмене спектакля, что было равносильно закрытию театра.

Нелегко подписать приговор своему собственному созданию и обречь труппу на голодовку.

А пайщики? что они сказали бы? Наши обязанности по отношению к ним были слишком ясны.

На следующий день, в 8 часов, занавес раздвинулся. Публики было мало.

Как шел первый акт — не знаю. Помню только, что от всех актеров пахло валериановыми каплями. Помню, что мне было страшно сидеть в темноте и спиной к публике во время монолога Заречной и что я незаметно придерживал ногу, которая нервно тряслась.

Казалось, что мы проваливались. Занавес закрылся при гробовом молчании.

Актеры пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике.

Гробовая тишина.

Из кулис тянулись головы мастеров и тоже прислушивались.

Молчание.

Кто-то заплакал. Книппер подавляла истериче-

ское рыдание. Мы молча двинулись за кулисы.

В этот момент публика разразилась стоном и аплодисментами. Бросились давать занавес.

Говорят, что мы стояли на сцене вполоборота к публике, что у нас были страшные лица, что никто не догадался поклониться в сторону залы и что кто-то из нас даже сидел. Очевидно, мы не отдавали себе отчета в происходившем.

В публике успех был огромный, а на сцене была настоящая Пасха. Целовались все, не исключая посторонних, которые ворвались за кулисы. Кто-то валялся в истерике. Многие, и я в том числе, от радости и возбуждения танцевали дикий танец.

В конце вечера публика потребовала посылки телеграммы автору.

С этого вечера между всеми нами и Антоном Павловичем установились почти родственные отношения.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Когда задвинулся занавес по окончании пьесы, после ваших слов: «Уведите куда-нибудь отсюда Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился!» — я был не в себе. И я долгое время в полузабытьи оставался в креслах один, когда потушили огни.

А. И. Урусов — А. Л. Вишневскому. После 17 декабря 1898 г.

Передайте всем: бесконечно и всей душой благодарен. Сижу в Ялте, как Дрейфус на острове Диавола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня здоровым и счастливым. Чехов.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко. 18 декабря 1898 г. Ялта

«Чайку» видел без декораций; судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала навзрыд, а Тригорин (беллетрист) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него «нет своей воли», и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть. Но в общем ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написал.

Чехов — М. Горькому, 9 мая 1899 г. Мелихово

В твоем письме звучит какая-то едва слышная дребезжащая нотка, как в старом колоколе, — это там, где ты пишешь о театре, о том, как тебя утомили мелочи театральной жизни. Ой, не утомляйся, не охладевай! Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре. Этот театр — твоя гордость, и это един-

ственный театр, который я люблю, хотя ни разу еще в нем не был. Если бы я жил в Москве, то постарался бы войти к вам в администрацию, хотя бы в качестве сторожа, чтобы помочь хоть немножко и, если можно, помешать тебе охладеть к сему милому учреждению.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко, 24 ноября 1899 г. Ялта

Чехов стоит исключительно, вероятно, потому, что он и я почти одних лет и в нем выразились все те отдаленные настроения, какие мы оба переживали в годы нашей молодости. Он — как бы талантливый я. Понятно поэтому, что душа у меня так сильно расположена к нему. Я перестаю относительно него быть художественным критиком. И любить его мне не мешают отсутствующие во мне чувства конкуренции. Когда я занят его пьесами, у меня такое чувство, как будто я ставлю свои. Я в нем вижу себя как писателя, но проявившегося с его талантом. Он во мне мог бы видеть себя как режиссера, но с моими сценическим знаниями. Оттого Чехов и идет у нас лучше всех других авторов.

Вл. И. Немирович-Данченко — П. Д. Боборыкину. 6 марта 1901 г. Петербург

…пришло это ужасное, ошеломляющее известие о смерти Антона Павловича — известие, так взбудоражившее меня, что мне кажется, я уже никогда не буду таким, каким был до сих пор…

Вл. И. Немирович-Данченко — М. Горькому. Между 10 и 19 июля 1904 г. Усадьба Нескучное

Когда я ехал на похороны Антона Павловича, я подумал, что надо ставить «Иванова».

Вл. И. Немирович-Данченко — К. С. Станиславскому. 13 июля 1904 г. Усадьба Нескучное

…по-моему же, смерть Чехова обнаружила такую любовь к нему русского общества, о какой мы и не подозревали. Никогда при жизни его не ставили наряду с Пушкиным, Толстым и выше Тургенева, а теперь это почти единодушно. <…>

«Ивановым» можно даже и открывать сезон. Я думаю, что Ольгу Леонардовну надо вызвать в Москву поскорее. И пусть работает. А то сидит на скамеечке в саду и целый день плачет. Натура у нее здоровая, но таким поведением она скоро подорвет ее. Да и сама она скоро начнет рваться к работе.

Вл. И. Немирович-Данченко — К. С. Станиславскому. 25 июля 1904 г. Ялта

А у меня, дорогой Константин Сергеевич, что-то

в последнее время бодрое настроение и взгляд оптимистичнее.

1. Чехова мы потеряли еще с «Вишневым садом». Он не написал бы больше ничего.

Вл. И. Немирович-Данченко — К. С. Станиславскому. После 26 июля 1904 г. Ялта

Деньги

Не завидуй, братец, мне! Писанье, кроме дерганья, ничего не дает мне. 100 руб., к<ото>рые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что-либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil <ничего, нуль>. В семью ухлопывается больше 50. Не с чем в Воскресенск ехать. У Николки денег тоже чертма. Утешаюсь по крайней мере тем, что за спиной кредиторов нет. За апрель я получил от Лейкина 70 руб., и теперь только 13-е, а у меня и на извозца нет.

Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну а теперь… на реках Вавилонских седохом и плакахом… Пастухов водил меня ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку. Я заработал бы у него не сто, а 200 в месяц, но, сам видишь, лучше без штанов с голой ж<…> на визит пойти, чем у него работать. «Будильник» я не терплю, и если соглашусь строчить в нем, то не иначе как с болью. Черт с ними! Если бы все журналы были так честны, как «Осколки», то я на лошадях бы ездил. Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию, а андрюшки дмитриевы

возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на литературных вечерах рассказываются мои рассказы, но… лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом, когда и т. д. Черт с ними! Подождем и будем посмотреть, а пока походим в сереньком сюртуке.

Чехов — Ал. П. Чехову. 13 мая 1883 г. Москва

Кстати: высылайте нам гонорар в одном пакете, удобства ради. Ваша контора выслала мне вместо 50,08 к. — 50,80 к. На 72 коп. больше. Присланное не соответствует итогу. Ноль всю бухгалтерию испортил.

Как, однако, исправно Вы гонорар высылаете! Нам, москвичам, это в диковинку. Бывало, я хаживал в «Будильник» за трехрублевкой раз по десяти.

Чехов — Н. А. Лейкину. 5 сентября 1883 г. Москва

Живу я мерзко. Зарабатываю больше любого из ваших поручиков, а нет ни денег, ни порядочных харчей, ни угла, где бы я мог сесть за работу. С Николаем мне не жить, не потому что я этого не хочу, а потому, что он сам не захочет. Он до 70-летнего возраста не расстанется со своими

перинками и портерным образом жизни. В настоящее время денег у меня ни гроша. С замиранием сердца жду 1-го числа, когда получу из Питера. Получу рублей 60 и тотчас же их ухну.

Чехов — И. П. Чехову. Вторая половина октября 1883 г. Москва

Вы советуете мне съездить в Петербург, чтобы переговорить с Худековым, и говорите, что Пет<ер>бург не Китай… Я и сам знаю, что он не Китай, и, как Вам известно, давно уже сознал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублевки, а на поездку, самую некомфортабельную и нищенскую, потребно minimum 50 руб. Где же мне взять эти деньги? Выжимать из семьи я не умею да и не нахожу это возможным… Если я 2 блюда сокращу на одно, то я стану чахнуть от угрызений совести. Раньше я надеялся, что можно будет урвать на поездку из гонорара «Пет<ербургской> газ<еты>», теперь же оказывается, что, начав работать в «П<етербургской> г<азете>», я зарабатываю нисколько не больше прежнего, ибо в оную газету я отдаю все то, что раньше отдавал в «Развлечение», «Буд<ильник>» и пр. Аллаху только известно, как трудно мне

балансировать и как легко мне сорваться и потерять равновесие. Заработай я в будущем м<еся>це 20–30-ю рублями меньше, и, мне кажется, баланс пойдет к черту, я запутаюсь… Денежно я ужасно напуган и, вероятно, в силу этой денежной, совсем не коммерческой, трусости я избегаю займов и авансов… На подъем я не тяжел. Будь у меня деньги, я летал бы по городам и весям без конца.

Чехов — Н. А. Лейкину, 12 или 13 октября 1885 г. Москва

Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все-таки не для денег. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу и потом обрасти новой шерстью.

Чехов — А. С. Суворину. 16 июня 1892 г. Мели-

Первые годы А. П. постоянно нуждался в деньгах, как и все русские писатели, за самыми ничтожными исключениями. Письма А. П-ча, опять-таки как и письма большинства писателей, были в то время полны просьб о высылке денег. Вопрос о гонорарах, кто сколько получает, как платят издатели, занимал много места в наших беседах.

Кстати сказать, в денежных расчетах Антон Павлович был до щепетильности аккуратен. Терпеть не мог должать кому-нибудь, был очень расчетлив, не скуп, но никогда не расточителен; относился к деньгам как к большой необходимости, а с богатыми людьми вел себя так: богатство — это их личное дело, его нисколько не интересует и не может ни в малейшей степени изменять его отношение к ним.

Когда бывал в Монте-Карло, играл, но очень мало и сдержанно, ни разу не зарывался; большею частью был в небольшом выигрыше. В московских клубах никогда не играл.

Очень заботился о том, чтобы после его смерти мать и сестра были обеспечены.

Когда он задумал покупать имение, я его спросил, какая ему охота возиться с этим, — он

сказал:

— Не надо же будет думать ни о квартирной плате, ни о дровах…

Вл. И. Немирович-Данченко. Чехов

А в денежных делах Чехов был деликатен до щепетильности. В эту пору передавал он мне, как один издатель, буквально выпросивший его рассказ и заранее его рекламировавший, вручил ему наконец за него какую-то до смешного ничтожную плату, если не ошибаюсь — 26 р.

— Ведь не могу же я торговаться, — говорил Чехов. — С большой помпой, после всяких похвал, с некоторой даже таинственностью вручили мне грош. А мне надо лечиться, нужны деньги на Мелихово, а я и говорить об этом не могу.

В. Н. Ладыженский. В сумерки. Из воспоминаний об А. П. Чехове

Щепетильность же его в денежных делах была исключительная. Я, конечно, не имею в виду людей близких и тех, кого он признавал своими товарищами. Но там речь могла идти о самых незначительных суммах, которые никого не могли обременить. Тут и у него брали, и он не стеснялся.

Но в отношении к издателям он всегда старал-

ся не быть должником и прибегал к просьбе об авансе в самых исключительных случаях, и то можно сказать, что инициатива в таких случаях принадлежала ему разве в первые годы его литературной деятельности, когда ценителями его таланта являлись редакторы «Осколков», «Будильника» и других аналогичных изданий.

Тогда ему приходилось на четырех страницах искусно подходить к вопросу, чтобы в конце концов попросить авансом пятьдесят рублей для переезда на дачу, со всевозможными гарантиями отработать в такой-то срок и такими-то очерками.

Но позже, когда имя его стало ценностью, авансы предлагались ему со всех сторон, а он, всегда нуждаясь, тем не менее легонько, но все же очень твердо отстранял их.

На аванс он смотрел как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что, взяв аванс и убедившись, что обещанной работы дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромное усилие, чтобы достать денег и поскорее снять с своей шеи петлю и вернуть аванс, чем, конечно, больше всех и несказанно удивлял издателя, который не был приучен к такого рода щепетильности.

Чехов нуждался… Как это странно звучит теперь! Но в те годы в этом не находили ничего странного. Напротив, считалось в порядке вещей, чтобы писатель нуждался, и чуть ли не прямо пропорционально его таланту.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Я не знаю, при каких условиях произошло и чем было вызвано, что Антон Павлович после долгих настойчивых предложений со стороны миллионера, страстного поклонника его таланта, решился взять у него взаймы какую-то сумму (несколько сотен). Может быть, это было перед отъездом за границу. <…>

И вот однажды в Ницце он получил письмо, в котором миллионер извещал его о предстоящем своем приезде. Я в это время был у него в комнате. Он прочитал письмо, положил его на стол и чуть-чуть усмехнулся.

— Никогда не бери взаймы у миллионеров, — сказал он.

— А что? — спросил я.

— Да вот — неосторожность: я взял у этого. За неделю до отъезда из Москвы. В течение недели мы встретились два раза: в первый раз он заехал ко мне в номер на другой день после займа, сидел

час и все время говорил о том, какое это большое удовольствие выручить и поддержать талантливого человека. Мне было стыдно, и я хотел тут же вернуть ему взятые вчера деньги, но побоялся обидеть. Второй раз у Мюра и Мерилиза. Я пошутил: «Вот разменял вашу сторублевку». Он взял меня под руку и отвел в сторону: «Дорогой мой, я так рад… И вы, пожалуйста, не беспокойтесь об отдаче. Когда-нибудь, когда сами будете миллионером…» — и рассмеялся. Тут уж я непременно вернул бы ему деньги, но их не было со мной, да и начаты они были. А вот от него извещение о предстоящем прибытии в Ниццу, адрес гостиницы, где остановится, и приписка о том, что он намерен дружески провести со мною денька два, и если я наслаждаюсь солнцем и чувствую себя хорошо, то он счастлив от сознания, что и он своим скромным участием капельку содействовал этому… Понимаешь? Так это же хуже всяких процентов. И, кроме того, он убежден, что я непременно побегу в гостиницу приветствовать его с благополучным прибытием. Для того и адрес указывает. А я не пойду.

Он замолчал и ходил по комнате, очевидно раздосадованный. Потом сел к столу, взял бумагу и аккуратно оторвал треть полулиста.

— Вот, помогай-ка…

И я помогал, сколько мог. В французском языке мы были оба порядочно слабы. Но кой-как составили телеграмму в контору издательства, где ему были должны или он мог взять авансом, — этого не помню. Чехов просил немедленно перевести ему деньги телеграфом, и как раз ту сумму, которую он был должен миллионеру.

Я знал, что у него было рассчитано до самой Москвы и человек он был аккуратный, и спросил:

— Зачем?

— Да вот как приедет и попросит меня об отдаче не беспокоиться, так я и отдам. Готов держать пари, что так и будет.

Деньги он получил через два дня. Скоро приехал миллионер, но явился к нему только через несколько дней после своего приезда. Может быть, и в самом деле ждал, что Антон Павлович поспешит «приветствовать его с благополучным прибытием».

Я при этом свидании не присутствовал, а пришел вскоре после его ухода. Чехов встретил меня веселым смехом:

— Напрасно ты не держал пари, я выиграл бы. Он таки сказал это: «Вы, пожалуйста, говорит,

дорогой мой Антон Павлович, не подумайте, что я своим приходом хочу напомнить вам» — и прочее. Но как это хорошо, что мне прислали. Вот сейчас мы это и устроим.

Он написал письмо, в котором в самых корректных выражениях благодарил своего заимодавца за оказанную услугу и просил принять уплату долга. А чтобы не обидеть его, он прибавлял, что торопится быть аккуратным плательщиком единственно для того, чтобы иметь право в будущем, в случае надобности, снова воспользоваться его любезностью.

Письмо и деньги были положены в конверт, надписан адрес, приглашен комиссионер, которому и было поручено все это отнести по адресу.

— Он ведь в экипаже — значит, уже дома, так это не будет слишком скоро.

Так кончилась эта история. А миллионер, должно быть, понял, потому что больше не заглянул к нему.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Власть

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже, можно сказать, немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике.

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз, по поводу беспорядков в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты, несомненно, будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист, ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения небунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительное, непреклонно требовательное — ему не сроден был бунт.

С. Я. Елпатьевский. Антон Павлович Чехов

Нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор, который позволил бы составить себе понятие об его отношении к русской действительности. Но по временам это мне все же удавалось. Я вынес из этих бесед убеждение, что Чехов считал и неизбежным, и желательным исчезновение из деревни как дво-

рянина-помещика, так и скупившего его землю по дешевой цене разночинца. Предстоящая рубка «вишневого сада» его не беспокоила. Колупаевы и Разуваевы, изводившие бывшие помещичьи леса и усадьбы, также не вызывали его симпатии. Он желал одного: чтобы земля досталась крестьянам, и не в мирскую, а в личную собственность, чтобы крестьяне жили привольно, в трезвости и материальном довольстве, чтобы в их среде было много школ и правильно поставлена была медицинская помощь.

Чехова мало интересовали вопросы о преимуществе республики или монархии, федеративного устройства и парламентаризма. Но он желал видеть Россию свободной, чуждой всякой национальной вражды, а крестьянство — уравненным в правах с прочими сословиями, призванным к земской деятельности и к представительству в законодательном собрании. Широкая терпимость к различным религиозным толкам, возможность для печати, ничем и никем не стесняемой, оценивать свободно текущие события, свобода сходок, ассоциаций, митингов при полном равенстве всех перед законом и судом — таковы были необходимые условия того лучшего будущего, к которому он сознательно стремился и близкого

наступления которого он ждал.

М. М. Ковалевский. Об А. П. Чехове

Вчера в Красносельском театре в присутствии его величества разыграли мы Вашу милую шутку — «Предложение». <…> Хохот в зале стоял непрерывный. Царь <Александр III> смеялся от души. Вызвали нас два раза — чего не бывает в официально-чинном Красносельском театре. Не успели мы дойти до наших уборных, как за нами прибежали наши режиссеры и царские адъютанты: «Его величество просит артистов на сцену!» Побежали мы, выстроились. Вышел великий князь Владимир, всех нас похвалил и всем троим подал руку. «Подождите, сейчас выйдет из ложи государь. Очень, очень хорошо играли. И какая оригинальная, остроумная вещь…» Вошел на сцену государь, улыбаясь, принявши наши низкие поклоны, спросил, не очень ли мы устали, кричавши и так горячо играя, спросил у меня, шло ли у нас прежде «Предложение» и чье это; я отвечал, что идет оно у нас в первый раз; что пьеса Чехова. Государь спросил, что еще писал для сцены Чехов. «Иванов», — ответили многие голоса. Государь не сразу понял. Я дополнил: комедию «Иванов», ваше величество. Потехин напомнил: «Медведя». — «Ах да! „Иванов“, „Мед-

ведь“ — этого мне не удалось видеть — жаль!» Затем, еще раз похваливши нас, государь благодарил всех и сделал общий поклон, после которого и мы, низко откланявшись, отошли, как и он от нас. Общие поздравления «с успехом» загудели со всех сторон, и мы пошли переодеваться.

П. М. Свободин — Чехову, 10 августа 1889 г. Петербург

Мне пишут, что в «Предложении», которое ставилось в Красном Селе, Свободин был бесподобен; он и Варламов из плохой пьесёнки сделали нечто такое, что побудило даже царя сказать комплимент по моему адресу. Жду Станислава и производства в члены Государственного совета.

Чехов — И. Л. Леонтьеву-Щеглову, 29 августа 1889 г. Сумы

Говорить теперь о лености, пьянстве и т. п. так же странно и нетактично, как учить человека уму-разуму в то время, когда его рвет или когда он в тифе. Сытость, как и всякая сила, всегда содержит в себе некоторую долю наглости, и эта доля выражается прежде всего в том, что сытый учит голодного. Если во время серьезного горя бывает противно утешение, то как должна действовать мораль и какою глупою, оскорбительною должна

казаться эта мораль. По-ихнему, на ком 15 рублей недоимки, тот уж и пустельга, тому и пить нельзя, а сосчитали бы они, сколько недоимки на государствах, на первых министрах, сколько должны все предводители дворянства и архиереи, взятые вместе. Что должна гвардия! Про это только портные знают.

Чехов — А. С. Суворину. 20 октября 1891 г. Москва

Цель романа <Г. Сенкевича «Семья Полонецких»>: убаюкать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби спорт — и твое дело в шляпе и на том, и на этом свете. Буржуазия очень любит так называемые «положительные» типы и романы с благополучными концами, так как они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать, и невинность соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым.

Чехов — А. С. Суворину. 13 апреля 1895 г. Мелихово

Морозов и Чехов, при всем их обоюдном старании казаться друзьями, были, в сущности, людьми друг другу чужими. Интеллигент, писатель — Чехов плохо сочетался с капиталистом

Саввой Морозовым. Это различие особенно ясно сказывалось, когда они были вместе на людях. При этом всегда выходило как-то так, что центром внимания окружающих оказывался неизменно не Чехов, а Савва… Морозовские ситцы имели в ту пору более широкое распространение, нежели рассказы Чехова. Обаяние морозовских миллионов действовало на обывателя сильнее писательской популярности Чехова.

Савва понимал всю незаслуженность такого предпочтения, это его смущало, и, чтобы выйти из неприятного положения, он всячески старался в таких случаях выдвинуть Чехова вместо себя на первое место.

Чехов воспринимал это как ненужное заступничество. Его самолюбие страдало, хотя он тщательно это скрывал. Но иногда его скрытая неприязнь к Морозову все-таки прорывалась наружу.

Как-то раз, вернувшись из приемного покоя, куда он ходил смотреть, как лечат больных, Чехов, намыливая над умывальником руки, угрюмо проворчал, намекая на Морозова:

— Богатый купец… театры строит… с революцией заигрывает… а в аптеке нет йоду и фельдшер — пьяница, весь спирт из банок выпил и ревма-

тизм лечит касторкой… Все они на одну стать — эти наши российские Рокфеллеры.

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до 2000 человек. Трупы возили целый день, и народ сопровождал их. <…>

Сегодня как раз обед старшин в Петровском дворце. Гибель тысячей едва ли прибавит им аппетита. Несколько трупов привезли в часть, расположенную на Тверской площади, против дворца генерал-губернатора. В Москве, по крайней мере, все просто делается: передавят, побьют и спокойно развозят при дневном свете по частям. Сколько слез сегодня прольется в Москве и в деревнях. 2000 человек — ведь это битва редкая столько жертв уносит. В прошлое царствование такого не было. Дни коронации стояли серенькие, спокойные. И царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверно. Кто сгорит в нем и что сгорит? Вот вопрос! А сгорит наверное, многое и многое вырастет. Ах, как надо спокойного роста!..

Многие хотели, чтоб государь не ездил на бал французского посольства, то есть, иными словами, чтобы посольство отложило свой бал ввиду

этого несчастия. Кривенко советовал это Воронцову-Дашкову и говорил: «Франция приобрела тотчас бы популярность, если бы отложила этот бал». Командир кавалергардов Шипов говорил: «Стоит откладывать бал из-за таких пустяков. Это всегда бывает при коронациях».

А. С. Суворин. Дневник. 18 мая 1896 г.

На Ваганьковском кладбище трупы лежали в гробах и без гробов. Все это было раздуто, черно, и смрад был такой, что делалось дурно родственникам, которые пришли отыскивать своих детей и родных. Одна женщина сказала мне: «Я узнала брата только по лбу».

Во время коронации у Набокова, который нес корону, сделался понос, и он напустил в штаны. <…>

Если когда можно было сказать: «Цезарь, мертвые тебя приветствуют», это именно вчера, когда государь явился на народное гулянье. На площади кричали ему «ура», пели «Боже, царя храни», а в нескольких стах саженей лежали сотнями еще не убранные трупы.

А. С. Суворин. Дневник. 19 мая 1896 г.

1-го июня был на Ваганьковском кладбище и видел там могилы погибших на Ходынке.

Чехов. <Дневниковые записи>. 1 июня 1896 г.

На Ваганьковском кладбище был с Чеховым неделю спустя после катастрофы. Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты во фрунте, большею частью шестиконечные, сосновые. Рылась длинная яма, и гроба ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставились друг на друга в три ряда.

А. С. Суворин. Дневник. 6 июня 1896 г.

19-го февр. обед в «Континентале» в память великой реформы. Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера, — это значит лгать святому духу.

Чехов. <Дневниковые записи>[illegible] 19 февраля 1897 г.

О студенч<еских> беспорядках здесь, как и везде, много говорят и вопиют, что ничего нет в газетах. Получаются письма из Петербурга, настроение в пользу студентов. Ваши письма о беспорядках не удовлетворили — это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о

беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела. Государство запретило Вам писать, оно запрещает говорить правду, это произвол, а Вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства — и это как-то не укладывается в сознании. Вы говорите о праве государства, но Вы не на точке зрения права. Права и справедливость для государства те же, что и для всякой юридической личности. Если государство неправильно отчуждает у меня кусок земли, то я подаю в суд, и сей последний восстановляет мое право; разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой, разве я в случае насилия с его стороны не могу вопить о нарушенном праве? Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях, в противном же случае оно — жупел, звук пустой, пугающий воображение.

Чехов — А. С. Суворину. 4 марта 1899 г. Ялта

Получаю много писем по поводу студенческой истории — от студентов, от взрослых; даже от Суворина три письма получил. И исключенные студенты ко мне приходили. По-моему, взрослые, т. е. отцы и власть имущие, дали большого маху; они вели себя, как турецкие паши с младотурка-

ми и софтами, и общественное мнение на сей раз весьма красноречиво доказало, что Россия, слава богу, уже не Турция.

Чехов — И. И. Орлову. 18 марта 1899 г. Ялта

Про студентов говорят мало. Недавно я ходил в университет к ректору просить, чтобы приняли студента из другого округа; студенту отказали, и сам я был принят чрезвычайно нелюбезно. Приемная ректора и его кабинет и швейцар напомнили мне сыскное отделение. Я вышел с головной болью.

Чехов — А. С. Суворину. 19 августа 1899 г. Москва

Присутствовал в Художественном театре на представлении пьесы Чехова «Дядя Ваня». Общее впечатление от пьесы получилось самое тяжелое. Невольно приходила в голову мысль, для чего такая пьеса ставится и какой конечный вывод из нее можно сделать. Публика сидит тихо, слушает внимательно, притаив дыхание, и все ждет — что будет. В третьем акте чувствуется сильное напряжение, раздаются два выстрела, — выстрелы все-таки нелепые, особенно второй, когда дядя Ваня среди всех гонится за профессором, как за зайцем, и на виду у всех стреляет в него. В зри-

тельном зале одновременно делается истерика у трех дам, которых мужья (?) тащат на руках по рядам кресел. <…>

Но в чем смысл и настроение «Дяди Вани»? Пьеса эта изображает современную жизнь — жизнь нервных и расстроенных людей. Сам дядя Ваня в конце XIX столетия всю жизнь свою посвящает работе не детям своим, не родителям, не государству, а крайне антипатичному профессору… <…> Таким образом, среди всех этих, по-видимому, умных и хороших людей — дяди Вани, Астрова и Сони, работающих честно и в дружбе, — довольно было появиться глупому профессору и самкежене молодой, чтобы всех сбить с панталыку. Где же сила и мощь России — в ком из них? Чем все это объяснить, силой глупости профессора или слабостью всех других, непонятно.

Вообще, появление таких пьес — большое зло для театра. Если их можно еще писать — то не дай бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век. <…>

На представлении «Дяди Вани» присутствовали великий князь <московский генерал-губернатор Сергей Александрович> с великой княгиней…

А может быть, я по поводу пьесы «Дядя Ваня» ошибаюсь. Может быть, это действительно со-

временная Россия, — ну тогда дело дрянь, такое состояние должно привести к катастрофе.

В. А. Теляковский. Дневник. 22 ноября 1899 г.

…«Дядя Ваня» имеет большой успех.

Я уже, кажется, писал тебе, что когда Серебряков говорит в последнем акте: «Надо, господа, дело делать», зала заметно ухмыляется, что служит к чести нашей залы. Этого тебе Серебряковы никогда не простят. И счастье, что ты, как истинный поэт, свободен и творишь без страха провиниться перед дутыми популярностями… Счастье твое еще в том, что ты не вращаешься постоянно среди всяких «представителей», способных, конечно, задушить всякое свободное проявление благородной мысли.

В предпоследний раз (10-й), в среду, в театре (переполненном) были великий князь с великой княгиней и Победоносцев. Вчера я с Алексеевым <Станиславским> ездили к великому князю благодарить за посещение. Они говорят, что в течение двух дней, за обедом, ужином, чаем, у них во дворце только и говорили что о «Дяде Ване», что эта странная для них действительность произвела на них такое впечатление, что они ни о чем больше не могли думать. Один из адъютантов говорил мне: «Что это за пьеса „Дядя

Ваня“? Великий князь и великая княгиня ни о чем другом не говорят».

Итак, «жульнический» театр (черт знает, как глупо) всколыхнул даже таких господ, которые и сверчка-то отродясь живого не слыхали.

А Победоносцев говорил (по словам великого князя), что он уже много лет не бывал в драматическом театре и ехал неохотно, но тут до того был охвачен и подавлен, что ставит вопрос: что оставляют актеры для семьи, если они так отдают себя сцене?!

Всякий делает свои выводы…

Вл. И. Немирович-Данченко — Чехову. 28 ноября 1899 г. Москва

Присутствовал в Михайловском театре на представлении «Трех сестер» Чехова. В театре были государь император <Николай II>, государыня императрица, великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великие княгини Елизавета Феодоровна, Ксения Александровна и Мария Георгиевна. Спектакль прошел очень хорошо — театр был полон. Прекрасно пьеса разыграна и особенно поставлена, режиссерская часть очень хороша. После спектакля все в царской ложе остались довольны представлением, а государь император, уезжая, сказал мне, чтобы я передал

всем артистам его благодарность и похвалу за прекрасное исполнение пьесы. Сама пьеса произвела, по-видимому, сильное впечатление, и государь сказал, что такую пьесу изредка интересно видеть, но исключительно такой репертуар тяжело выдержать.

В. А. Теляковский. Дневник. 13 марта 1902 г.

Сергей Львович <Толстой> вспоминал о Чехове. Он его видел перед отъездом в Баденвейлер, где тот скончался. Был скелет. Тогда происходили «черносотенные» манифестации в начале войны. Чехов заметил: «Вот к чему приучают людей: будут громить». О царе: «Одни говорят, что он малоумный, другие — что он идиот. Я его видел несколько раз: он просто гвардейский поручик».

Д. П. Маковицкий. Дневник. 4 апреля 1906 г. Ясная Поляна

По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал: «Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он — просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен».

С. Л. Толстой. Очерки былого

Раньше Аутская улица проходила ниже, почти

на уровне чеховского сада. Ворота были там, где сейчас оранжерея, и через них был въезд прямо к дому.

В 1900 году проехала царица, и при подъеме на Цыганскую гору сказала:

— Выровнять.

Вскоре же впадина была засыпана, улица выровнена, и с одной стороны чеховского сада появилась высокая каменная стена.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948

Однажды в Ялте к Антону Павловичу пришел начинающий писатель А. В. Луначарский.

Он сидел почтительно на кончике стула и говорил, слегка наклонив голову на сторону. Кто б мог подумать, что позже это будет народный комиссар, министр.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948

А. П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: «Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного». Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и

лет через десять додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует.

М. Горький — В. А. Поссе. После 14 (27) ноября 1901 г. Олеиз

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия.

И. А. Бунин. Чехов

И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны…

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Сюжет заочных отношений последнего российского императора с одним из своих подданных имеет драматическую развязку. Уже в двадцать первом веке в библиофильском собрании обнаружился подносный экземпляр X тома

собрания сочинений А. Ф. Маркса с золотым обрезом и вензелем Николая II. Под роскошным переплетом – даже не «Дядя Ваня», который предсказывал катастрофу Теляковскому, а «Остров Сахалин». На авантитуле – короткая надпись: «Книга эта приехала из Тобольска в 1922 году». Отрекшийся от престола гражданин Николай Александрович Романов или кто-то из его семьи увез чеховский том с собой, и книга вернулась в Москву уже после екатеринбургской катастрофы. Что чувствовал, что думал Николай, если открывал книгу, скажем, на этой странице?

Дождь, не переставая, стучал по крыше и редко-редко какой-нибудь запоздалый арестант или солдат, шлепая по грязи, проходил мимо… Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулкий, звенящий звук, и после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии: «Ах, боже мой, боже мой!» Рядом с амбаром находилась тюрьма. Уж не каторжные ли лезут ко мне подземным ходом? Но вот порыв ветра, дождь застучал сильнее, где-то зашумели деревья — и

опять глубокий отчаянный вздох: «Ах, боже мой, боже мой!»

Утром выхожу на крыльцо. Небо серое, унылое, идет дождь, грязно. От дверей к дверям торопливо ходит смотритель с ключами.

— Я тебе пропишу такую записку, что потом неделю чесаться будешь! — кричит он. — Я тебе покажу записку!

Эти слова относятся к толпе человек в двадцать каторжных, которые, как можно судить по немногим долетевшим до меня фразам, просятся в больницу. Они оборваны, вымокли на дожде, забрызганы грязью, дрожат; они хотят выразить мимикой, что им в самом деле больно, но на озябших, застывших лицах выходит что-то кривое, лживое, хотя, быть может, они вовсе не лгут. «Ах, боже мой, боже мой!» — вздыхает кто-то из них, и мне кажется, что мой ночной кошмар все еще продолжается. Приходит на ум слово «парии», означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За все время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника да здесь, в Дербинском, в это дождливое, грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой

нельзя уже идти.
«Остров Сахалин», 1895

Россия — страна казенная.
Чехов. Записная книжка

Вера

Прежде всего, материалистическое направление — не школа и не направление в узком газетном смысле; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости. В животных, в дикарях, в московских купцах все высшее, неживотное обусловлено бессознательным инстинктом, все же остальное материалистично в них, и, конечно, не по их воле. Существа высшего порядка, мыслящие люди — материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. По необходимости они могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды, ножи… Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит нет и истины. Быть может, дурно, что г. Сикст <герой обсуждаемого романа П. Бурже «Ученик»>, как может показаться, сует свой нос в чужую область, имеет дерзость изучать внутрен-

него человека, исходя из учения о клеточке? Но чем он виноват, что психические явления поразительно похожи на физические, что не разберешь, где начинаются первые и кончаются вторые? Я думаю, что, когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос: где тут душа? А если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела. <…>

Говорить о вреде и опасности матер<иалистического> направления, а тем паче воевать против него, по меньшей мере преждевременно. У нас нет достаточно данных для состава обвинения. Теорий и предположений много, но фактов нет, и вся наша антипатия не идет дальше фантастического жупела. Жупел противен купчихам, а почему? неизвестно. Попы ссылаются на неверие, разврат и проч. Неверия нет. Во что-нибудь да верят, хотя бы и тот же Сикст. Что же касается разврата, то за утонченных развратников, блудников и пьяниц слывут не Сиксты и не Менделеевы, а поэты, аббаты и особы, исправно посещающие посольские церкви.

Чехов — А. С. Суворину, 7 мая 1889 г. Сумы

У меня болит голова. Если бы в монастыри принимали нерелигиозных людей и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить.

Чехов — А. С. Суворину, 1 декабря 1895 г. Мелихово

Дорогой Михаил Осипович, у меня немножко подгуляли легкие. 20-го марта я поехал в Петербург, но на пути у меня началось кровохарканье, пришлось задержаться в Москве и лечь в клиники на две недели. Доктора определили у меня верхушечный процесс и запретили мне почти все интересное. <…>

Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что

я не понимаю.

Чехов — М. О. Меньшикову. 16 апреля 1897 г. Мелихово

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:

— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.

Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это…

Но так и не доказал.

И. А. Бунин. Чехов

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч <…> — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться

и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

«Палата № 6», 1892

— Все равно умрешь.

— Кто знает? И что значит — умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

«Вишневый сад», 1903

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и все покачивал

головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!»

Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик, — заговорила она, — родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не

мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!

«Архиерей», 1902

Шел он, конечно, просто к Богу.

Б. К. Зайцев. Чехов

Бунин, хорошо Чехова знавший, говорил мне когда-то: «В „Архиерее“ он слил черты одного таврического епископа со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну».

Б. К. Зайцев. Чехов

Скажу только, что в вопросах, которые Вас занимают, важны не забытые слова, не идеализм, а сознание собственной чистоты, т. е. совершенная свобода души Вашей от всяких забытых и незабытых слов, идеализмов и проч. и проч. непонятных слов. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью…

Чехов — В. С. Миролюбову. 17 декабря 1901 г. Ялта

Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, — само по себе, а вся современная культура — сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога — т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает. Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме.

Чехов — С. П. Дягилеву. 30 декабря 1902 г. Ялта

Вы пишете, что в Петербурге разрешено много новых газет. Я получаю только (из нового) «Новый путь»; прочел пока первую книжку и могу сказать только одно: я полагал раньше, что религиозно-философское общество серьезнее и глубже.

Чехов — А. С. Суворину. 14 января 1903 г. Ялта

...как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего.

Чехов — С. П. Дягилеву. 12 июля 1903 г. Ялта

Но он мог часами просиживать в кресле, без газет и без книг, заложив нога на ногу, закинув назад голову, часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он предавался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый. Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском.

Был ли Чехов верующим?

Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру.

Еще недавно человек, хорошо его знавший, рассказывал мне, как раз, во время рыбной ловли, услышав церковный благовест, Чехов обратился к нему со словами: «Вот любовь к этому звону — все, что осталось еще у меня от моей веры».

Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай. Как-то пришлось к разговору, я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его: верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит: «А знаете, четвертое измерение-то, может, окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь...» Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном, всего с несколькими записями, и то не за каждый год, дневнике отметил: «Между „есть Бог“ и „нет Бога“ лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало». Мне почему-то

кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Религии Чехов не любил касаться. Только один раз в Ялте, на берегу моря, у нас как-то завязался разговор о Боге и быстро оборвался. «Я не знаю, — сказал Чехов, — что такое вечность, бесконечность, я себе об этом ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое… Ничего не знаю». Трезвая и честная душа его боялась бреда, боялась внушений, противоречащих опыту, боялась того «раздраженья пленной мысли», которое многие принимают за голос свыше. Но той поэзии, которая сопровождает веру, Чехов не был чужд. Он с теплым чувством вспоминал об обычае в их семье, начиная с 1 сентября, читать ежедневно по вечерам «Жития Святых», и во многих рассказах эта детская начитанность Чехова очень заметна. Звон монастырского колокола на заре вечерней, искры солнца на далеких крестах, умиление бедной человеческой молитвы, тихие восторги сердца и предание себя Высшей Воле — все это было понятно Чехову и, может быть, не

так уж чуждо. Многие места, которые, не имея под руками сочинений Чехова, я не могу цитировать, убеждают в его глубоком постижении народной веры, которая от поэзии жизни неотделима. Да и как, в самом деле, любя Россию, любя народ, любя свою прелестную и верующую по-народному мать, как было Чехову совсем не любить того, во что даже не верилось?

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Болезнь

Вот уже три дня прошло, как у меня ни к селу ни к городу идет кровь горлом. Это кровотечение мешает мне писать, помешает поехать в Питер… Вообще — благодарю, не ожидал! Три дня не видал я белого плевка, а когда помогут мне медикаменты, которыми пичкают меня мои коллеги, сказать не могу. Общее состояние удовлетворительно… Причина сидит, вероятно, в лопнувшем сосудике…

Чехов — Н. А. Лейкину. 10 декабря 1884 г. Москва

Я была у Вас на Сретенке (Вы жили в каком-то переулке, в красном каменном доме наверху). Мы разговаривали в Вашем кабинете, между прочим, Вы мне сказали, что Вы больны и на вопрос мой — чем? — не ответили. Через несколько минут Вы побледнели и вышли из комнаты, а когда вернулись, то на вопрос мой: что с Вами? — ответили: «Вот что» — и показали платок, на котором была кровь. Никогда не забуду этот эпизод.

Е. Я. Политковская — Чехову. 8 января 1902 г. Москва

Сначала о кровохарканье… Впервые я заметил его у себя 3 года тому назад в Окружном суде: продолжалось оно дня 3–4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно… Третьего дня или днем раньше — не помню, я заметил у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет. Каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности. Само по себе кровотечение из легких не серьезно; кровь льется иногда из легких целый день, она хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается — и это чаще всего. Так и знайте на всякий случай: если у кого-нибудь, заведомо не чахоточного, вдруг пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно. Женщина может

потерять безнаказанно половину своей крови, а мужчина немножко менее половины.

Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете — вот моя логика.

Чехов — А. С. Суворину, 14 октября 1888 г. Москва

…кровь текла у него из горла прямо на грудь, и он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. <…> Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. <…> Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.

«Черный монах», 1894

Кашель у меня значительно легче, я загорел и, говорят, пополнел. Но на днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом-князем по аллее, разговариваю — вдруг в груди что-то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бы-

вают перебои сердца — значит, недаром, думаю; быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих. Но вошел к себе в спальню, выпил воды — и очнулся.

Чехов — А. С. Суворину. 21 апреля 1894 г. Мелихово

Насчет Таганрога тоже напишите. Приглашаю Вас в сей город на основании Вашего заявления, что Вам будто бы все равно, куда ни ехать, лишь бы не за границу. А я стал мечтать о том, чтобы опять проехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя одни сутки. Как-то лет 10 назад я занимался спиритизмом и вызванный мною Тургенев ответил мне: «Жизнь твоя близится к закату». И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, как будто наступили заговены. Так бы, кажется, все съел: и степь, и заграницу, и хороший роман… И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил. А может быть, и не предчувствие, а просто жаль, что жизнь течет так однообразно и вяло. Протест души, так сказать.

Чехов — А. С. Суворину. 11 июля 1894 г. Мелихово

В 11-м ч<асу> пришел доктор Оболенский и сказал, что у Чехова в 6 ч<асов> утра пошла опять кровь горлом и он отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле. <…> Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные. Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежит в № 16, на десять №№ выше, чем его «Палата № 6», как заметил Оболенский. Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, что не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому он говорил мне: «Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: „Не поможет. С вешней водой уйду“».

А. С. Суворин. Дневник. 26 марта 1897 г. Москва

Доктора определили верхушечный процесс в легких и предписали мне изменить образ жизни. Первое я понимаю, второе же непонятно, потому что почти невозможно. Велят жить непременно в деревне, но ведь постоянная жизнь в деревне предполагает постоянную возню с мужиками, с животными, стихиями всякого рода, и уберечься

в деревне от хлопот и забот так же трудно, как в аду от ожогов. Но все же буду стараться менять жизнь по мере возможности, и уже через Машу объявил, что прекращаю в деревне медицинскую практику. Это будет для меня и облегчением, и крупным лишением. Бросаю все уездные должности, покупаю халат, буду греться на солнце и много есть. Велят мне есть раз шесть в день и возмущаются, находя, что я ем очень мало. Запрещено много говорить, плавать и проч. и проч.

Кроме легких, все мои органы найдены здоровыми, все органы; что у меня иногда по вечерам бывает импотенция, я скрыл от докторов.

До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, чем имел право пить. Какая жалость!

Автора «Палаты № 6» из палаты № 16 перевели в № 14. Тут просторно, два окна, потапенковское освещение, три стола. Крови выходит немного. После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь.

Чехов — А. С. Суворину. 1 апреля 1897 г. Москва

Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы преинтересный

разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие в кантовском вкусе; полагает, что все мы (люди и животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цели которого для нас составляют тайну. Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы; мое я — моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой — такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю.

Чехов — М. О. Меньшикову. 16 апреля 1897 г. Мелихово

Вы спрашиваете насчет здоровья. Самочувствие у меня прекрасное, наружно (как мне кажется) я здоров совершенно, но вот беда моя — кровохарканья. Кровь идет помалу, но подолгу, и последнее кровотечение, которое продолжается и сегодня, началось недели три назад. Благодаря ему я должен подвергать себя разным лишениям; я не выхожу из дому после 3 час. пополудни, не пью ровно ничего, не ем горячего, не хожу быстро, нигде, кроме улицы, не бываю, одним словом, не живу, а прозябаю. И это меня раздражает, я не в духе, и мне все время кажется, что русские за обе-

дом говорят глупости и пошлости, и я делаю над собою усилие, чтобы не говорить им дерзостей.

Только, ради создателя, никому не говорите про кровохарканья, это между нами. Домой я пишу, что я совершенно здоров, и иначе писать нет смысла, так как я чувствую себя прекрасно, — и если дома узнают, что у меня все еще идет кровь, то возопиют.

Чехов — А. И. Суворинoй. 10 (22) ноября 1897 г. Ницца

Милая Маша, спасибо за письмо с поздравлением, вчера получил. Мне стукнуло уже 38 лет; это немножко много, хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я прожил уже 89 лет.

Чехов — М. П. Чеховой. 16 (28) января 1898 г. Ницца

Когда я вспоминаю о Чехове, мне живо приходит на ум ночь, проведенная с ним в одном поезде по дороге в Рим <30 января 1901 г.>. Нам обоим не спалось. Мы разговорились о своих планах и надеждах. «Мне трудно, — сказал он, — задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка».

М. М. Ковалевский. Об А. П. Чехове

Вчера читал очень интересную лекцию Мечникова «Флора нашего тела» — о том, почему мы живем не сотни лет. Очень интересно. Наши правнуки будут жить по 200 лет, а в 70–80 лет будут еще молоды.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 1 сентября 1901 г. Ялта

Тем обстоятельством, что Чехов был врач, можно в известной степени объяснить и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все самое неблагоприятное, что знают про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, опять-таки стараясь обосновать свое отношение медицинскими соображениями.

Я уже упоминал о том, что в самое первое время нашего знакомства Чехов про болезнь свою не говорил. В конце ноября 1898 года рано утром мне принесли от него записку, в которой он просил зайти, захватив с собой «стетоскопчик и ларингоскопчик», так как у него кровохарканье, — и я действительно застал его с порядочным кровотечением. Ларингоскоп тут был ни при чем,

потому что не могло быть никакого сомнения, что это настоящее легочное кровотечение. Когда через несколько дней я мог его детально исследовать, то я был поражен найденным. В этот первый наш медицинский разговор Чехов начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него в дороге появилось будто бы первое кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно было уже в 1884 году и потом довольно нередко повторялось. И с студенческих лет он много кашлял, весною и осенью плохо себя чувствовал и нередко лихорадил, но объяснял это инфлуэнцой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Объяснял кровохарканье горлом, а кашель — простой простудой, хотя, по его собственным словам, временами превращался в стрекозиные мощи. И еще в 1888 году он наставительно, как врач, пишет Суворину, что «чахотка, или иное серьезное легочное страдание, узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно этой совокупности-то и нет». И даже, несмотря на кровохаркания, единственный симптом, производивший на него впечатление, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве», и даже после смерти брата Николая от

скоротечной чахотки в 1889 году он еще заявляет, что «ни за что выслушивать себя не позволит», и только хлынувшая весной 1897 года в необычно большом количестве кровь и вмешательство друзей заставили его лечь в клинику профессора Остроумова. С того времени, очевидно, процесс неуклонно прогрессировал. И я при первом исследовании уже нашел распространенное поражение в обоих легких, особенно в правом, с несколькими кавернами, следы плевритов, значительно ослабленную, перерожденную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Мои тогдашние попытки убедить Чехова в необходимости серьезно лечиться не привели ни к чему. Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье — внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, монотонно, останавливаясь при чувстве раздражения гортани, чтобы удержать кашель, а если уже приходилось кашлять, то мокрота отплевывалась в маленький, заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же где-нибудь лежавший за книгами на столе и

отправляемый потом в камин. Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное. Только с 1901 года он перешел на положение настоящего пациента и сам уж часто предлагал: «Давайте послушаемтесь». Но и тут заставить его лечь, вообще заняться лечением, главным образом и прежде всего, было нельзя. И не только с посторонними он не любил говорить о своей болезни, но и от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался; на вопрос: «Как себя чувствуешь?» — отвечал: «сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель», или «голова болит», или что-нибудь в этом роде. К несчастью, процесс уже находился в той стадии, когда на выздоровление не могло быть никакой надежды, а можно было только стремиться к замедлению темпа болезни или к временному улучшению состояния больного. Увы, и для этого у Чехова обстоятельства сложились крайне неблагоприятно прежде всего в силу окружавшей его обстановки; и как это ни странно, но он был лишен ухода и некоторых необходимых для лечения условий. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружал ее

трогательной заботливостью, и последние слова в его завещании сестре были: «Береги маму». И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же нежностью. Но что могла сделать эта милая, всеми любимая старушка? Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять? И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему совершенно неподходящую, и компресс ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его, Мария Павловна, когда выяснилось положение, была готова бросить службу и Москву и совсем переехать в Ялту, но после его женитьбы по психологически понятным причинам это отпало. Антон Павлович повенчался с Ольгой Леонардовной Книппер в мае 1901 года, как известно никого не предупредив. С этого времени и условия его жизни резко изменились.

Как врач, лечивший Чехова, и исключительно с врачебной точки зрения, я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья. Одному известному французскому специалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: «Чахоточные должны забыть о лаврах», и судьба

Чехова как будто этот афоризм подтверждает. Его несчастьем стало счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: Художественный театр и женитьба.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

А себя он не лечил вовсе. Странно, непостижимо относился он к своему здоровью. Жизнь любил он каждой каплей своей крови и страстно хотел жить, а о здоровье своем почти не заботился.

Знал ли он о своем недуге? Может быть, сомневался, может быть, у него была надежда, что его нет, но мысль о нем допускал и иногда, кашляя и считая причиной бронхит, как бы полушутя произносил это слово: «чахотка»...

Да, слово это всегда было у него на уме, как будто он считал себя присужденным рано или поздно сделаться жертвой этой болезни, но находил, что время для этого еще не наступило.

И это равнодушие к своему здоровью меня поражало. Он и бронхита своего почти не лечил и не остерегался.

Вообще по отношению к болезням он проявлял какое-то ложное мужество. Он как будто стыдился слишком много заниматься ими, считал это малодушием.

Бывают люди мнительные, которые малейшую

перемену в состоянии здоровья, даже в настроении, принимают за болезнь, а всякий прыщик — за сибирскую язву или рак, и всегда они в страхе за свою жизнь и всегда от всего лечатся.

Он был противоположностью. Он не хотел признавать даже совершенно явных врагов, и они, в виде туберкулеза, геморроя и еще других, сосали его кровь и незаметно подтачивали его организм. Я, например, никогда не слышал от него, чтобы он советовался с каким-нибудь профессором о своем здоровье.

Правда, что материальное положение не давало ему возможности свободно располагать своим временем и выбирать место. Обладая огромным талантом изумительной красоты — талантом, равный которому с тех пор не появился, несмотря на богатый прилив в нашей литературе свежих дарований, и не скоро, должно быть, появится, — он не мог и мечтать о таких колоссальных заработках, какие, слава богу, позже выпадали на долю некоторых других писателей.

И. Н. Потапенко. Несколько лет с А. П. Чеховым

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о

последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье: «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом…», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше…», «Здоровье мое неважно… пишу понемногу…».

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было — кровь шла», — скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

— А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему

на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

— Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

Меня разбудило ощущение близкой опасности. Я открыл глаза.

Комната была полна белым ослепительным сиянием, которое мгновенно исчезло, чтобы через секунду вновь появиться. Вокруг дома свирепствовала буря. Озверевшие серые огромные тучи лезли друг на друга, изрыгая огонь и грохот. Березы в саду, согнувшись, выли от боли, поражаемые косым дождем, который от молний казался стеклянным. От вихря и грома дом так сильно дрожал, что за вздувшимися обоями осыпалась штукатурка.

И вдруг сквозь грохот разрушавшегося неба я услышал протяжный, мычащий стон…

Ухо, приложенное к стене, за которой был Чехов, подтвердило мою догадку… Стон повторился — мучительный, почти нечеловеческий, оборвавшийся не то рвотой, не то рыданьем.

Мне показалось, что Чехов умирает и что если он умрет, то это по моей вине. Себя не помня, как

был, в одной рубашке и босиком, я бросился через столовую к комнате Чехова. У дверей я еще раз прислушался, стуча зубами.

Как это часто бывает в минуты ее наивысшего напряжения, гроза вдруг на мгновение остановилась. В доме стало тихо и страшно… И в этой тишине явственно были слышны сдавленные стоны, кашель и какое-то бульканье.

Я распахнул дверь и шепотом окликнул Чехова:

— Антон Павлович!

На тумбочке у кровати догорала оплывшая свеча. Чехов лежал на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившись и вытянув за край кровати длинную с кадыком шею. Все его тело содрогалось от кашля… И от каждого толчка из его широко открытого рта в синюю эмалированную плевательницу, как жидкость из опрокинутой вертикально бутылки, выхаркивалась кровь…

За шумом начавшейся опять грозы Чехов меня не заметил. Я еще раз назвал его по имени.

Чехов отвалился навзничь, на подушки, и, обтирая платком окровавленные усы и бороду, медленно в темноте нащупывал меня взглядом.

И тут я в желтом стеариновом свете огарка впервые увидел его глаза без пенсне. Они были

большие и беспомощные, как у ребенка, с желтоватыми от желчи белками, подернутые влагой слез…

Он тихо, с трудом проговорил:

— Я мешаю… вам спать… простите… голубчик…

Ослепительный взмах за окном, и сейчас же за ним страшный удар по железной крыше заглушил его слова.

Я видел только, как под слипшимися от крови усами беззвучно шевелились его губы…

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Еще одна встреча с А. П., оставившая в моей памяти глубокий след, относится к 16 декабря 1903 года. Сообщаю о ней выпиской из моего дневника: «Хоронили Алтухова, еще один товарищ-однокурсник доработался. На отпевании в университетской церкви меня взял за локоть Чехов. Я не знал, что он здесь, но очень ему обрадовался. Он очень изменился за последние полгода: похудел, пожелтел, и лицо покрылось множеством мелких морщин. И все-таки какое у него всегда доброе, славное и молодое лицо. Удивленно, с доброй, мечтательной улыбкой глядя вдаль из-под пенсне, он нежным баском подпевал хору.

До окончания службы, уставши, он предложил ехать ко мне отдохнуть и подкрепиться, чтобы затем ехать на кладбище; я, конечно, согласился и повез его к себе… М<ария> С<ергеевна> захотела снять нас вдвоем; Чехов сказал, что он с радостью будет позировать — он к этому привык, — при этом шутил на тему о том, кто из нас двоих раньше последует за Алтуховым… Мы долго ждали у входа на кладбище, так как гроб несли на руках. Сильна, однако, меланхоличная нотка у Чехова. Он любит, как говорит, кладбище, особенно зимой, как сегодня, когда могил почти не видно из-под глубокого пушистого снега.

Погребальное шествие подходило к воротам кладбища, а его конец терялся во мглистой дали зимних сумерек; над головами толпы молодежи качался гроб; впереди несли венки, и первым — венок из свежих цветов «от учеников»; его высоко держали студент и курсистка с гордо поднятыми головами, с решительным, хотя и грустным взором. Невольно вырвалось: «Какой простор!» — «Вот они, те, — сказал Чехов, — которые хоронят старое и вместе с ним вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды…»

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Несколько слов и об отношении А. П. к своей

болезни, которое было удивительно характерным. Как известно, он более десяти лет страдал туберкулезом легких, позднее поразившим и его кишечник; известно также, что туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему. Так, например, в письме от 30/IX 1900 года, когда речь шла, по-видимому, об обострении легочного процесса, он мне пишет: «Здоровье мое сносно, было что-то вроде инфлуэнцы, а теперь ничего, остался только кашель, небольшой».

Или еще 17/VI 1904 года, то есть за две недели до смерти, по приезде в Баденвейлер, он прислал мне открытку, в которой писал: «Я уже выздоровел, осталась только одышка и сильная, вероятно неизлечимая, лень. Очень похудел и отощал. Боли в руках и ногах прошли еще до Варшавы».

Еще более разительно то место его письма — написанного мне за три дня до смерти (28/VI 1904), — где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем… «У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т. е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом. Потерял я всего 15 фунтов весу. Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а летнего платья у меня нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко, по крайней мере на юге…»

Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость (почерк, стиль и пр.), а между тем оценка состояния неверная, раз он, расставшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту.

Г. И. Россолимо. Воспоминания о Чехове

Ялта

Умер отец после мучительной болезни и операции, которая продолжалась долго; и этого не случилось бы, если бы я был дома. Я не допустил бы до омертвения.

Как бы ни было, настроение у меня в последние дни совсем не радостное. А погода великолепная; стоят теплые, совершенно летние дни, и только по утрам бывает прохладно. <…>

Я, вероятно, останусь зимовать в Ялте. За границу не хочется. Да и нельзя уезжать далеко, так как необходимо начертать план дальнейшего существования. На сих днях приедет в Ялту сестра, и мы вместе будем решать, как нам быть. Мать, вероятно, уже не захочет жить в деревне, ей одной там будет страшно. Должно быть, продадим Мелихово и устроимся в Крыму, где будем жить вместе, пока бациллы не покинут меня; так или иначе, но доктора того мнения, что в Крыму придется мне провести еще не одну зиму. Это называется выбиться из колеи.

Чехов — А. С. Суворину, 17 октября 1898 г. Ялта

Тебе надоело уже читать про погоду, но не могу

удержаться, чтобы не написать. Третьего дня подул горячий ветер, вдруг наступило лето, и теперь не могу сказать, как чудесно кругом. Вчера и сегодня я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг. Я посадил 12 черешен, 4 пирамидальных шелковицы, два миндаля и еще кое-что. Деревья хорошие, скоро дадут плоды. И старые деревья начинают распускаться, груша цветет, миндаль тоже цветет розовыми цветами. Птицы, по дороге на север, ночуют здесь в садах и поутру кричат, например дрозды. Вообще очень хорошо, и если бы мамаша была здесь, то она не пожалела бы.

Чехов — М. П. Чеховой. 14 марта 1899 г. Ялта

Видела на набережной Чехова. Сидит сиротой на скамеечке.

С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 30 июля 1899 г. Ялта

На горах снег. Потягивает холодом. Жить теперь в Крыму — это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнет ложиться в 9 час<ов> вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти

некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть.

Чехов — М. П. Чеховой, 11 ноября 1899 г. Ялта

Идет в Ялте снег, сыро, дуют ветры. Но местные старожилы уверяют, что еще будут красные дни.

Одолевают чахоточные бедняки. Если бы я был губернатором, то выслал бы их административным порядком, до такой степени они смущают мое сытое и теплое спокойствие!

Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело. Мы решили строить санаторию, я сочинил воззвание; сочинил, ибо не нахожу другого средства. Если можно, пропагандируйте сие воззвание через нижегородские и самарские газеты, где у Вас есть знакомства и связи. Может быть, пришлют что-нибудь. Третьего дня здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: «Вот эта самая!

Она!» Точно землячку увидел.

Чехов — М. Горькому. 25 ноября 1899 г. Ялта

Я жив, почти здоров. Бываю болен, но не надолго, и в эту зиму меня ни разу не укладывали в постель. И болел я на ходу. Работал больше, чем в прошлом году, и скучал больше. Без России нехорошо, нехорошо во всех смыслах. Живешь тут, точно сидишь в Стрельне, и все эти вечнозеленые растения, кажется, сделаны из жести, и никакой от них радости. И не видишь ничего интересного, так как нет вкуса к местной жизни.

Чехов — В. М. Соболевскому. 19 января 1900 г. Ялта

Мне скучно не в смысле Weltschmerz <мировой скорби>, не в смысле тоски существования, а просто скучно без людей, без музыки, которую я люблю, и без женщин, которых в Ялте нет. Скучно без икры и без кислой капусты.

Чехов — М. Горькому. 15 февраля 1900 г. Ялта

У Антона Павловича был вечно накрытый стол, либо для завтрака, либо для чая. Дом был еще не совсем достроен, а вокруг дома был жиденький садик, который он еще только что рассаживал.

Вид у Антона Павловича был страшно оживленный, преображенный, точно он воскрес из

мертвых. Он напоминал — отлично помню это впечатление, — точно дом, который простоял всю зиму с заколоченными ставнями, закрытыми дверями. И вдруг весной его открыли, и все комнаты засветились, стали улыбаться, искриться светом. Он все время двигался с места на место, держа руки назади, поправляя ежеминутно пенсне. То он на террасе, заполненной новыми книгами и журналами, то с не сползающей с лица улыбкой покажется в саду, то во дворе. Изредка он скрывался у себя в кабинете и, очевидно, там отдыхал.

Приезжали, уезжали. Кончался один завтрак, подавали другой; Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству. <…>

Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об

устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Ах, какая масса сюжетов в моей голове, как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает — в обстановке ли, в здоровье ли. Вышла премия «Нивы» — мои рассказы с портретом, и мне кажется, что это не мои рассказы. Не следовало бы мне в Ялте жить, вот что! Я тут как в Малой Азии.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 23 января 1903 г. Ялта

Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что как литератор должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее — это в главном, а что помельче, то уже слилось в моих глазах в одноцветное, серое поле, ибо уже не вижу, как прежде.

Чехов — В. Л. Кигну (Дедлову). 10 ноября 1903 г. Ялта

В январе 1903 года Чехов сидел на диване, пере-

бирая и сортируя письма за минувший год.

— Идет дождь? — спросил он, здороваясь со мною.

— Нет, теперь перестал.

Антон Павлович подошел к окну, постоял и, оглянувшись, произнес:

— Вот в такую бы погоду застрелиться…

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Построил дом.

Посадил сад.

Не воспитал ребенка, но на его «Каштанке» и «Ваньке» выросли тысячи других детей.

Жизнь удалась (хотя он думал по-другому). Но – кончалась.

Бунин

Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:

— Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:

— Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц… Будем говорить о литературе… <…>

Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей».

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал

пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

— Что такое вы прочли?

— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.

— Вы шутите?

— Ей-богу, нет, Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь.

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».

— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

И. А. Бунин. Чехов

В середине февраля <1901> — как я теперь вижу по письмам — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь — рядом в номере лежала покойница… Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал…

Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я один».

По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветни-

ке, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луке в имении Линтваревых, оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах.

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.

Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской — не помню, кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла, — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое — я изображаю пьяного.

Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он перемарывал рассказ, чуть не заново его писал.

Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, «Ворона».

Сначала Антон Павлович хмурился, но по мере того, как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.

И. А. Бунин. Чехов

В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит Антон Павлович и хохочет, помирает от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу…

И. А. Бунин. Чехов

Шуточное ялтинское пари – кто напишет воспоминания? – выиграл все-таки дворянин. Бунин пережил Чехова почти на полвека. «Он думал: писать ли ему о Чехове еще раз, вернее, „дописать“ ли о нем? А здоровье его все время слабело, он боялся – хватит ли сил? Но тем не менее с большим вниманием он продолжал делать заметки, перечитывать произведения и письма Чехова. <…> В бессонные ночи Иван Алексеевич – в последний год

жизни он почти лишился сна – делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, – вспоминал беседы с Чеховым» (В. Н. Бунина). Подготовленная вдовой писателя книга «О Чехове» с подзаголовком «незаконченная рукопись» вышла через два года после смерти второго участника ялтинского спора в Америке – в Издательстве имени Чехова.

Горький

Вы самоучка? В своих рассказах вы вполне художник, притом интеллигентный по-настоящему. Вам менее всего присуща именно грубость, Вы умны и чувствуете тонко и изящно. Ваши лучшие вещи «В степи» и «На плотах» — писал ли я Вам об этом? Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу. Не думаю, что я ошибаюсь. Единственный недостаток — нет сдержанности, нет грации. Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация. В ваших же затратах чувствуется излишество.

Описания природы художественны; Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п., — такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описаниях природы достигаются только простотой, такими простыми фразами, как «зашло солнце», «стало темно», «по-

шел дождь» и т. д., — и эта простота свойственна Вам в сильной степени, как редко кому из беллетристов.

Чехов — М. Горькому, 3 января 1899 г. Ялта

Какой одинокий человек Чехов и как его плохо понимают. Около него всегда огромное количество поклонников и поклонниц, а на печати у него вырезано: «Одинокому везде пустыня», и это не рисовка.

Он родился немножко рано. Как скверно и мелочно завидуют ему разные собратья по перу, как они его не любят.

М. Горький — Е. П. Пешковой. Вторая половина марта, начало апреля 1899 г.

Не надеюсь, что это письмо найдет Вас. Но все-таки говорю: рад я, что встретился с Вами, страшно рад! Вы, кажется, первый свободный и ничему не поклоняющийся человек, которого я видел. Как это хорошо, что Вы умеете считать литературу первым и главным делом жизни. Я же, чувствуя, что это хорошо, не способен, должно быть, жить, как Вы, — слишком много у меня иных симпатий и антипатий. Я этим огорчен, но не могу помочь себе.

М. Горький — Чехову. 23 апреля 1899 г. Н. Нов-

город

Получил часы и рад черт знает как. Спасибо, Антон Павлович, сердечное спасибо. Мне хочется ходить по улицам и кричать — а знаете ли вы, черти, что мне Чехов часы подарил? Ей-богу! Рад я — горжусь тем, что могу так радоваться — свежо и по-ребячьи.

И я тоже хочу подарить вам что-нибудь, но не знаю что? Найду. Скажите, охотник вы? Т. е. любите охоту с ружьем? Пожалуйста. Скажите.

М. Горький — Чехову. 5 мая 1899 г. Н. Новгород

У Вас плеврит? Если так, то зачем Вы сидите в Нижнем? Зачем? Что Вам нужно в этом Нижнем, кстати сказать? Какая смола приклеила Вас к этому городу? Если Вам, как Вы пишете, нравится Москва, то отчего Вы не живете в Москве? В Москве — театры и проч. и проч., а главное — из Москвы рукой подать за границу, а живя в Нижнем, Вы так и застрянете в Нижнем и дальше Васильсурска не поедете. Вам надо больше видеть, больше знать, шире знать. Воображение у Вас цепкое, ухватистое, но оно у Вас как большая печка, которой не дают достаточно дров. Это чувствуется вообще, да и в отдельности в рассказах; в рассказе Вы даете две-три фигуры,

но эти фигуры стоят особнячком, вне массы; видно, что фигуры сии живут в Вашем воображении, но только фигуры, масса же не схвачена. Исключаю из сего Ваши крымские вещи (напр., «Мой спутник»), где, кроме фигур, чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом — все. Видите, сколько я наговорил Вам, — и это чтоб Вы не сидели в Нижнем. Вы человек молодой, сильный, выносливый, я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел. Я бы, да я бы — Вы смеетесь, а мне так обидно, что мне уже 40, что у меня одышка и всякая дрянь, мешающая жить свободно. Как бы ни было, будьте добрым человеком и товарищем, не сердитесь, что я в письмах читаю Вам наставления, как протопоп.

Чехов — М. Горькому. 3 февраля 1900 г. Ялта

В Индию я не поеду, хотя очень бы это хорошо. И за границу не поеду. А вот пешечком по России собираюсь с одним приятелем. С конца апреля думаем двинуть себя в южные страны, на Дунай пойдем, к Черному морю и т. д. В Нижнем меня ничто не держит, я одинаково нелепо везде могу устроиться. Поэтому и живу в Нижнем. Впрочем, недавно чуть-чуть не переехал на жительство в

Чернигов. Почему? Знакомых там нет ни души.

Мне ужасно нравится, что Вы в письмах ко мне — «как протопоп», «читаете наставления», — я уже говорил Вам, что это очень хорошо. Вы относитесь ко мне лучше всех «собратий по перу» — это факт. <…>

Знаете — ужасно неприятно читать в Ваших письмах, что Вы скучаете. Вам это, видите ли, совсем не подобает и решительно не нужно. Вы пишете: «Мне уже 40 лет». Вам только еще 40 лет! А между тем какую уйму Вы написали и как написали. Вот оно что! Это ужасно трагично, что все русские люди ценят себя ниже действительной стоимости.

М. Горький — Чехову, 11 или 12 февраля 1900 г. Н. Новгород

Помолчав, он спросил:

— Вам нравятся рассказы Горького?

— Да. Особенно «Старуха Изергиль».

— Он не только писатель, а еще и поэт. Большой поэт… и какой хороший человек, а между тем многие этого не понимают… — добавил Антон Павлович и прошелся взад и вперед.

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Вечером Чехов пригласил меня пить чай на

террасу. Отказаться было невозможно. После первых неуверенных, нащупывающих собеседника фраз о том, какой налить чай — крепкий или слабый, с сахаром или с вареньем, речь зашла о Горьком. Тема была легкая. Я знал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалы автору «Буревестника». Вскоре я просто задыхался от междометий и восклицательных знаков.

— Извините… Я не понимаю… — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Вот вам всем нравятся его «Буревестник» и «Песнь о Соколе»… Я знаю, вы мне скажете — политика! Но какая же это политика? «Вперед без страха и сомненья!» — это еще не политика. А куда вперед — неизвестно?! Если ты зовешь вперед, надо указать цель, дорогу, средства. Одним «безумством храбрых» в политике никогда и ничего еще не делалось. Это не только легкомысленно, это — вредно. Особенно вот для таких петухов, как вы…

От изумления я обжегся глотком чая.

— «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге!.. Вот вы прочитали — «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились

потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так: море — и вдруг смеется?.. Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает… Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит… птички поют… Никто не рыдает и не смеется. А ведь это и есть самое главное — простота…

Длинными пальцами он трогал близлежащие предметы: пепельницу, блюдечко, молочник — и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен… И все персонажи говорят одинаково, на «о»… Романы умели писать только дворяне. Нашему брату — мещанам, разнолюду — роман уже не под силу. Вот скворешники строить, на это мы горазды. Недавно я видел один такой: трехэтажный, двенадцать окошечек и резное крылечко, а над крылечком надпись: трах! тир!.. Парфенон, а не скворешник!.. Чтобы строить роман, необходимо хорошо знать закон симметрии и равновесия масс. Роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель

чувствовал себя в нем свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее. Иногда надо дать читателю отдохнуть и от героя, и от автора. Для этого годится пейзаж, что-нибудь смешное, новая завязка, новые лица… Сколько раз я говорил об этом Горькому, не слушает… Гордый он — а не Горький!..

— …Да не-ет! — отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов. — Вы совсем не то цените в Горьком, что надо. А у него действительно есть прекрасные вещи. «На плотах» — например. Помните? Плывут в тумане… ночью… по Волге… Чудесный рассказ! Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой, это «Тамань» Лермонтова…

А. Серебров (Тихонов). О Чехове

Антон Павлович любил Горького и считал его своим литературным наследником. В знак этих чувств он подарил Горькому великолепные часы. Но когда Горький приходил к Антону Павловичу в Ялте, он чувствовал себя выбитым из колеи. Дело в том, что Горький обычно приводил с собой ораву разных мелкокалиберных писак и стихоплетов. Антону же Павловичу хотелось беседовать с Горьким наедине.

— Зачем он водит ко мне этих людей? — гово-

рил он сестре.

Те дни, в которые приходил Горький, Антон Павлович считал выпавшими. <…> Также Антону Павловичу, человеку порядка, привыкшему садиться за стол всей семьей и в определенный час, мешало, что Горький иногда вдруг перед самым обедом или даже из-за стола выходил на улицу с кем-то беседовать. Антон Павлович в таких случаях не мог есть, обед остывал, и получалось осложнение. Мария Павловна остро это чувствовала и поэтому относилась к Горькому без распростертых объятий.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948 гг.

Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, — требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

М. Горький. А. П. Чехов

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

М. Горький. А. П. Чехов

Жена

Не-ет, нужно жениться! Если Варвара Ивановна не найдет мне невесты, то я обязательно застрелюсь. В выборе невесты пусть она руководится Вашим вкусом, ибо я с 12-го января сего года начал веровать в Ваш вкус. Пора уж и меня забрать в ежовые, как Вас забрали… <…>

Помните? Чижик, новая самоварная труба и пахучее глицериновое мыло — симптомы, по коим узнается квартира женатого…

У меня женится трое приятелей… Ужас, сколько предстоит работы! Работа несносная, ибо в каждом приходе свои свадебные обычаи. Извольте потрафить! Я ведь и у Вас путал…

Чехов — П. Г. Розанову. 14 января 1886 г. Москва

A propos: Святки стоили мне около трехсот… Ну не шальной ли? Не-ет, беда быть семейным! Впрочем, вчера, провожая домой одну барышню, сделал ей предложение… Хочу из огня да в полымя… Благословите жениться.

Чехов — В. В. Билибину. 18 января 1886 г. Москва

Невесту Вашу поблагодарите за память и внимание и скажите ей, что женитьба моя, веро-

ятно, — увы и ах! Цензура не пропускает… Моя она — еврейка. Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие с его последствиями — ладно, не хватит — и не нужно… И к тому же мы уже поссорились… Завтра помиримся, но через неделю опять поссоримся… С досады, что ей мешает религия, она ломает у меня на столе карандаши и фотографии — это характерно… Злючка страшная… Что я с ней разведусь через 1–2 года после свадьбы, это несомненно… Но… finis.

Чехов — В. В. Билибину. 1 февраля 1886 г. Москва

С невестой разошелся до nec plus ultra <крайней степени>. Вчера виделся с ней, поговорил о чертиках (чертики из шерсти у нас в Москве модная мебель), пожаловался ей на безденежье, а она рассказала, что ее брат-жидок нарисовал трехрублевку так идеально, что иллюзия получилась полная: горничная подняла и положила в карман. Вот и все. Больше я Вам не буду о ней писать. Быть может, Вы правы, говоря, что мне рано жениться… Я легкомыслен, несмотря даже на то, что только на один (1) год моложе Вас… Мне до сих пор иногда снится еще гимназия: невыученный урок и боязнь, что учитель вызовет… Стало быть, юн.

Чехов — В. В. Билибину. 11 марта 1886 г. Москва

Денег нет. Кокоша сбежал. Мать и тетка умоляют меня жениться на купеческой дочке. Была сейчас Эфрос. Я озлил ее, сказав, что еврейская молодежь гроша не стоит; обиделась и ушла.

Чехов — М. В. Киселевой. 29 октября 1886 г. Москва

> О ней, первой чеховской невесте, известно очень мало. Дуня, Евдокия Исааковна Эфрос (1861–1943), дочь богатого московского адвоката, вышла замуж за другого адвоката и превратилась в Коновицер, долгие годы была добрым другом чеховской семьи, соседкой по Мелихову, после революции оказалась в Париже, в последние годы жила в доме престарелых и после оккупации Парижа погибла в фашистском концлагере. Ей было восемьдесят два года.

Завидую Вам, добрейший Александр Семенович.

Завидую, что Вы женитесь и что Вы не утонули по уши в суету и не разучились еще писать, как аз многогрешный. Поздравляю Вас, женише, с

поступлением в ряды несчастных, осмеянных Вашими афоризмами, и желаю Вам от души, чтобы Ваш медовый месяц тянулся десятки лет, чтобы теща бывала у Вас не чаще одного раза в год и чтобы дети Ваши не знались ни с музами, ни с нечистыми духами, ни с Н. А. Лейкиным… Если счастливую семейную жизнь с ее чадами, восторгами и ежедневным поломойством можно сочетать с выдающимися литературными успехами, то желаю Вам и сих последних, желаю от души и чистого сердца, ибо Вы, как мне казалось и кажется, имеете все данные для этих успехов.

Если увидите Ежова, то передайте ему мое сердечное поздравление. Вы и Ежов женитесь одновременно — в этом я усматриваю стачку, противозаконную демонстрацию, направленную против моей холостой персоны. По моему мнению, Вы, как младшие литераторы, не имеете никакого права жениться раньше тех, кто старше (я начал писать в 1880 г.), ибо еще в Писании сказано: «Вперед батьки в петлю не суйся». <…>

Когда Вы решитесь написать «субботник»? Пора, уверяю Вас. Я боюсь, чтобы Вы не опоздали. Впрочем, простите… Я забыл, что Вы теперь жених, и пристаю к Вам с прозой. Будьте счастливы, глядите почаще на луну, нюхайте цветы, глубоко

вздыхайте и говорите возвышенным языком — таков удел всех женихов. А мне позвольте пребыть по-прежнему одиноким, старым заржавленным холостяком.

А. Чехов

Я жалею, что я не женат или, по крайней мере, что у меня нет детей.

Чехов — А. С. Лазареву-Грузинскому. 26 июня 1888 г. Сумы

Я еще не женат, но пьесы пишу исключительно для вдовы, так как рано или поздно не миную общей участи и женюсь.

Чехов — А. Н. Плещееву. 30 декабря 1888 г. Москва

> Позднее оказалось – для сестры, которой был завещан доход от драматических произведений. Жена тоже не осталась внакладе, получив дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей.

«Жиница» мне, Сашечка, нельзя, потому что незаконно живущие не могут жить законно. И во-вторых, не имею чертога, куда бы я мог сунуть свою законную семью, если бы таковая была. Где я ее помещу? На чердаке? И в-третьих, характер у

меня слишком испортился для того, чтобы быть сносным семьянином.

Чехов — Ал. П. Чехову. 12 мая 1893 г. Мелихово

Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Когда каждый день мне говорят всё об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым. Я, например, лютею в обществе Сергеенко, потому что он очень похож на женщину («умную и отзывчивую») и потому что в его присутствии мне приходит в голову, что моя жена может быть похожа на него. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. NB: оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше.

Чехов — А. С. Суворину. 23 марта 1895 г. Мелихово

Теперь пишу маленький рассказ: «Моя невеста». У меня когда-то была невеста… Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу.

Чехов — Е. М. Шавровой-Юст. 26 ноября 1895 г. Мелихово

«Моя невеста» превратится в «Дом с мезонином».

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Останьтесь еще минуту, — попросил я. — Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто

смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. — Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре… Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

«Дом с мезонином», 1896

Перед отъездом, кстати сказать, я был на репетиции «Фед<ора> Иоан<новича>». Меня приятно тронула интеллигентность тона, и со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши, а старик (секиры) чудесен. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину.

Чехов — А. С. Суворину. 8 октября 1898 г. Ялта

Ирину в спектакле Художественного театра по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор

Иоаннович» играла Ольга Леонардовна Книппер.

Что касается женитьбы, на которой ты настаиваешь, то — как тебе сказать? Жениться интересно только по любви; жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это любовь, половое влечение, едина плоть, все же остальное — ненадежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Стало быть, дело не в симпатичной девушке, а в любимой; остановка, как видишь, за малым.

Чехов — М. П. Чехову. 26 октября 1898 г. Ялта

Моя пьеса не идет? Мне не везет в театре, ужасно не везет, роковым образом, и если бы я женился на актрисе, то у нас наверное бы родился орангутанг — так мне не везет!!

Чехов — Е. З. Коновицеру 26 декабря 1898 г. Ялта

Помню, сидел я у письменного стола, а Чехов в глубине комнаты в полумраке, на диване. Говорили об общественных настроениях, о ли-

тературе, о «Жизни». Потом беседа приобрела более интимный характер. Помолчали каждый со своими мыслями.

— А что, Владимир Александрович, могли бы вы жениться на актрисе? — прервал молчание тихий голос Антона Павловича.

Вопрос застал меня врасплох, и я несколько неуверенно ответил:

— Право, не знаю, думаю, что мог бы.

— А я вот не могу! — И в голосе Чехова послышалась резкая нота, которой раньше я не замечал.

Видно, не без борьбы пришел Чехов к решению жениться на Книппер.

В. А. Поссе. <Воспоминания о Чехове>

Да, Вы правы: писатель Чехов не забыл актрисы Книппер. Мало того, Ваше предложение поехать вместе из Батума в Ялту кажется ему очаровательным. Я поеду, но с условием, во-1-х, что Вы по получении этого письма, не медля ни одной минуты, телеграфируете мне приблизительно число, когда Вы намерены покинуть Мцхет; Вы будете держаться такой схемы: «Москва, Малая Дмитровка, Шешкова, Чехову. Двадцатого». Это значит, что Вы выедете из Мцхета в Батум 20 июля. Во-2-х, с условием, что я поеду прямо в Батум и встречу Вас там, не заезжая в Тифлис, и

в-3-х, что Вы не вскружите мне голову. Вишневский считает меня очень серьезным человеком, и мне не хотелось бы показаться ему таким же слабым, как все.

Чехов — О. Л. Книппер. 1 июля 1899 г. Москва

Милая, славная, великолепная моя актриса, я жив, здоров, думаю о тебе, мечтаю и скучаю оттого, что тебя здесь нет. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте, в своей тюрьме. Дует жесточайший ветер, катер не ходит, свирепая качка, тонут люди, дождя нет и нет, все пересохло, все вянет, одним словом, после твоего отъезда стало здесь совсем скверно. Без тебя я повешусь.

Чехов — О. Л. Книппер. 13 августа 1900 г. Ялта

Милюся моя Оля, славная моя актрисочка, почему этот тон, это жалобное, кисленькое настроение? Разве в самом деле я так уж виноват? Ну прости, моя милая, хорошая, не сердись, я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность. До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров, других причин не было, уверяю тебя, милая, честным словом. Честное слово! Не веришь?

До 10 октября я пробуду еще в Ялте, буду рабо-

тать, потом уеду в Москву или, смотря по здравию, за границу. Во всяком случае, буду писать тебе.

Ни от брата Ивана, ни от сестры Маши нет писем.

Очевидно, сердятся, а за что — неизвестно.

Вчера был у Средина, застал у него много гостей, все каких-то неизвестных. Дочка его похварывает хлорозом, но в гимназию ходит. Сам он хворает ревматизмом.

Ты же, смотри, подробно напиши мне, как прошла «Снегурочка», вообще, как начались спектакли, какое у Вас у всех настроение, как публика и проч. и проч. Ведь ты не то что я; у тебя очень много материала для писем, хоть отбавляй, у меня же ничего, кроме разве одного: сегодня поймал двух мышей.

А в Ялте все нет дождей. Вот где сухо так сухо!

Бедные деревья, особенно те, что на горах по сю сторону, за все лето не получили ни одной капли воды и теперь стоят желтые; так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно.

Ты пишешь: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» А когда я делал его черствым? В чем, собственно, я выказал эту свою черствость? Мое сердце всегда

тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда, никогда, и ты обвиняешь меня в черствости просто так, здорово живешь.

По письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора — с серьезными лицами, с серьезными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю — и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству.

Прощай, прощай, милая бабуся, да хранят тебя святые ангелы. Не сердись на меня, голубчик, не хандри, будь умницей.

Что в театре нового? Пиши, пожалуйста.

Твой Antoine.

Чехов — О. Л. Книппер. 27 сентября 1900 г. Ялта

Вы слышали, что я женюсь? Это неправда. Я уезжаю в Африку, к крокодилам.

Чехов — А. С. Суворину. 16 ноября 1900 г. Москва

Балериночка моя, мне без тебя очень скучно, и если ты начнешь ходить к Омону <московское

кабаре, названное по имени владельца> и забудешь меня, то я уйду в монахи. Не ходи, деточка, к Омону. <…>

Часто вижу тебя во сне, а когда закрываю глаза, то вижу и наяву. Ты для меня необыкновенная женщина.

Будь здорова, дуся. Да хранит тебя создатель. Будь умницей, работай, а весной приезжай сюда. Мне нужно кое-что сказать тебе на ухо.

Крепко целую, обнимаю и опять целую.

Твой Antoine.

Чехов — О. Л. Книппер. 21 декабря 1900 г. (3 января 1901 г.) Ницца

Ну, обнимаю тебя и целую крепко. Не забывай. Тебя никто не любит так, как я.

Чехов — О. Л. Книппер. 7 (20) февраля 1901 г. Рим

> Незаметно Чехов переходит на стихи и вдруг начинает – в двух последних предложениях – объясняться чистыми ямбами.

Получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня

ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек не экономный, просил тебя разориться на одну-две телеграммы… Ну что ж! Так тому и быть, а я все еще люблю тебя по старой привычке, и видишь, на какой бумажке пишу тебе. <…>

Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно. Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Немировичу, что это подлость и свинство.

Чехов — О. Л. Книппер. 7 марта 1901 г. Ялта

Миленькая моя, здравствуй! В Москву я приеду непременно, но поеду ли в этом году в Швецию — не знаю. Мне так надоело рыскать, да и здравие мое становится, по-видимому, совсем стариковским — так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, кстати сказать. Я теперь целые дни копаюсь в саду, погода чудесная, теплая, всё в цвету, птицы поют, гостей нет, просто не

жизнь, а малина. Я литературу совсем бросил, а когда женюсь на тебе, то велю тебе бросить театр и будем вместе жить, как плантаторы. Не хочешь? Ну ладно, поиграй еще годочков пять, а там видно будет.

Чехов — О. Л. Книппер. 16 марта 1901 г. Ялта

...Внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:

— «А наверху в это время, где заходит солнце,

скучиваются облака, одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»… — как он любит облака сравнивать с предметами, мелькнуло у меня в уме. — «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба, немного погодя рядом с этим ложится золотой, потом розовый… Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно».

«Увижу ли я когда-нибудь его?» — подумал я. — Индийский океан привлекал меня с детства…

И неожиданно глухой, тихий голос:

— Знаете, я женюсь…

И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой…

Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет,

когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: «Да это самоубийство! хуже Сахалина», — но промолчал, конечно.

И. А. Бунин. Чехов

В начале мая, в первых числах, я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся — это как найдешь более удобным. Сядем на пароход в Ярославле или в Рыбинске и двинем в Астрахань, отсюда в Баку, из Баку в Батум. Или не хочешь так? Можно и так: по Сев<ерной> Двине в Архангельск, на Соловки. Что выберешь, туда и поедем. Затем всю или большую часть зимы я буду жить в Москве, с тобой на квартире. Только бы не киснуть, быть здоровым. Мой кашель отнимает у меня всякую энергию, я вяло думаю о будущем и пишу совсем без охоты. Думай о будущем ты, будь моей хозяйкой, как скажешь, так я и буду поступать, иначе мы будем не жить, а глотать жизнь через час по

столовой ложке.

Чехов — О. Л. Книппер. 22 апреля 1901 г. Ялта

Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатить бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде. Подумай, подумай, дуся! Ведь ты, говорят, умная.

Чехов — О. Л. Книппер. 26 апреля 1901 г. Ялта

Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше.

Антон.

Чехов — Е. Я. Чеховой. 25 мая 1901 г. Москва

Однажды Антон Павлович попросил А. Л. Вишневского устроить званый обед и просил пригласить туда своих родственников и почему-то также и родственников О. Л. Книппер. В назначенный час все собрались, и не было только Антона Павловича и Ольги Леонардовны. Ждали, волновались, смущались и наконец получили известие, что Антон Павлович уехал с Ольгой

Леонардовной в церковь, венчаться, а из церкви поедет прямо на вокзал и в Самару, на кумыс.

А весь этот обед был устроен им для того, чтобы собрать в одно место всех тех лиц, которые могли бы помешать повенчаться интимно, без обычного свадебного шума. Свадебная помпа так мало отвечала вкусу Антона Павловича. С дороги А. Л. Вишневскому была прислана телеграмма.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Когда я за границей из «Русских ведомостей» узнал об их браке, я вспомнил почему-то, как в приезд Ольги Леонардовны в чеховский дом весной 1900 года я однажды увидел такую группу: она с Марией Павловной наверху лестницы, а внизу Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной Москвы, с громадными возможностями и надеждами в будущем, он — осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной. И когда они, повенчавшись, связали свою жизнь, то фатальные последствия не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве — он без риска и вредных

последствий для здоровья не мог покидать своей «теплой Сибири». И, зная Чехова, нетрудно было вперед сказать, чем это кончится.

И. Н. Альтшуллер. О Чехове

Хожу я и все думаю, думаю без конца. Мысли у меня толкают одна другую. Так мне жутко, что ты вдруг женат! Конечно, я знала, что Оля рано или поздно сделается для тебя близким человеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изменятся к худшему, как я этого боюсь… Я чувствую себя одинокой более, чем когда-либо. Ты не думай, тут нет никакой с моей стороны злобы или чего-нибудь подобного, нет, я люблю тебя еще больше, чем прежде, и желаю тебе от всей души всего хорошего, и Олю тоже, хотя я не знаю, как у нас с ней будет, и теперь пока не могу отдать себе отчета в своем чувстве к ней. Я немного сердита на нее, почему она мне ровно ничего не сказала, что будет свадьба, не могло же это случиться экспромтом. Знаешь, Антоша, я очень грущу, и настроение плохое, есть ничего не могу, все тошнит. Видеть хочу только вас и никого больше, а между тем все у всех на глазах, уйти некуда.

М. П. Чехова — Чехову. 28 мая 1901 г. Ялта

Милая Маша, то растение, что у меня в кабинете, луковицей снаружи, нужно поливать раз в три дня. Березу раз в неделю тремя ведрами. Розы раз в неделю обстоятельно. Камелии и азалию дождевой водой. Эвкалипт находится среди камелий и хризантем, его поливать возможно чаще, каждый день.

Мы плывем в Уфу по реке Белой. Жарко. Поклонись мамаше и всем нашим. Я приеду скоро, скорее, чем ты рассчитываешь. Будь здорова. Ольга шлет поклон.

Чехов — М. П. Чеховой. 30 мая 1901 г. Пароход, по пути в Аксеново

Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и конечно мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были

до сих пор.

Чехов — М. П. Чеховой. 2 июня 1901 г. Аксеново

В «Новостях дня», полученных сегодня, помещены ваши портреты. Да, и наделали же шуму вы вашей свадьбой! Кто из вас знаменитей, ты или Книпшиц? Ее изобразили в костюме из «Дяди Вани», а тебя в пенсне.

М. П. Чехова — Чехову. 6 июня 1901 г. Ялта

Милый Антоша, Оля пишет мне, что ты очень огорчился моим письмом. Прости меня, я не сумела сдержать своего тревожного настроения. Мне казалось, что ты поймешь меня и простишь. Это первый раз, что я дала волю своей откровенности, и теперь каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела твою жену. Но тут совсем другое: твоя супруга была мне другом, к которому я успела привязаться и пережить уже многое. Вот и закопошились во мне разные сомнения и тревоги, быть может напрасные и преувеличенные, но зато я искренно писала все, что думала. Оля сама мне рассказывала, как ей трудно было пережить женитьбу своего старшего брата, и, мне кажется, она скорее всего могла понять мое

состояние и не бранить меня. Во всяком случае, мне очень неприятно, что огорчила вас, больше никогда, никогда не буду.

М. П. Чехова — Чехову. 16 июня 1901 г. Ялта

Спасибо тебе, моя радость, мать очень обрадовалась твоему письму; прочла и потом дала мне, чтобы я прочитал ей вслух, и долго хвалила тебя. То, что ты пишешь о своей ревности, быть может, и основательно, но ты такая умница, сердце у тебя такое хорошее, что все это, что ты пишешь о своей якобы ревности, как-то не вяжется с твоею личностью. Ты пишешь, что Маша никогда не привыкнет к тебе и проч. и проч. Какой все это вздор! Ты все преувеличиваешь, думаешь глупости, и я боюсь, что, чего доброго, ты будешь ссориться с Машей. Я тебе вот что скажу: потерпи и помолчи только один год, только один год, и потом для тебя все станет ясно. Что бы тебе ни говорили, что бы тебе ни казалось, ты молчи и молчи. Для тех, кто женился и вышел замуж, в этом непротивлении в первое время скрываются все удобства жизни. Послушайся, дуся, будь умницей!

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 3 сентября 1901 г. Ялта

Письма твоего Маша не давала мне, я нашел его в комнате матери, на столе, машинально взял и прочел — и понял тогда, почему Маша была так не в духе. Письмо ужасно грубое, а главное, несправедливое; я, конечно, понял твое настроение, когда ты писала, и понимаю. А твое последнее письмо какое-то странное, и я не знаю, что с тобою и что у тебя в голове, дуся моя. <…> Нельзя, нельзя так, дуся, несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой, тем паче, что ты добрая, очень добрая и понимающая. Прости, дусик, за эти нотации, больше не буду, я боюсь этого. <…>

От твоих писем веет холодком, а я все-таки пристаю к тебе с нежностями и думаю о тебе бесконечно. Целую тебя миллиард раз, обнимаю. Пиши мне, дуся, чаще, чем один раз в пять дней. Все-таки я ведь твой муж. Не расходись со мной так рано, не поживши как следует, не родивши мне мальчишку или девчонку. А когда родишь, тогда можешь поступать, как тебе угодно. Целую тебя опять-таки.

Твой Antoine.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 27 августа 1902 г. Ялта

Милая моя, родная, опять я получил от тебя

странное письмо. Опять ты взваливаешь на мою башку разные разности. Кто тебе сказал, что я не хочу вернуться в Москву, что я уехал совсем и уже не вернусь этой осенью? Ведь я же писал тебе, писал ясно, русским языком, что я приеду непременно в сентябре и буду жить вместе с тобой до декабря. Разве не писал? Ты обвиняешь меня в неоткровенности, а между тем ты забываешь все, что я говорю тебе или пишу. И просто не придумаю, что мне делать с моей супругой, как писать ей. Ты пишешь, что тебя дрожь пробирает при чтении моих писем, что нам пора разлучаться, что ты чего-то не понимаешь во всем… Мне кажется, дуся моя, что во всей этой каше виноват не я и не ты, а кто-то другой, с кем ты поговорила. В тебя вложено недоверие к моим словам, к моим движениям, все тебе кажется подозрительным — и уж тут я ничего не могу поделать, не могу и не могу. И разуверять тебя и переубеждать не стану, ибо бесполезно. Ты пишешь, что я способен жить около тебя и все молчать, что нужна ты мне только как приятная женщина и что ты сама как человек живешь чуждой мне и одинокой… Дуся моя милая, хорошая, ведь ты моя жена, пойми это наконец! Ты самый близкий и дорогой мне человек, я тебя любил безгранично и люблю,

а ты расписываешься «приятной» женщиной, чуждой мне и одинокой… Ну, да бог с тобой, как хочешь. <…>

Дуся моя, будь женой, будь другом, пиши хорошие письма, не разводи мерлехлюндии, не терзай меня. Будь доброй, славной женой, какая ты и есть на самом деле. Я тебя люблю сильнее прежнего и как муж перед тобой ни в чем не виноват, пойми же это наконец, моя радость, каракуля моя.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 1 сентября 1902 г. Ялта

Дуся моя, замухрыша, собака, дети у тебя будут непременно, так говорят доктора. Нужно только, чтобы ты совсем собралась с силами. У тебя все в целости и в исправности, будь покойна, только недостает у тебя мужа, который жил бы с тобою круглый год. Но я, так и быть уж, соберусь как-нибудь и поживу с тобой годик неразлучно и безвыездно, и родится у тебя сынок, который будет бить посуду и таскать твоего такса за хвост, а ты будешь глядеть и утешаться.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 14 декабря 1902 г. Ялта

На праздниках я буду писать тебе каждый день,

будь покойна. Мне самому хорошо, когда я пишу тебе. Ведь ты у меня необыкновенная, славная, порядочная, умная, редкая жена, у тебя нет ни одного недостатка — с моей точки зрения по крайней мере. Впрочем, есть: ты вспыльчива, а когда в дурном настроении, то около тебя опасно ходить. Но это пустяки, это пройдет со временем. Есть у нас один общий с тобой недостаток — это то, что мы с тобой поздно женились.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 15 декабря 1902 г. Ялта

Ольгу Леонардовну отпущу к тебе непременно. Хотел около начала февраля, но теперь вижу, что удобно с половины Масленицы. И все-таки — ненадолго!

Скажу тебе по секрету: очень меня пугает (как директора) то, что она невероятно скучает по тебе. Жалко смотреть на нее. А между тем она так занята в репертуаре, как никто в труппе…

Вл. И. Немирович-Данченко — Чехову. Январь 1902 г. Москва

С новым годом, с новым счастьем, милая моя актрисуля, жена моя! Желаю тебе всего, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь, а главным образом желаю тебе маленького полунемца, который

бы рылся у тебя в шкафах, а у меня размазывал бы на столе чернила, и ты бы радовалась.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 1 января 1903 г. Ялта

Ты, родная, все пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести, что едва ли было бы лучше. Я ведь знал, что женюсь на актрисе, т. е., когда женился, ясно сознавал, что зимами ты будешь жить в Москве. Ни на одну миллионную я не считаю себя обиженным или обойденным, напротив, мне кажется, что все идет хорошо или так, как нужно, и потому, дусик, не смущай меня своими угрызениями. В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 20 января 1903 г. Ялта

Его вместе с Ольгой Леонардовной я застал на террасе. Мне очень не понравилось, что он не один, но делать было нечего. Влюбленный в

жену, он был счастлив. <…>

Потом я ушел к Марии Павловне. Она была грустная, грустная.

— Что вы такая?

— Да отчасти из-за вас. Вы знаете, что Ольга Леонардовна была против того, чтобы вас приняли. Теперь уже и я вижу Антошу не тогда, когда хочу, меня к нему не пускают.

— Ну что вы?

— Да, да.

Б. И. Лазаревский. Дневник. Август 1903 г. Ялта

В начале декабря <1903> Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там — мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.

Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:

— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо… До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее

руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги. <…> Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…

— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну конечно, он с вами не скучал!

Я быстро вставал и прощался.

И. А. Бунин. Чехов

Моя жена при больном муже — это золото, никогда еще не видел таких сиделок. Значит, хорошо, что я женился, очень хорошо, иначе не знаю, что бы я теперь и делал.

Чехов — Л. В. Средину. 22 мая 1904 г. Москва

> «Главное, берегись личного элемента. <…> Точно вне тебя нет жизни?! И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай людей, а не самого себя», – советовал он когда-то брату, задумавшему писать пьесу (Ал. П. Чехову, 8 мая 1889 г. Сумы). И собственную жизнь он строил по законам такой драмы: вроде бы погружаясь в чужую жизнь, но не открывая до конца свою; уводя текст в

подтекст; со вкусом описывая внешнее, но словно проговариваясь о главном.

В письмах жене отчетливо видно, как трудно давался Чехову разговор о любви от первого лица. Здесь не помогали ни ироническая пикировка, характерная для переписки с Мизиновой, ни наставительный тон старшего по ремеслу в письмах Авиловой или Шавровой. Виновны ли в этом природная «холодность» (ее обнаруживали последующие биографы), воспитанная сдержанность или, напротив, слишком сильное чувство, не поддающееся привычному литературному оформлению – бог весть…

Последний любовный сюжет своей безнадежностью, неразрешимостью напоминает чеховские финалы.

«Вы писатель, я – актриса… Попали и мы с вами в круговорот…» («Чайка»).

«Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?» («Дама с собачкой»).

У чеховской жены много судей. М. Булгаков, прочитав вышедший в 1934 году том писем, жестко заметил в полемике с близким другом-философом: «Своим

отзывом о чеховской переписке ты меня огорчил. Письма вдовы и письма покойника произвели на меня отвратительное впечатление. Скверная книга!» (П. С. Попову, 14 марта 1935 г.). В «Театральном романе» мелькает «дама в соболях», Маргарита Петровна Таврическая, которая «известна тем, что покойный Островский в тысяча восемьсот восьмидесятом году, поглядев на игру Маргариты Петровны – она дебютировала, – сказал: „Очень хорошо“».

Даже знаменитый фольклорист, строгий филолог В. Я. Пропп в «Дневнике старости» беспощаден: «Есть две женщины, которых ненавижу острой, звериной ненавистью. Одна – Наталья Николаевна Гончарова, вторая – Ольга Леонардовна Книппер».

Наши чувства любви, обиды и ревности понятны, но стоит учитывать и точку зрения объекта сочувствия. Пастернак иронизировал: Пушкину нужно было бросить Наталью Николаевну и жениться на пушкинисте Щеголеве.

Не помню, по какому поводу, разговор перешел на тему о браке.

— Счастливы или несчастливы данные муж и жена — этого сказать никто не может. Это тайна, которую знают трое: Бог, он и она… — произнес, прищурившись, Чехов.

Б. А. Лазаревский. А. П. Чехов

Завещание

Марии Павловне Чеховой.

Милая Маша, завещаю тебе в твое пожизненное владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с драматических произведений, а жене моей Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять тысяч рублей. Недвижимое имущество, если пожелаешь, можешь продать. Выдай брату Александру три тысячи, Ивану — пять тысяч и Михаилу — три тысячи, Алексею Долженко — одну тысячу и Елене Чеховой (Леле), если она не выйдет замуж, — одну тысячу рублей. После твоей смерти и смерти матери все, что окажется, кроме дохода с пьес, поступает в распоряжение таганрогского городского управления на нужды народного образования, доход же с пьес — брату Ивану, а после его, Ивана, смерти — таганрогскому городскому управлению на те же нужды по народному образованию.

Я обещал крестьянам села Мелихова 100 рублей — на уплату за шоссе; обещал также Гавриилу Алексеевичу Харченко (Харьков, Москалевка, с. дом) платить за его старшую дочь в гимназию до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение. Помогай бедным. Береги мать. Живите мирно.

Антон Чехов.
3 августа 1901 г.
Чехов — М. П. Чеховой. 3 августа 1901 г. Ялта

В середине июля после похорон Антона Павловича вся наша осиротевшая семья приехала в Ялту. Как тяжело было входить в дом.

Через несколько дней после приезда собрались мы всей семьей в столовой: мать, Ольга Леонардовна, братья — Александр, Иван, Михаил — и я. Стали говорить о том, как быть и что делать дальше: оставаться ли нам с матерью в Ялте, переезжать в Москву, как поступить с ялтинским домом и т. д.

Я обратилась в Ольге Леонардовне:

— Оля, Антоша ничего тебе не оставлял, никаких распоряжений?

— Да, правда, Маша, есть какое-то письмо, которое он давно передал для тебя. Сейчас.

Она пошла, разыскала это письмо и отдала мне. Письмо оказалось завещательным распоряжением, которым брат назначал меня своей душеприказчицей. Письмо было написано еще 3 августа 1901 года, за три года до смерти.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Письмо, однако, не имело нотариаль-

ной силы. Дело слушалось в Московском окружном суде и разрешилось лишь в марте 1905 года.

А затем — долгая тоска, пока не привыкли, и обидные для чувства формальности по вводу во владение оставшимся после покойного наследством. Оно доставалось по закону нам, трем братьям покойного писателя, но мы, зная его последнюю волю, отказались от наследства и все, в полном составе, передали нашей сестре Марии Павловне.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

Городскую стипендию, благодаря которой он приехал в Москву, он отрабатывал не только всю жизнь, но даже после смерти. Кажется, о народном образовании он заботился больше, чем о близких родственниках.

Собрание

Теперь насчет Маркса. Я был бы очень не прочь продать ему свои сочинения, даже очень, очень не прочь, но как это сделать? <…> Если тебе охота, то потолкуй с Марксом. Мне и продать хочется, и упорядочить дело давно уже пора, а то становится нестерпимо.

Чехов — П. А. Сергеенко. 1 января 1899 г. Ялта

Если же я хорошо продам Марксу свои сочинения, то Мелихово продавать не стану, а поверну дело иначе. <…> Кстати, о книгах. Суворин печатает уже полное собрание сочинений; читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года. С Марксом переговоры, кажется, уже начались.

Чехов — М. П. Чеховой. 9 января 1899 г. Ялта

Милый Иван, с Марксом дела подвинулись уже сильно вперед, и предварительный договор уже подписан. По условиям, которые Маркс предлагает, я за право собственности уже напечатанных и своих будущих произведений получаю 75 000 р. и затем за каждый новый том в двадцать печатных листов — пять тысяч. То есть я буду

печататься обычным порядком в журналах и газетах, получать гонорар, издавать же сборники моих рассказов может только Маркс, причем за каждые 20 листов он всякий раз платит мне 5 тысяч. Доход с пьес принадлежит мне. Дело еще не кончено, но переговоры ведутся настойчиво, и очень может быть, что когда ты будешь читать это письмо, то я буду уже продан в рабство во Египет. Эта продажа имеет две очень хорошие стороны: 1) получу сразу 75 тысяч и, во-2), избавлюсь от суворинских беспорядков. Все это пока секрет. Сообщи Маше и скажи, чтобы пока она никому не говорила, чтобы не попало в «Курьер».

Чехов — И. П. Чехову. 18 января 1899 г. Ялта

Милый Виктор Александрович, хищная тигра Маркс покупает у меня мои произведения — на веки вечные.

Чехов — В. А. Гольцеву. 20 января 1899 г. Ялта

В дополнение к письму о переговорах с М<арксом> сообщаю, что я продолжал упорно торговаться до сегодня и только сегодня телеграфировал, что я согласен. За будущие произведения я буду получать (по предварительном напечатании в журналах обычным порядком) 250 р. за лист, потом через 5 лет 450 р., еще через 5 лет 650 р. за

лист и т. д. с надбавками по 200 р. через каждые 5 лет. Обещал в телеграмме, что буду жить не долее 80 лет.

Идут дожди. Осенний дождь стучит в окна, точно в Мелихове.

Чехов — И. П. Чехову. 20 января 1899 г. Ялта

Сейчас был Сергеенко. Маркс ужасно испугался Вашей угрозы прожить до восьмидесяти лет, когда ценность Ваших произведений так возрастает. Вот сюжет для комического рассказа.

А. С. Суворин — Чехову. 21 января 1899 г. Петербург

В жизни у меня крупная новость, событие… Женюсь? Угадайте: женюсь? Если да, то на ком? Нет, я не женюсь, а продаю Марксу свои произведения. Продаю право собственности. Идут переговоры, и может случиться, что через какие-нибудь 2–3 недели я буду уже рантье! Конечно, Мелихова я уже не стану продавать никому, кроме Вас. Пусть остается все, как было.

Чехов — Л. С. Мизиновой. 22 января 1899 г. Ялта

Я продаю свои произведения Марксу на вечные времена. Идут переговоры. Получу деньги — и поеду играть в рулетку. Справьтесь, пожалуйста, в редакции «Начала»: продав Марксу свои

сочинения, буду ли я иметь право называться марксистом?

Чехов — М. О. Меньшикову. 27 января 1899 г. Ялта

Многоуважаемая Лидия Алексеевна, я к Вам с большой просьбой, чрезвычайно скучной — не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, наймите какого-нибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда-то в «Петербургской газете». И также походатайствуйте, чтобы в редакции «Пет<ербургской> газеты» позволили отыскать мои рассказы и переписать, так как отыскивать и переписывать в Публичной библиотеке очень неудобно. Если почему-либо просьба эта моя не может быть исполнена, то, пожалуйста, пренебрегите, я в обиде не буду; если же просьба моя более или менее удобоисполнима, если у Вас есть переписчик, то напишите мне, и я тогда пришлю Вам список рассказов, которых не нужно переписывать. Точных дат у меня нет, я забыл даже, в каком году печатался в «Петерб<ургской> газете», но когда Вы напишете мне, что переписчик есть, я тотчас же обращусь к какому-нибудь петербургскому старожилу-библиографу, чтобы он потрудился снабдить Вас точными датами. <…>

Теперь меня будет издавать не Суворин, а Маркс. Я теперь «марксист».

Чехов — Л. А. Авиловой. 5 февраля 1899 г. Ялта

Только что принесли Ваше второе письмо насчет Маркса и продажи. Я думаю так: продажа выгодна, если мне осталось жить недолго, меньше 5–10 лет; и невыгодна, если я буду жить дольше.

Чехов — А. С. Суворину. 6 февраля 1899 г. Ялта

Вы пишете, что у меня необыкновенное уменье жить. Может быть, но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел, я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил свою жизнь поневоле не с литераторами; я продал свои сочинения за 75 тыс. и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели, как я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати, о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я сие, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тыс., которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут мне давать ежегодно

2 тыс., до сделки же с Марксом книжки давали мне около 31/2 тыс. ежегодно, а за последний год я, благодаря, вероятно, «Мужикам», получил 8 тыс.! Вот Вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, только не очень завидуйте моему необыкновенному уменью жить.

Все-таки, как бы ни было, если попаду в Монте-Карло, непременно проиграю тысячи две — роскошь, о которой я доселе не смел и мечтать. А может быть, я и выиграю? Беллетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за уменье жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу.

Чехов — Л. А. Авиловой. 18 февраля 1899 г. Ялта

Я продал Марксу всё — и прошедшее, и будущее, стал марксистом на всю жизнь. За каждые 20 листов уже напечатанной прозы я буду получать с него 5 тысяч; через 5 лет буду получать 7000 и т. д. — через каждые 5 лет прибавки, и, таким образом, когда мне будет 95 лет, я буду получать страшную уйму денег. За прошедшее я получу 75 тыс<яч>. Доход с пьес я выторговал себе и своим наследникам. Но все-таки — увы! — мне еще

далеко до Вандербильта. 25 тысяч уже тю-тю, а остальные 50 я получу не сразу, а в течение двух лет, так что не могу задать настоящий шик.

Чехов — И. И. Орлову. 22 февраля 1899 г. Ялта

Милый Владимир Иванович, пожалуйста, не обижайся на меня за молчание. В переписке у меня вообще застой. Это оттого, что я пишу свою беллетристику — во-первых, во-вторых, читаю корректуру Марксу, в-третьих, возня большая с приезжими больными, которые почему-то обращаются ко мне. А корректура для Маркса — это каторга; я едва кончил второй том, и если бы знал раньше, что это так нелегко, то взял бы с Маркса не 75, а 175 тысяч. Приезжие больные, в большинстве бедняки, обращаются ко мне с просьбой устроить их, и приходится много говорить и переписываться.

Конечно, я здесь скучаю отчаянно. Днем работаю, а к вечеру начинаю вопрошать себя, что делать, куда идти, — и в то время, как у вас в театре идет второе действие, я уже лежу в постели. Встаю, когда еще темно, можешь ты себе представить; темно, ветер ревет, дождь стучит.

Чехов — Вл. И. Немировичу-Данченко. 24 ноября 1899 г. Ялта

Милый Мишель, отвечаю на твое письмо.

1) В Торжке я не был ни разу в жизни и никогда из Торжка никому телеграмм не посылал. Выехал я из Петербурга на другой день после представления «Чайки», провожали меня суворинский лакей и Потапенко.

2) О том, что я продаю Марксу сочинения и на каких условиях, — Суворину было известно в подробности. На прямо поставленный вопрос, не желает ли купить он, он ответил, что у него денег нет, что покупать мои сочинения ему не позволяют дети и что больше того, что дает Маркс, никто дать не может.

3) Аванс в 20 тысяч — это значит купить произведения за 20 тысяч, так как я никогда не вылез бы из долга.

4) Когда с Марксом было кончено, то А. С. написал мне, что он очень рад совершившемуся, так как его всегда мучила совесть, что он дурно меня издавал.

5) Разговора о направлении «Нов<ого> времени» в Ницце не было.

6) «Отношения», о которых я писал тебе (об этом, конечно, не следовало бы откровенничать с С<уворинымиими>), особенно стали изменяться, когда А. С. сам написал мне, что нам писать друг

другу более уже не о чем.

7) Полное собрание моих сочинений начали печатать в типографии, но не продолжали, так как все время теряли мои рукописи, на мои письма не отвечали и таким неряшливым отношением ставили меня в положение отчаянное; у меня был туберкулез, я должен был подумать о том, чтобы не свалить на наследников своих сочинений в виде беспорядочной, обесцененной массы.

8) Конечно, всего этого мне не следовало бы писать тебе, ибо все сие слишком лично и скучно, но раз тебя обворожили и представили тебе в ином свете, то, делать нечего, выкладываю все эти 8 пунктов — читай и мотай на ус. О каком-либо примирении и речи быть не может, так как я и С<уворин> не ссорились и опять мы переписываемся как ни в чем не бывало. Анна Ивановна милая женщина, но она очень хитра. В ее расположение я верю, но когда разговариваю с ней, то не забываю ни на одну минуту, что она хитра и что А. С. очень добрый человек и издает «Нов<ое> время».

Это я пишу исключительно для тебя одного.

Чехов — М. П. Чехову. 29 января 1900 г. Ялта

Средин сказал мне кое-что о тех условиях, на которых Вы продали Марксу свои книги, и я

предлагаю Вам вот что — пошлите-ка Вы этого жулика Маркса ко всем чертям. Пятницкий, директор «Знания», говорит, что Маркс, печатая Ваши книги по 40 000 в одно издание, давно уже покрыл сумму, выплаченную Вам. Это грабеж, Антон Павлович! И не того же ради Вы силу свою растрачиваете, чтобы этот немец плодами ее пользовался. А посему я от лица «Знания» и за себя предлагаю Вам вот что: контракт с Марксом нарушьте, деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы Вам достанем сколько хотите. Затем отдайте Ваши книги печатать нам, т. е. входите в «Знание» товарищем и издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете никаких хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином. <…> Вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота, и 1.75 за книгу для этого читателя дорого. Голубчик — бросьте к черту немца! Ей-богу, он Вас грабит! Бесстыдно обворовывает! Подумайте, я за одно издание 17 000 получил, уверяю вас! <…>

Дорогой и любимый мой, будьте добры, отнеситесь серьезно к тому, что писал я Вам о Марксе и «Знании». Поверьте, что все это отнюдь не фантазии мои, а солидное дело. Осуществить его легко, если немец не связал Вас договором по

рукам и ногам. Согласитесь: зачем Вам обогащать его? Вы на большие деньги могли бы затеять какое-нибудь большое, хорошее дело, от которого сотням и тысячам будет польза, а не одному этому михрютке жадному. Жду ответа.

М. Горький — Чехову. 27 июня 1901 г. Н. Новгород

В Вашем последнем письме есть один пункт, на который, вероятно, Вы ждали ответа, именно насчет моих произведений и Маркса. Вы пишете: взять назад. Но как? Деньги я уже все получил и почти все прожил, взаймы же взять 75 тыс. мне негде, ибо никто не даст. Да и нет желания затевать это дело, воевать, хлопотать, нет ни желания, ни энергии, ни веры в то, что это действительно нужно.

Я читаю корректуру для Маркса, кое-что переделываю заново. Кашель как будто стал отпускать. Супруга моя оказалась очень доброй, очень заботливой, и мне хорошо.

Чехов — М. Горькому. 24 июля 1901 г. Ялта

Мне кажется, что если я теперь напишу Марксу, то он согласится возвратить мне мои сочинения в 1904 г., 1-го января, за 75 000. Но ведь мои сочинения уже опошлены «Нивой», как товар, и

не стоят этих денег, по крайней мере не будут стоить еще лет десять, пока не сгниют премии «Нивы» за 1903 г. Увидишься с Горьким, поговори с ним, он согласится. А Грузенбергу я не верю, да и как-то нелитературно прицепиться вдруг к ошибке или недосмотру Маркса и, воспользовавшись, повернуть дело «юридически». Да и не надо все-таки забывать, что, когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался при этом премерзко, а главное, собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое-какой порядок. Впрочем, время не ушло и не скоро еще уйдет, нужно обсудить все как следует, а для сего недурно бы повидаться с Пятницким в марте или апреле (когда я буду в Москве), о чем и напиши ему.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 9 января 1903 г. Ялта

Многоуважаемый Адольф Федорович!

По предписанию врачей 3-го июня я уезжаю за границу, вот мой адрес: Германия, Badenweiler, post. rest. В августе или даже ранее я буду уже дома, в России. Корректура «Вишневого сада», мною подписанная, уже послана Вам. Я послал Вам корректуру и теперь убедительно прошу не

выпускать моей пьесы в свет, пока я не кончу ее; мне хочется прибавить еще характеристику действующих лиц. И у меня договор с книжной торговлей «Знание» — не выпускать пьесы до определенного срока. Желаю Вам всего хорошего.

Искренно Вас уважающий и преданный

А. Чехов.

Чехов — А. Ф. Марксу. 31 мая 1904 г. Москва

Сейчас я получил от Маркса телеграмму такого содержания:

«Крайне огорчен невозможностью исполнить Вашу просьбу и удивлен, что не предупредили меня своевременно. Теперь пьеса почти закончена печатанием и поправок сделать уже нельзя, затем о выходе пьесы помещено объявление в номере 23 „Нивы“, которого уже отпечатано около ста тысяч экземпляров, часть которых сегодня разослана; отказывать в высылке объявленной книги для меня более чем неудобно, поэтому при всем желании не могу теперь ничего сделать. Маркс».

Виноват во всем этом, конечно, я, так как не задержал у себя корректуры; виноваты и Вы, так как напомнили мне об этом задержании, когда «Сборник» уже вышел.

Чехов — К. П. Пятницкому. 2 июня 1904 г. Москва

Многоуважаемый Константин Петрович, со 2-го мая я был очень болен, все время лежал в постели, и, как теперь понимаю, я не подумал о том, о чем надлежало подумать именно мне, и потому во всей этой неприятной истории, хочешь не хочешь, большую долю вины я должен взять на себя. Убытки я могу пополнить только разве возвратом 4500 р., которые Вы получите от меня в конце июля, когда я вернусь в Россию, и принятием на свою долю тех убытков, которые издание может понести от плохой продажи. Так я решил и убедительно прошу Вас согласиться на это. <…>

Все, что бы я теперь ни писал Марксу, бесполезно. Я прекращаю с ним всякие сношения, так как считаю себя обманутым довольно мелко и глупо, да и все, что бы я ни писал ему теперь, не имело бы для него ровно никакого значения.

Простите, что я в Вашу тихую издательскую жизнь внес такое беспокойство. Что делать, у меня всегда случается что-нибудь с пьесой, и каждая моя пьеса почему-то рождается на свет со скандалом, и от своих пьес я не испытывал никогда обычного авторского, а что-то довольно странное.

Во всяком случае, Вы не волнуйтесь очень и не сердитесь; я в худшем положении, чем Вы.

Мой адрес: Badenweiler, Herrn Anton Tschechow. Германия.

Мне нездоровится. Крепко жму руку и остаюсь искренно Вас уважающий.

А. Чехов.

Чехов — К. П. Пятницкому. 19 июня 1904

Он не вернулся ни в августе, ни в конце июля. Ему осталось жить две недели.

Место

Мне все кажется, что несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.

И. А. Бунин. Чехов

В моей печке воет жалобно ветер. Что-то он, подлец, говорит, но что — не пойму никак.

Получил я известие, что Академия наук присудила мне Пушкинскую премию в 500 р. Это, должно быть, известно уже Вам из газетных телеграмм. Официально объявят об этом 19-го окт<ября> в публичном заседании Академии с подобающей случаю классической торжественностью. Это, должно быть, за то, что я раков ловил.

Премия, телеграммы, поздравления, приятели, актеры, актрисы, пьесы — все это выбило меня из колеи. Прошлое туманится в голове, я ошалел; тина и чертовщина городской, литераторской суеты охватывают меня, как спрут-осьминог. Все пропало! Прощай лето, прощайте раки, рыба, остроносые челноки, прощай моя лень, прощай

голубенький костюмчик.

Прощай, покой, прости, мое довольство!
Всё, всё прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, все величье
И бурные тревоги славных войн!
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле,
Как грозный гром бессмертного Зевеса!

Если когда-нибудь страстная любовь выбивала Вас из прошлого и настоящего, то то же самое почти я чувствую теперь. Ах, нехорошо все это, доктор, нехорошо! Уж коли стал стихи цитировать, то, стало быть, нехорошо!

Чехов — Е. М. Линтваревой. 9 октября 1888 г. Москва

Известие о премии имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса. Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать и отец

несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит. Жан Щеглов толкует о литературных Яго и о пятистах врагах, каких я приобрету за 500 руб. Встретились мне супруги Ленские и взяли слово, что я приеду к ним обедать; встретилась одна дама, любительница талантов, и тоже пригласила обедать; приезжал ко мне с поздравлением инспектор Мещанского училища и покупал у меня «Каштанку» за 200 руб., чтоб «нажить»... Я думаю так, что даже Анна Ивановна, не признающая меня и Щеглова наравне с Расстрыгиным, пригласила бы меня теперь обедать. Иксы, Зеты и Эны, работающие в «Будильниках», в «Стрекозах» и «Листках», переполошились и с надеждою взирают на свое будущее. Еще раз повторяю: газетные беллетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник или по крайней мере поднести серебряный портсигар; я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей. Пока это моя единственная заслуга, все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет.

Чехов — А. С. Суворину. 10 октября 1888 г. Москва

Спасибо Вам, добрейший Александр Семенович, за поздравление. Насколько помню, льстецом я Вас никогда не обзывал и Вас не оспаривал; я говорил Вам только, что и великие писатели бывают подвержены риску исписаться, надоесть, сбиться с панталыку и попасть в тираж. Я лично подвержен этому риску в сильнейшей степени, чего Вы, как умный человек, надеюсь, отрицать не станете. Во-первых, я «счастья баловень безродный», в литературе я Потемкин, выскочивший из недр «Развлечения» и «Волны», я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть. Во-вторых, наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд, который идет ежедневно, без остановок, невзирая ни на погоду, ни на количество топлива…

Конечно, премия — большая штука, и не для меня одного. Я счастлив, что указал многим путь к толстым журналам, и теперь не менее счастлив, что по моей милости те же самые многие могут рассчитывать на академические лавры. Все мною написанное забудется через 5–10 лет; но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы

— в этом моя единственная заслуга.

Чехов — А. С. Лазареву-Грузинскому. 20 октября 1888 г. Москва

Теперь о зависти. Если премию мне дали в самом деле не по заслугам, то и зависть, которую она возбуждает, свободна от правды. Завидовать и досадовать имеют нравственное право те, кто лучше меня или идет рядом со мной, но отнюдь не те господа Леманы и Ко, для которых я собственным лбом пробил дорогу к толстым журналам и к этой же премии! Эти сукины сыны должны радоваться, а не завидовать. У них ни патриотизма, ни любви к литературе, а одно самолюбьишко. Они готовы повесить меня и Короленко за успех. Будь я и Короленко — гении, спаси мы с ним отечество, создай мы храм Соломонов, то нас возненавидели бы еще больше, потому что гг. Леманы не видят ни отечества, ни литературы — все это для них вздор; они замечают только чужой успех и свой неуспех, а остальное хоть травой порасти. Кто не умеет быть слугою, тому нельзя позволять быть господином; кто не умеет радоваться чужим успехам, тому чужды интересы общественной жизни и тому нельзя давать в руки общественное дело.

Чехов — А. Н. Плещееву. 25 октября 1888 г. Москва

Чем больше успеха, тем лучше для всего нашего поколения писателей. Я, вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни «слоном среди нас» и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом, артель.

Чехов — В. А. Тихонову. 7 марта 1889 г. Москва

Когда увижусь с П. И. Чайковским, то спрошу его о тебе. Что он делал у вас в Таганроге? Был ли он у вас в доме? В Питере и в Москве он составляет теперь знаменитость № 2. Номером первым считается Лев Толстой, а я № 877.

Чехов — Г. М. Чехову. 29 декабря 1890 г. Москва

В одном маленьком рассказе Чехова больше чуется Россия, чем во всех романах Боборыкина.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник. Август 1891 г.

В шекспировском обществе Боборыкин сделал скандал Урусову за то, что тот в своем реферате превознес чеховскую «Чайку». Боборыкин имени Чехова не может слышать.

— А мы что же! — подскочил он к Урусову. —

Мы, значит, все посредственности.

— Позвольте, а я об вас и не говорил совсем.

— Вот именно, вы об нас не говорили… Мы, значит, не существуем.

С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 3 января 1897 г.

Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей.

Очень весело. Мне весело болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается N. с важным лицом, точно прокурор, и произносит в честь мою тост. Чародеи слова, идеалы, в наше время, когда идеалы потускнели… сейте разумное, вечное… У меня такое чувство, точно я был накрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста чокались, молчание. Пропало веселье.

— Вы теперь должны сказать, — говорит соседка. — Но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой. И спать ложусь с осадком в душе. «Смотрите, смотрите, господа, какой дурак сидит среди вас!»

Чехов. Записная книжка

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх пенсне:

— Покорно вас благодарю! Напишут о комнибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «А вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент». И слово-то противное: «пессимист»...

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

И. А. Бунин. Чехов

Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):

— Знаете, какая раз была история со мной?

И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво,

даже сквозь зубы, говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

И. А. Бунин. Чехов

Однажды, читая газеты, он поднял лицо и не спеша, без интонаций сказал:

— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов...

Теперь он выделен. Но думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

«Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один».

И. А. Бунин. Чехов

Популярность Горького задевает самолюбие Чехова. «Прежде говорили: Чехов и Потапенко, я это пережил. Теперь говорят: Чехов и Горький». Он хочет сказать, что и это переживет. По его словам, Горький через три года ничего не будет значить, потому что ему не о чем будет писать. Я этого не думаю.

А. С. Суворин. Дневник. 4 сентября 1903 г.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

— Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

— Влюблен.

— Это хорошо, но уже десятый час. И потом — вы можете простудиться…

— Молодой человек, не рассуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

— Чудесная ночь! — сказал он с необычной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Ореанду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с

легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь? — спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам…

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

И. А. Бунин. Чехов

Юбилей

К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

И. А. Бунин. Чехов

В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль устроить чествование любимого поэта. Чехов очень упирался, угрожал, что останется дома, не приедет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик, и мы настояли. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).

Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании, и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там

набресть на что-нибудь, но, кроме великолепной шитой музейной материи, мне ничего не попалось. За неимением лучшего пришлось украсить ею венок и подать его в таком виде.

«По крайней мере, — думал я, — будет поднесена художественная вещь».

Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.

— Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее, — попрекал он меня после юбилея.

— Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести? — оправдывался я.

— Мышеловку, — серьезно ответил он, подумав. — Послушайте, мышей же надо истреблять. — Тут он сам расхохотался. — Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!

— Какой? — интересовался я.

— Удочки.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворили его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.

— Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу.

— А что же нужно подносить?

— Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит. Я же не могу так! — шутил Антон Павлович и снова закатывался веселым смехом.

Но на самом юбилее он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

— Дорогой и многоуважаемый… (вместо слова «шкаф» литератор вставил имя Антона Павловича) — приветствуя вас… — и т. д.

Антон Павлович покосился на меня — исполнителя Гаева, — и коварная улыбка пробежала по его губам.

Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном театре

Как бы ни было, на первом представлении «Вишневого сада», 17 янв<аря>, меня чествовали, и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор никак не могу прийти в себя.

Чехов — Ф. Д. Батюшкову. 19 января 1904 г. Москва

Сюжеты

А сколько погибло, между прочим, тонких «чеховских сюжетов», импровизированных под наплывом известного настроения и затем бесследно таявших в разгаре дальнейшей беседы. В моей памяти уцелели два-три из них и то, как в дымке тумана, без ярких подробностей, оживлявших тогда пересказ…

Один отрывок оставил во мне особенно сильное, неизгладимое впечатление. А история была самая будничная… «Молодой муж, учитель гимназии, собирается утром на службу. Жена, к его удивлению, еще не вставала, и он, встревоженный, идет в спальню и будит… Та нехотя поднимается, спускает ноги с кровати и вяло натягивает чулок на левую ногу… На его вопрос она сипло произносит одно слово: „Нездоровится“. Слово самое обыкновенное, но голос, каким оно произнесено, тусклый, безучастный взгляд, какие-то темные пятна, видные на груди от спустившейся с плеча рубахи, — все это заставляет молодого педагога похолодеть от предчувствия чего-то страшного, неизбежного… Но ему все-таки надо идти на службу, он прощается и выходит

на улицу… И вот здесь, на улице, его вдруг охватывает такая безысходная тоска, что он с трудом волочит ноги, точно ноги стали не его, а чужие… Да, он знает, что его жена скоро умрет, и знает, что доктора тут ничего не могут, и все-таки идет в гимназию… И в то же время думает про себя: зачем вообще всякие гимназии и педагогия, и столько тягостных хлопот — все одно, в конце концов, смерть?.. Он проходит мимо памятника Пушкину и опять думает: „Для чего теперь Пушкин, и сладкие стихи, и громкая слава, и все?..“»

Разумеется, это была случайная импровизация за стаканом доброго вина; но в устах Чехова она произвела на меня тогда странное, щемящее впечатление, точно рассказ пушкинского Моцарта о загадочном появлении «черного человека»… Помните, у Пушкина:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится. Вот и теперь,
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит…

Чехову этот «черный» гость тоже не давал покоя, и от времени до времени его призрак появляется то в образе «Черного монаха», то в

трогательном силуэте бедной «Кати Климовой» («Тиф»); его зловещее дыхание уже чувствуется в жалобных стонах «Скрипки Ротшильда», в «Скучной истории» и «Попрыгунье»…

Припоминаю еще небольшой пересказ, начало какого-то романа, тоже, кажется, не попавшего на бумагу. Здесь отпечатлелась та же меланхолическая светотень смерти и жизни… Это было описание похорон, происходящих на кладбище, расположенном вблизи железнодорожной станции… Кого хоронили, теперь не помню; остались в памяти лишь подробности обстановки… «что в воздухе чуялась весна, что на соседней с вырытой могилой решетке бестолково чирикали воробьи, и печальное погребальное пение, относимое ветром в сторону, звучало почему-то совсем не печально… Стоящая впереди всех красивая полная дама поминутно сморкалась в платок, но по всему чувствовалось, что печаль ее не искренна и что она больше вслушивается в шум жизни, доносившийся со станции, чем в слова священника и возгласы певчих… Часть вагонов переводили на другой путь, и хриплые окрики кондукторов перемешивались с глухим цоканьем буферов и сердитым фырканьем паровоза… Из-за низенькой ограды кладбища видна

была часть станционной платформы; и видно было, как по платформе прогуливался тоненький офицер в военной тужурке, с хлыстиком в руке; какая-то беременная баба в желтом головном платке тащила корзину с бельем, а на бабу лаяла белая лохматая собачка, должно быть, собачка начальника станции».

Дальше не помню…

Зато отчетливо помню остов другого рассказа, хотя заглавие его пропустил мимо ушей, кажется, он должен был назваться «В грозу»:

«Проселочной дорогой, по ржаному полю, идут трое: захудалый мещанин, портной по ремеслу, и два монаха. Один монах толстый, плешивый, болтливый, нечто вроде пушкинского „Варлаама“; другой длинный, молчаливый, похожий обликом на изображение угрюмых монахов на воротах лавры… Все трое сошлись случайно, подгоняемые надвигающейся позади них большой грозовой тучей. Однако же зловещая туча догоняет их, кругом темнеет, как ночью, и совсем близко от них разражается оглушительный удар грома. На счастье, около дороги попадается старый развесистый дуб, и они в смятении спасаются под его прикрытие… Между тем гроза, сопровождаемая вихрем и ливнем, обращается в настоящее

светопреставление. Больше всех боится грозы толстый монах и, под внушением своего спутника — мрачного монаха, сбивчиво прорицающего что-то из Апокалипсиса, начинает вдруг каяться в грехах, причем вдается в совершенно лишние подробности любострастного характера. Мещанин плачет и, после одного особенно сильного удара грома, тоже выбалтывает всякую дрянь… Но вот гроза проходит, горизонт проясняется и виднеющийся вдали, на горе, купол городского собора загорается солнцем. Монахи и портной отряхиваются, осматриваются, и всем троим делается стыдно. Толстый монах пытается свалить происшедшее с ним на бесовское наваждение, но неудачно… Молча доходят они до города и молча расходятся затем в разные стороны».

Как жаль, что этот рассказ не был написан Чеховым!.. Если вспомнить удивительное описание грозы в чеховской «Степи», можно наверное сказать, что получился бы один из тех заразительно жизненных, классически сжатых рассказов, какие умел писать только Чехов, — художественный перл, вроде его «Ведьмы» и «Свирели»… А юмор Чехова — смелый, сочный, жизнерадостный, как бы ярко он вспыхнул здесь, хотя бы в той же покаянной исповеди блудного монаха!..

В этот первый писательский период источник чеховского юмора бил особенно сильной струей, и его брильянтовые брызги сверкали в изобилии всюду — в рассказах, письмах, в устных беседах и случайных замечаниях.

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове

Но вскоре он сосредоточивал на себе общее внимание собственными рассказами, по большей части импровизациями, полными заразительного юмора, насыщенными огромной наблюдательностью и выраженными в форме необыкновенно образной. Бывало, слушаешь его низковатый голос, великолепно передающий всевозможные интонации, и буквально помираешь со смеху, а сам рассказчик спокоен, серьезен и с едва заметной улыбкой в уголках рта посматривает на своих дружно, заливисто смеющихся собеседников.

Обыкновенно Антон Павлович потешал нас художественными миниатюрами (так ему свойственными в ту пору творчества), взятыми из жизни крестьян, духовенства и уездной полиции.

Вот его любимый рассказ, к которому он иногда присоединял звуковые вариации.

Утро в поле, сыроватое от утреннего тумана.

Врезавшись в полосу овса, стоит телега. Деревенская лошаденка, лениво пощипывающая колосья, вытертым хвостом отмахивается от назойливых оводов. Вожжи-веревки давно уже свесились и запутались в колесах.

На телеге в соломе спят три фигуры: худенький попик с козлиной бородкой, в ряске, стянутой шитым широким поясом.

Лежит он в цепких объятиях дьячка с косичкой, в длинном синем полукафтанье. Ноги обоих сильно прижаты грузным туловищем отца дьякона с всклокоченной копной рыжей гривы, которая обильно утыкана соломенной кострикой. В селе (если память не изменяет) Пыряеве, у старосты, справляли храмовой праздник; что же удивительного, что после усиленного возлияния и хороших проводов с посошками вся компания полегла мертвецки, в надежде на сивку, которая — не впервые — довезла бы их до дому, если бы не встретилось по дороге соблазнительное угощение — спелый овес.

Солнышко давно уже вышло из-за леса; припекая, первым разбудило батюшку, носившего одно из редко встречающихся имен. Рука его хотела сотворить крестное знамение, но неудержимо одолела икота, чередуясь с привычным

возгласом — «во имя отца и…». Дьячок, спавший с открытым беззубым ртом, несколько раз старался высвободить свою руку из-под батюшки (жест А. П-ча); пробудившись окончательно, старик кое-как, с трудом, получил некоторую свободу действий. «Пре… Пресв… Богородица…» — бормотал он, так и не докончив начатой молитвы, пока не заворочался отец дьякон да спросонья так хватил: «Яко до царя всех подымем!» — что испуганная лошаденка шарахнулась в сторону, свалив телегу набок. Все трое очутились на земле, среди помятых колосьев; с недоумением озирались некоторое время, потом медленно стали оправляться.

Рассказ кончен как бы многоточием. По всей вероятности, это сценка с натуры, из наблюдений его в период летнего пребывания в окрестностях Москвы.

Антон Павлович приправлял свое повествование такими звукоподражаниями, паузами, мимикой, насыщал черточками такой острой наблюдательности, что все мы надрывались от смеха, хохотали до колик, а Левитан (наиболее экспансивный) катался на животе и дрыгал ногами. Конечно, здесь главную роль играло мастерство передачи автора, не скупившегося

на такие подробности, которые с трудом можно восстановить.

В. А. Симов. Из воспоминаний о Чехове

Как-то летним вечером <…> я ехал в маленьком тарантасике вместе с Чеховым на его дачу близ Воскресенска… Дорогою Чехов рассказал мне сюжет романа, который он в то время собирался писать. Первая глава начиналась по-чеховски, очень оригинально.

— Представьте тихую железнодорожную станцию в степи, — рассказывал он, — недалеко имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихо-тихо подкатывает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши…

А. С. Лазарев-Грузинский. О Чехове

Вчера меня известили, что Курепин болен безнадежно. У него рак на шее. Прежде чем умрет, рак съест ему половину головы и замучает невралгиями. Говорят, что жена Курепина писала Вам.

Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело. Напишите пьесу: старый химик изобрел эликсир бессмертия — 15 капель на прием, и будешь жить вечно; но химик разбил стклянку с эликсиром из страха, что будут вечно жить такие стервецы, как он сам и его жена.

Чехов — А. С. Суворину. 8 сентября 1891 г. Москва

Помню — раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:

— Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются — потом дождь проходит, солнце — и вдруг он умирает от разрыва сердца!

— Бог с вами! — изумилась я. — Какой же это будет водевиль?

— А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся — и вдруг — хлоп! Конец!

Конечно, он этого «водевиля» не написал.

Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове

Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зритель-

ными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.

Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.

— Вот, — сказал Горький, — придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».

И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ:

В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатушке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.

А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.

— Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку да ею потихоньку и ткни того, кого хочешь, чтобы

не отстал. И не отстанет, моя милая. Так и прилипнет — не отдерешь. Ты уже мне поверь. Я зря говорить не буду. Женщина я старая, бывалая.

И вот курсисточка закрывает «Эмансипацию женщин» Милля и идет ловить черного кота.

В. А. Поссе. <Воспоминания о Чехове>

Одно время он хотел взять форму «Мертвых душ», то есть поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал передо мною широкую раму романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия.

А. С. Суворин. <О Чехове>

Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. Это было в Баденвейлере. После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая

необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки — одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!

В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы — ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины.

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

Разговор на другой планете о земле через 1000 лет; помнишь ли ты то белое дерево… (березу).

Чехов. Записная книжка

Три страницы

В февр<альской> книжке «Жизни» будет моя повесть — очень страшная. Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! — как корова, запертая в сарае. Всё есть.

Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой. 2 января 1900 г. Ялта

Читал я мужикам «В овраге». Если б Вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им — черт знает до чего! Так что один мужик, Петро Дерид, даже выразил сожаление, что мало про того Костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит «велика матушка Россия». Да, славно все это вышло, должен я сказать. Всех простили мужики — и старого Цыбукина, и Аксинью, всех! Чудесный Вы человек, Антон Павлович, и огромный Вы талантище.

М. Горький — Чехову. Первая половина июля 1900 г. Мануйловка

В этой маленькой повести есть страни-

цы почти евангельской простоты и силы, принадлежащие к лучшему, написанному на русском языке.

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

— Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении. — Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет… — сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно

где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо.

Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле, заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок… Она глядела на небо и думала о том, где теперь

душа ее мальчика: идет ли следом за ней или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы… Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

— Бу-у! — кричала выпь. — Бу-у!

И вдруг ясно послышалась человеческая речь:

— Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы — одна с бочкой, другая пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

— Словно кто идет по дороге.

— Шарик, молчи! — крикнул другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этот другой

был старик. Липа остановилась и сказала:

— Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порвет, дедушка?

— Ничего, иди. Не тронет.

— Я в больнице была, — сказала Липа, помолчав. — Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказал он, обернувшись к спутнику. — Ты бы поживей.

— Твоей дуги нету, — сказал парень. — Не видать.

— Прямой ты Вавила.

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать, — сказал он. — Всякой матери свое дитё жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал — и тотчас

же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклеево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился, — сказала Липа. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или

женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

— Мне, дедушка, идти пешком легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

— Ничего… — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий

господин тут какой-то на пароме, — если помер, то царство ему небесное, — глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия! — сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся.

— Дедушка, — спросила Липа, — когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

— А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу — он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! — позвал старик.

— А!

— Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

— Девять дён. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дён.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дён в печке стучало.

— Ну ладно. Трогай, — сказал старик, и видно

было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка.

«В овраге», 1900

«В овраге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе, — говорю я.

И. А. Бунин. Чехов

Тайна

У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, — все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

«Дама с собачкой», 1899

Я видел, как А. П. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный зайчик и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, — лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидев меня на крыльце, сказал, ухмыляясь: «Здравствуйте! Вы читали Бальмонта. „Солнце пахнет травами“? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом...»

Горький. Заметки из дневника. Люди наедине сами с собой

Под окном ялтинского дома, которое выходит в сторону горы Могаби, лежала куча щебня. Тут же лежал молоток. Каждый день Антон Павлович присаживался на корточки к этой кучке и, в глубокой думе, дробил отдельные камушки молотком. Иногда это продолжалось часами. Мария Павловна, наблюдая эту картину, не могла ей дать полного объяснения.

Также Мария Павловна не могла объяснить, зачем Антон Павлович собирал самые простые

почтовые семикопеечные марки. Филателистическая их ценность была равна нулю, между тем Антон Павлович собирал их десятками, если не сотнями. В Ялтинском Чеховском музее и ныне показывают стопочку семикопеечных марок, аккуратно подобранных и перевязанных белой ниткой.

Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова. 1946–1948 гг.

Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку… Потом, при-

слонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора…

И. А. Бунин. Чехов

Ich sterbe…

Милая Маша, 3-го июня мы уезжаем за границу. Будь добра, распорядись, чтобы немедленно Арсений побывал на почте и заявил там, что меня в Москве уже нет. Мои письма и вообще корреспонденцию получай ты, потом будешь высылать мне, по усмотрению своему, по три-четыре письма в одном конверте.

Адрес заграничный пришлю немедля. Все газеты и журналы складывай на столе, что рядом с моим письменным.

Чехов — М. П. Чеховой. 25 мая 1904 г. Москва

Здоровье мое поправляется, входит в меня пудами, а не золотниками. Ноги уже давно не болят, точно и не болели, ем я помногу и с аппетитом; осталась только одышка от эмфиземы и слабость от худобы, приобретенной мною за время болезни. Лечит меня здесь хороший врач, умный и знающий. Это д-р Schwoerer, женатый на нашей московской Живаго.

Badenweiler очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе. Масса зелени, впечатление гор, очень тепло,

домики и отели, стоящие особняком в зелени. Я живу в небольшом особняке-пансионе, с массой солнца (до 7 час. вечера) и великолепнейшим садом, платим 16 марок в сутки за двоих (комната, обед, ужин, кофе). Кормят добросовестно, даже очень. Но, воображаю, какая здесь скука вообще! Кстати же, сегодня с раннего утра идет дождь, я сижу в комнате и слушаю, как под и над крышей гудит ветер.

Чехов — В. М. Соболевскому. 12 (25) июня 1904 г. Баденвейлер

Милая Маша, здесь жара наступила жестокая, застала меня врасплох, так как у меня с собой все зимние костюмы, я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда. Но куда? Хотел я в Италию на Комо, но там все разбежались от жары. Везде на юге Европы жарко. Я хотел проплыть от Триеста до Одессы на пароходе, но не знаю, насколько это теперь, в июне-июле, возможно. Может ли Жоржик справиться, какие там пароходы? Удобные ли? Долго ли тянутся остановки, хорош ли стол и проч. и проч.? Для меня это была бы незаменимая прогулка, если только пароход хорош, а не плох. <…>

Если будет немножко жарко, то это не беда; у меня будет костюм из фланели. А по железной

дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. В вагоне теперь задохнешься, особенно при моей одышке, которая усиливается от малейшего пустяка. К тому же от Вены до самой Одессы спальных вагонов нет, будет беспокойно. Да и по железной дороге приедешь домой скорей, чем нужно, а я еще не нагулялся.

Очень жарко, хоть раздевайся. Не знаю, что и делать. Ольга поехала в Фрейбург заказывать мне фланел<евый> костюм, здесь в Баденвейлере ни портных, ни сапожников. Для образца она взяла мой костюм, сшитый Дюшаром.

Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок. Масла здешнего есть мне нельзя. Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чем-нибудь, кроме поста, т. е. не есть ничего — и баста. А от одышки единственное лекарство — это не двигаться.

Чехов — М. П. Чеховой. 28 июня (11 июля) 1904 г. Баденвейлер

Это последние написанные Чеховым строчки.

Предпоследняя ночь была страшная. Стояла жара, и разражалась гроза за грозой. Было душно.

Ночью Антон Павлович умолял открыть дверь на балкон и окно, а открыть было жутко, так как густой, молочный туман поднимался до нашего этажа и, как тягучие привидения самых фантастических очертаний, вползал и разливался по комнате, и так всю ночь… Электричество потушили, оно мучило зрение Антону Павловичу, горел остаток свечи, и было страшно, что свечи не хватит до рассвета, а клубы тумана все ползли, и особенно было жутко, когда свеча то замирала, то вспыхивала… Чтобы Антон Павлович, приходя в сознание, не заметил, что я не сплю и слежу за ним, я взяла книгу и делала вид, что читаю… Он спрашивал, приходя в себя: «Что читаешь?» Томик Чехова был открыт на рассказе «Странная история», я так и сказала. Он улыбнулся и слабо сказал: «Дурочка, кто же возит книги мужа с собой?» — и опять впал в забытье. Когда я ему клала лед на сердце, он слабо отстранял и неясно бормотал: «Пустому сердцу не надо…»

О. Л. Книппер-Чехова. 2 июля <из черновых рукописей>

Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося

придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас среди давящей тишины июльской, мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку…

Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe…» Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского…», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда… И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского…

О. Л. Книппер-Чехова. О А. П. Чехове

Антон внезапно скончался 15 ночью от слабости сердца тело везу Москву ответьте где решите хоронить умер без страданий тихо. Побережнее скажите матери Маше Ольга.

О. Л. Книппер-Чехова — И. П. Чехову. 3 июля 1904 г. Баденвейлер

Хороните Антона Москве Ново-Девичьем монастыре Иван и Маша на Кавказе Возле матери Михаил.

М. П. Чехов — О. Л. Книппер-Чеховой, 4 июля 1904 г. Ялта

Вагон для устриц

Вот и похоронили мы Антона Чехова, дорогой мой друг. Я так подавлен этими похоронами, что едва ли сумею толково написать тебе о них, хожу, разговариваю, даже смеюсь, а на душе — гадко, кажется мне, что я весь вымазан какой-то липкой, скверно пахнущей грязью, толстым слоем облепившей и мозг, и сердце. Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, всюду находя ее, всюду освещая ее гнилые пятна мягким, укоризненным светом, подобным свету луны, Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной. Это мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину — у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему — все равно, хоть в корзине для грязного белья вези его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить вагон «для устриц». В этом вагоне — именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее, которая всегда так возмущала покойного. Петербург не

встретил его праха так, как бы следовало — меня это не задевает. Я предпочел бы на похоронах такого писателя, как Антон Чехов, видеть десяток искренно любивших его людей — я видел толпу, «публику», ее было, м. б., 3–5 тысяч и — вся она для меня слилась в густую, жирную тучу торжествующей пошлости.

От Николаевского вокзала до Художественного театра я шел в толпе и слышал, как говорили обо мне, о том, что я похудел, не похож на портреты, что у меня смешное пальто, шляпа обрызгана грязью, что я напрасно ношу сапоги, говорили, что грязно, душно, что Шаляпин похож на пастыря и стал некрасив, когда остриг волосы, говорили обо всем — собирались в трактиры, к знакомым и никто, ни слова о Чехове. Ни слова, уверяю тебя. Подавляющее равнодушие, какая-то незыблемая каменная пошлость и — даже улыбки. Когда я стоял около театра во время панихиды, кто-то сзади меня вспомнил рассказ «Оратор» — помнишь — человек говорит над гробом речь о покойнике, а оказывается, покойник жив, стоит рядом с ним. Это единственное, что вспомнили. Над могилой ждали речей. Их почти не было. Публика начала строптиво требовать, чтобы говорил Горький. Везде, где я и Шаляпин являлись, мы оба

становились сейчас же предметом упорного рассматривания и ощупывания. И снова — ни звука о Чехове. Что это за публика была? Я не знаю. Влезали на деревья и — смеялись, ломали кресты и ругались из-за мест. Громко спрашивали: «Которая жена? А сестра? Посмотрите, плачут!» — «А вы знаете — ведь после него ни гроша не осталось, все идет Марксу!»

«Бедная Книппер!» — «Ну что же ее жалеть, ведь она получает в театре 10 000» — и т. д.

Все это лезло в уши, насильно, назойливо, нахально. Не хотелось слышать, хотелось какого-то красивого, искреннего, грустного слова, а никто не сказал его. Было нестерпимо грустно. Шаляпин — заплакал и стал ругаться. «И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал». Я его увел с кладбища. И когда мы садились на лошадь, нас окружила толпа, улыбалась и смотрела на нас. Кто-то — один на тысячу крикнул: «Господа, уйдите же! Это неприлично!» — они, конечно, не ушли. Прости меня — письмо бессвязно, едва ли ты поймешь из него мое настроение, очень тоскливое и злое. Я буду писать о похоронах статью «Чудовище» — она объяснит тебе, в чем дело.

М. Горький — Е. П. Пешковой. 11 или 12 июля 1904 г. Москва

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен…

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В похоронах знаменитого человека (а к моменту своей смерти Чехов уже был одним из самых известных культурной России людей) всегда сочетаются искренняя скорбь и праздное любопытство, государственная организация и общественная демонстрация, высокая риторика молитв, надгробных речей и бытовая болтовня в течение долгой церемонии.

Горький в этом смысле не фиксирует ничего необычного: градус «пошлости» в июле девятьсот четвертого был, вероятно, не больше, чем в феврале восемьдесят первого (Достоевский) или – через столетие – в июле восьмидесятого (Высоцкий). Вагон же для устриц (о чем лишь через девяносто лет убедительно написала М. Г. Петрова, но ее мало кто услышал) был не вызывающей пошлостью, а необходимостью: только таким образом, в холодильнике, в июльскую жару гроб мог быть доставлен в Россию. Надпись была закрашена минут через двадцать после прибытия поезда в Петербург и ее специ-

ально обнаруживали под слоем краски или с противоположной от входа стороны самые настырные корреспонденты.

Горький выхватил сенсационную деталь из газет и сделал символом. Художественная версия, писательский миф оказался прочней, востребованней, чем правда факта. Всуе поминать вагон для устриц, пожалуй, так же пошло, как и слова о Моисее, сорок лет водившем свой народ по пустыне.

Экзальтированная, аффектированная горьковская скорбь (таким вообще был тон его писем Чехову) кажется слишком театральной, наигранной на фоне других слов, звучавших в те самые дни. И чем, кроме фамилии, провинилась перед Горьким и чеховской памятью вдова Ольга Кукареткина?

Эпилоги

Вот она — непонятная душевная тревога: потрясающее известие о смерти (2 июля) доброго Антуана Чехова! Последнее утешение в жизни (повидаться) — исчезло!.. Мягкий, сияющий вечер… Брожу потерянно по улицам и думаю про себя: «А Чехова нет, а Чехова нет!» После гибели «Петропавловска» не знаю впечатления более подавляющего!

И. Л. Леонтьев-Щеглов. Дневник. 3 июля 1904 г. Петербург

> Броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине 31 марта 1904 года, на той самой далекой японской войне, куда даже в последние дни собирался Чехов. На корабле погибли шестьсот человек, включая адмирала Макарова и художника Верещагина.

2 июля 1904 года я приехал в Ялту, чтобы навестить своих мать и сестру. Тогда Антон Павлович с женой находились за границей, в Баденвейлере.

Когда пароход приставал в Ялте к молу, то мне

кто-то помахал с берега шляпой. Это был мой двоюродный брат Жорж, служивший агентом в Русском обществе пароходства в Ялте и вышедший на мол принять пароход. Он узнал меня издали, приложил рупором ладони ко рту и крикнул мне с берега:

— Антон скончался!

Это ударило меня как обухом по голове. Хотелось заплакать. Вся поездка, вся эта прекрасная с парохода Ялта, эти горы и море сразу же померкли в моих глазах и потеряли цену.

Я отправился в Аутку. Сестра в это время была с братом Иваном Павловичем в Боржоме. Послали ей срочную телеграмму, а от матери все время скрывали. Ничего еще не подозревавшая, она радостно встретила меня, стала угощать — но кусок не шел мне в рот, и мне было неловко перед ней, что я скрывал от нее такое важное событие и должен был поддерживать комедию, чтобы подготовить ее к удару постепенно.

Затем возвратились в Ялту брат и сестра, и тотчас же была получена телеграмма от вдовы о том, что она везет тело покойного через Петербург в Москву. Стали появляться сообщения в газетах. Не прожив и пяти дней в Ялте, я должен был возвращаться опять на север, чтобы встретить тело

и проводить его до могилы. Собралась и сестра. Перед отъездом открыли наконец матери тайну. Она схватилась руками за голову, опустилась на ступеньки лестницы, где стояла, и громко зарыдала. Не было сил присутствовать при этом тяжком ее горе. Затем, придя понемногу в себя, стала собираться с нами в Москву и она.

Мы отправились на север вчетвером. Ялтинский дом остался сиротою.

Мы приехали в Москву к самым похоронам. Нас встретил на вокзале в Москве В. С. Миролюбов и повез в карете к университету, так как тело уже прибыло из Петербурга и его несли с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь. Если бы наш поезд опоздал, то мы так бы и не попали на похороны. Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускали к телу. Московская молодежь, взявшись за руки, охраняла кортеж от многих тысяч сопровождавших, желавших поближе протиснуться

к гробу.

Так мы дошли до самого монастыря под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал. Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась на кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, валиться памятники, рушиться решетки и затаптываться цветы.

Брата Антона опустили в могилу рядом с отцом. Мы взглянули в нее последний раз, бросили по прощальной горсти земли, она ударилась о крышку гроба — и могила закрылась навсегда.

М. П. Чехов. Вокруг Чехова

При таком огромном стечении народа царил полнейший порядок. Движение транспорта, в том числе и трамваев, по улицам, где проходила процессия, было прекращено, боковые улицы были перекрыты канатами. Но что было особенно тро-

гательно, это то, как студенчество поддерживало порядок. Взявшись за руки и составив огромную цепь, студенты и молодежь Москвы охраняли траурную процессию и не давали любопытным протискиваться поближе к гробу и создавать беспорядок. Нас тоже не хотели пропускать к гробу и не слушали наших уверений, что мы родные. Я, не помня себя, рвалась со слезами вперед:

— Пустите, пустите меня к брату…

Наконец нас узнали и пропустили. <…>

На самом кладбище монастыря порядок удержать было уже невозможно, так как вся огромная толпа хотела присутствовать при погребении Чехова. В результате на кладбище потом оказались сломанные кресты, памятники, ограды могил.

Мне не забыть, как при опускании гроба в могилу тысячная толпа запела «Вечная память!..».

М. П. Чехова. Из далекого прошлого

Ранним июльским утром, в золоте и голубизне света над Москвой извозчик вез нас с Арбата на Николаевский вокзал. <…> Ехали мы на Николаевский вокзал встречать гроб Чехова.

Он возвращался в родной город столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был сам.

Встретить его на вокзал собрались средние

русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицмейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты, и старшие, но только те, кто просто, сердцем любили его.

Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домниковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко портной с замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» — «Не, писателя». — «Пи-са-те-ля!»

Путь был далекий, через всю Москву, в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу.

Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим — само горе просветляло.

У Художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола.

Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли

с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа — это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он уходил из клиники, выздоравливая, стоял скромно в храме, слушая службу и пение монашенок.

Б. К. Зайцев. Чехов

Одна из таких барышень с заплаканными глазами, девятнадцатилетняя Маня Смирнова, двоюродная племянница К. С. Станиславского, написала подробное письмо дяде.

Рано утром я поехала на вокзал… <…> На станции уже было очень много народу, но гораздо меньше, чем у Художественного и на кладбище. Когда гроб пронесли мимо меня, у меня сердце больно, больно защемило, и слезы так и потекли! А на Ольгу Леонардовну невозможно было смотреть без слез, они у меня навертываются сейчас при одном воспоминании! Вся ее фигура в большой черной креповой шляпе с длинной вуалью, с скорбным исхудалым лицом, залитым слезами, выражала такую глубоко раздирающую печаль, что становилось страшно за нее, и собственное

горе бледнело перед этой скорбью. Она шла, опираясь на Владимира Ивановича Немировича и Гольцева, сзади ее поддерживала Элла Ивановна, жена Владимира Леонардовича <Книппера>. Больше никого не было из близких Антона Павловича ни на станции, ни у Художественного театра, мать, братья и Мария Павловна, которые совершенно занемели в своем горе, и тетка Ольги Леонардовны приехали уже в монастырь, а может быть, к «Русской мысли», я там не была.

Тяжело страшно было у Художественного! Для меня, которая так любит его, тяжелей всего! Я невольно вспомнила чествование 17-го января! Как перед этим днем перед милым театром стояла огромная, бушующая, веселая, нетерпеливая толпа, чтобы добиться билетов; я с утра радостно волновалась в этот день и вечером, во время чествования, мне было грустно до слез, и ужасное предчувствие меня мучило, какой-то внутренний голос шептал: «Это в последний раз, в последний раз чествуют Чехова, в первый и последний». И теперь… — перед крыльцом вместо экипажей с разряженной публикой стоит черная подставка, ждут священник и дьякон, огромная толпа, грустная, молчаливая, торжественная наполняет оба тротуара на протяжении 6-ти, 7-ми домов, а пу-

стая середина улицы ждет вторую толпу, которая двигается медленно с прахом Чехова. Мы были у окна в фойе театра. В театре были Лужский, тетя Маруся <М. П. Лилина, жена Станиславского>, тетя Нюша <А. С. Алексеева, сестра Станиславского>, М. П. Григорьева, Качалов с женой, Званцев военным, Захаров, Павлова, несколько учениц (Красовская), Шаляпин, Горький, Ф. Гольст, Желябужский. Все грустные, расстроенные. Качалов и Шаляпин особенно, — и оба очень бледные. Горький очень взволнованный. Все какие-то растерянные.

Вот послышалось вдали пение, толпа хлынула и залила всю улицу, гроб опустили перед дверью Художественного, перед дверью Чеховского театра, которому он дал жизнь и славу и который дал жизнь его пьесам! У меня сердце разрывалось. Я вспомнила Ольгу Леонардовну, какой я ее видела в последний раз в стенах этого театра, — очаровательную парижанку в рыжем парике, в чудном голубом капоте у окна, открытого в Вишневый сад… и теперь! Это было ужасно, ужасно… Несчастная не могла стоять на ногах во время литии, опустилась на колени. Когда лития кончилась, воздух дрогнул от тысячи голосов, поющих «вечную память», — было жутко и торжественно!

Про монастырь не буду тебе рассказывать… мне слишком тяжело, и слезы давят горло!

М. И. Смирнова — К. С. Станиславскому. 9 июля 1904 г. Москва

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

— Вот горе-то у нас какое… Нет Антоши…

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними.

А. И. Куприн. Памяти Чехова

<Чехов:> Смерть — жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в миро-

вой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать.

А. С. Суворин. Дневник. 23 июля 1897 г.

Раз, приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым, или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома. Мы сидели вдвоем. Я сказал:

— Вот и меня похоронят и так же придут домой и станут пить чай и говорить о всяком вздоре.

Он засмеялся: «Конечно, будет так».

А. С. Суворин. Дневник. 27 сентября 1900 г.

Глядя в окно на покойника, которого несут: — Ты умер, тебя на кладбище несут, а я завтракать пойду.

Чехов. Записная книжка

Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь

же…» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска

небытия, подавленное отчаяние…

«Ионыч», 1898

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства.

«Дама с собачкой», 1899

Наконец-то я могу писать — тебе, дорогой мой, милый, и далекий, и такой близкий, Антон мой! Где ты теперь — я не знаю. Давно ждала я того дня, что мне можно будет писать тебе. Сегодня я приехала в Москву, побывала на твоей могилке… Как там хорошо, если бы ты знал! После засохшего юга все здесь кажется таким сочным, ароматным,

пахнет землей, зеленью, деревья так мягко шумят. Как непонятно, что тебя нет среди живых людей! Мне тебе надо так много, много написать, рассказать тебе все, что я пережила за последнее время твоей болезни и после той минуты, когда перестало биться твое сердце, твое наболевшее, исстрадавшееся сердце.

Мне сейчас странно, что я пишу тебе, но мне этого хочется, безумно хочется. И когда я пишу тебе, мне кажется, что ты жив и где-то ждешь моего письма. Дусик мой, милый мой, нежный мой, дай мне сказать тебе ласковые нежные слова, дай мне погладить твои мягкие шелковистые волосы, дай взглянуть в твои добрые, лучистые, ласковые глаза.

Если бы я знала, чувствовал ли ты, что уходишь из этой жизни! Мне кажется, что все-таки чувствовал, может быть, неясно, но все-таки чувствовал. 29 июня, когда тебе сделалось нехорошо, ты велел выписать деньги, последние наши, из Берлина через Иоллоса и велел мне писать Иоллосу, чтобы он выслал на мое имя. Мне это было неприятно, и я не хотела делать этого, но ты настоял. Потом ты сказал, чтоб я написала Маше, и я тут же написала ей. Мы с ней нехорошо расстались в мае, когда она уезжала; но я дала ей

слово писать каждый день и писала, а потом перестала. Ты ведь ей часто писал из Баденвейлера. Чувствовал ли ты, что происходило между нами? Ведь все это была ревность, и больше ничего. Ведь любили мы друг друга очень. А ей все казалось, что я отняла у нее все, и дом, и тебя, и держала себя какой-то жертвой. Сначала я все объяснялась с ней, говорила много, горячо убеждала, умоляла; сколько мы слез пролили, если бы ты знал! Но все не ладилось, и в конце концов я махнула рукой. Если бы она только знала, сколько мы с тобой говорили, помнишь, в Аксенове, о том, чтобы она не чувствовала себя обездоленной. Ведь я же не выказывала никаких хозяйских прав или наклонностей, всегда считала Ялту ее домом, и мне так больно было слышать, когда она говорила, что у нее теперь нет ни дома, ни угла, ни сада. Боже мой, зачем это все так сложилось! Если бы она знала, с какими радужными надеждами я ехала с тобой из Уфы в Ялту! Не вышло с первого же дня… А если бы все так было, как я мечтала, я бы, вероятно, остыла к театру… Но сразу я почувствовала, что тут не может быть полноты жизни, полной гармонии. О, как я страдала эти полтора месяца в Ялте! И все эти осложнения из-за обряда в церкви!..

Дневник О. Л. Книппер в форме писем к А. П. Чехову. 19 августа 1904 г.

Утром в воскресенье я ездила в Новодевичий монастырь. Так у меня радостно бьется сердце всякий раз, как начинают виднеться башни монастыря! Точно я еду к тебе, и ты ждешь меня там. Как плакала на твоей могилке! Я бы часами могла лежать на коленях, прижав голову к земле, к зеленой травке на холмике, под которым лежишь ты… Родной мой, где ты?!

Дневник О. Л. Книппер в форме писем к А. П. Чехову. 24 августа 1904 г.

Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, поставили памятник.

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты Художественного театра — Книппер-Чехова, Москвин, Вишневский, были члены президиума Чеховского общества, фото-

граф, несколько родственников и знакомых. День выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим снегом и ледяным ветром.

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда наконец дорылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:

— Нет, товарищи! Давайте понесем на руках.

И первый взялся за металлическую скобку гроба.

Так со старого, упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, туда, где Художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими весною.

В этом «вишневом саду» была уже приготов-

лена новая могила, вблизи аллей с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы; сюда же перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя.

Молча подошли мы к новой — второй — чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серою дымкой.

Н. Д. Телешов. А. П. Чехов

Для тех же, кто лично знал Чехова и восхищенной привязанностью к нему скрашивал свое бедное существование, для его сверстников, для людей его возраста это потеря, прямо страшная. Наше поколение вместе с Чеховым умирает для истории, ибо кто из нас останется в потомстве, кого вспомнят через пятьдесят лет? А Чехова будут читать сотни миллионов читателей, и некоторые его вещички достойны будут пережить язык русский, если он когда-нибудь сотрется на земле.

Смерть Чехова оставляет огромную пустоту в жизни тех, кто его любил.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

Для меня Чехов — самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к Пушкину и Лермонтову, любимая, как Салтыков, стоящая рядом с Достоевским и Толстым, и для нашего поколения во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому как человек, знавший Чехова, то вблизи, то издали, почти четверть века, — что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечностью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и в новых светах.

А. В. Амфитеатров. Десятилетняя годовщина

Еще не опущено тело Чехова, как заговорили о намогильном памятнике ему. Это прекрасно, но почему именно на могиле ставить памятник? Почему не на какой-нибудь площади в Москве или Петербурге? Потому что это было бы слишком естественно и просто, а у нас обычай класть великого человека под сукно, ждать, когда его

забудут, когда вымрет все поколение его знавших и любивших, когда некому будет протестовать против чугунной или мраморной карикатуры, которую воздвигают под названием монумента. Я не понимаю смысла кладбищенских памятников. Поезжайте на Волково — не смешны ли эти высокие бюсты писателей, глядящие в затылок друг другу? На могиле приличен простой крест — и только. На площади, среди зелени и цветов — другое дело, но статуя замечательного человека непременно должна быть высокохудожественной работы.

М. О. Меньшиков. Памяти А. П. Чехова

«Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака» <Розанов>, — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим или не зависящим от нас причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там и без того его знает каждая собака. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы; каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

В. Ерофеев. Василий Розанов глазами эксцентрика. 1973

Говоря о памятнике Чехову, Меньшиков почти повторяет цитируемого Ерофеевым Розанова: он был его учеником. Памятник в ялтинском городском саду — среди зелени и цветов — поставили лишь в 1953 году в присутствии сестры и жены. О художественности этой работы судить трудно. Прах Антона Деникина — уже в XXI веке — вернули из Америки в Россию, но во взятом и оставленном им Воронеже памятника еще нет. Впрочем, это сюжет уже совсем иного романа…

В холодном апреле давешнем,
Покашливая —
Опять не удел:
– Маша, смотри, я – памятник.
И грустно вдаль посмотрел.

Даты

1860, 17 (29) января — Чехов родился в Таганроге. Семья: отец — Павел Егорович Чехов (1825–1898), мать — Евгения Яковлевна Чехова (урожд. Морозова; 1835–1919); братья Александр (1855–1913), Николай (1859–1888), Иван (1861–1922), Михаил (1865–1936), сестра Мария (1863–1957).

1869–1879 — учеба в таганрогской гимназии, в 3 и 5 классах оставался на второй год.

1876 — П. Е. Чехов, признанный несостоятельным должником, бежал с семьей в Москву, где уже учились его старшие сыновья Александр и Николай; Антон остался в Таганроге до окончания гимназии.

1877, март — апрель — первая поездка в Москву на пасхальные каникулы.

1879–1884 — учеба на медицинском факультете Московского университета.

1880 — первые точно установленные публикации Чехова «Письмо к ученому соседу» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.» в петербургском юмористическом журнале «Стрекоза» (№ 10).

1882 — знакомство с редактором-издателем

журнала «Осколки» Н. А. Лейкиным (1841–1906), начало работы в журнале.

1884, июнь — первый опубликованный сборник рассказов на театральные темы «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте».

1885, апрель — начало сотрудничества в «Петербургской газете»; *декабрь* — первая поездка в Петербург (всего таких поездок будет более двадцати), знакомство с Д. В. Григоровичем (1822–1899) и А. С. Сувориным (1834–1912).

1886, февраль — начало сотрудничества в газете А. С. Суворина «Новое время»; *25 марта* — письмо Д. В. Григоровича; *май* — публикация второй книги «Пестрые рассказы» (до 1899 г. выдержала 13 переизданий); *август* — вместе с семьей поселился в «доме-комоде» на Садово-Кудринской улице.

1887, апрель — май — поездка в Таганрог; *август* — в издательстве А. С. Суворина выходит книга «В сумерках» (12 переизданий до 1899 г.).

1888, март — публикация повести «Степь» («Северный вестник», № 3); *октябрь* — присуждение академической Пушкинской премии за сборник «В сумерках».

1889, январь — знакомство с Л. А. Авиловой (1864–1943); *17 июня* — смерть брата Николая в Сумах, куда семья приехала на лето; *осень* — зна-

комство с Л. С. Мизиновой (1870–1937).

1890, март — вышел сборник «Хмурые люди» с посвящением П. И. Чайковскому (до 1899 г. переиздавался 9 раз); *апрель — декабрь* — поездка на Сахалин (на острове Чехов пробыл с 11 июля по 13 октября).

1891, март — апрель — первая заграничная поездка вместе с А. С. Сувориным: Австрия, Италия Франция.

1892, март — переезд вместе с семьей в недавно купленное подмосковное имение Мелихово.

1894, март — апрель — поездка для лечения в Крым, *сентябрь — октябрь* — вторая заграничная поездка: Вена, Венеция, Ницца, Париж.

1895, 8–9 августа — посещение Ясной Поляны, знакомство с Толстым; *октябрь — середина ноября* — работа в Мелихове над пьесой «Чайка»; *14 декабря* — знакомство с И. А. Буниным (1870–1953).

1896, 17 октября — провал постановки «Чайки» в Александринском театре.

1897, 25 марта — 10 апреля — пребывание в московской клинике А. А. Остроумова в связи с сильным легочным кровотечением; *28 марта* — посещение Чехова Толстым.

1897–1898, сентябрь — май — восемь месяцев

за границей, большая часть — в «Русском пансионе» в Ницце.

1898, 9 сентября — знакомство с О. Л. Книппер (1869–1959); *14 сентября* — присутствие на репетиции спектакля по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», где она исполняла роль Ирины; *15 сентября* — отъезд в Ялту, покупка на окраине Ялты в Аутке участка для строительства дачи; *12 октября* — смерть П. Е. Чехова; *17 декабря* — триумфальная премьера «Чайки» в МХТ, Аркадину играла О. Л. Книппер.

1899, 19 марта — знакомство в Ялте с М. Горьким (1868–1936) (переписка началась в октябре 1898 г.); *июль — август* — назначенная встреча с О. Л. Книппер и совместное путешествие из Новороссийска в Ялту и Москву; *26 октября* — премьера в МХТ «Дяди Вани».

1900, январь — публикация повести «В овраге» (журнал «Жизнь», № 1); *10–23 апреля* — гастроли в Севастополе и Ялте Московского художественного театра, спектакли «Чайка», «Дядя Ваня» и др., встречи с режиссерами и актерами театра, а также Горьким, Буниным, Куприным.

1901, 31 января — премьера в МХТ пьесы «Три сестры»; *25 мая* — венчание с О. Л. Книппер и совместный отъезд на кумыс в Уфимскую губер-

нию; *3 августа* — письмо-завещание на имя М. П. Чеховой; *сентябрь — декабрь* — встречи с приехавшим на лечение в Крым Л. Толстым, Горьким, Буниным; закончено первое издание Собрания сочинений в 10 т. *(1899–1902)*.

1903 — выход в приложении к журналу «Нива» «Полного собрания сочинений Ант. П. Чехова» в 16 томах, обозначенного как второе издание (после смерти Чехова вышло семь дополнительных томов, т. 17–23).

1904, 17 января — премьера в МХТ «Вишневого сада», чествование Чехова в антракте по поводу 25-летия литературной деятельности; *3 июня* — отъезд из Москвы в Баденвейлер; 2 июля — смерть в Баденвейлере; *9 июля* — похороны на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве.

Источники

Произведения и письма А. П. Чехова, а также некоторые письма к нему цитируются по изданию: *Чехов А. П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974–1983.

А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Предисл. А. К. Котова, подгот. текста и примеч. Н. И. Гитович, И. В. Федорова. М., 1960.

А. П. Чехов в воспоминаниях современников / Вступит. ст. А. М. Туркова; сост., подгот. текста и коммент. Н. И. Гитович. М., 1986.

Вокруг Чехова / Сост., вступит. ст. и примеч. Е. М. Сахаровой. М., 1990.

Из школьных лет Антона Чехова: Сб. воспоминаний / Сост., предисл. и пояснит. статьи к разделам Н. А. Роскиной. М, 1962.

Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. Т. 1: 1860–1888 / Сост. Л. Д. Громова-Опульская, Н. И. Гитович. М., 2000; Т. 2: 1889 — апрель 1891 / Сост. И. Ю. Твердохлебов. М., 2004; Т. 3: Май 1891–1894 / Сост. М. А. Соколова, И. Е. Гитович. М., 2009. Т. 4: В 2 кн. Кн. 1.: 1895–1896; Кн. 2: 1897 — сентябрь 1898 / Сост. А. П. Кузичева. М., 2016.

Литературное наследство. Т. 68: Чехов. М., 1960.

М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания: Сб. материалов. М., 1951.

Переписка А. П. Чехова: В 3 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996.

Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер: В 2 т. / Сост., коммент. З. П. Удальцовой. М., 2004.

* * *

Амфитеатров А. В. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. Кн. 1. М., 2003. С. 375–424.

Батюшков Ф. Д. Две встречи с А. П. Чеховым / Публ. П. Р. Заборова // Русская литература. 2004. № 3. С. 169–174.

Бунин И. А. О Чехове. Незаконченная рукопись / Предисл. М. А. Алданова. Нью-Йорк, 1955.

Вишневский А. Л. Клочки воспоминаний. Л., 1928.

Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. Т. 17. М., 1968–1976.

Долженко А. А. Воспоминания родственника об Антоне Павловиче Чехове / Публ. П. С. Попова // А. П. Чехов: Сб. статей и материалов. Ростов н/Д, 1959. С. 335–345.

Ежов Н. М. Алексей Сергеевич Суворин (Мои воспоминания о нем, думы, соображения) //

Среди великих. Литературные встречи / Сост. вступит. ст. и коммент. М. М. Одесской. М., 2001. С. 213–230.

Зайцев Б. К. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк, 1954.

Лазаревский Б. А. Дневник / Публ. Н. И. Гитович // Литературное наследство. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли 1860–1890-х годов. М., 1977. С. 319–355.

Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки (1904–1905) / Подгот. текста и примеч. А. С. Мелковой // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. М., 1979.

Меньшиков М. О. Памяти А. П. Чехова / Публ., вступит. заметка, подгот. текста М. Б. Поспелова // Наше наследие. 2004. № 70. С. 72–78.

Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма: В 2 т. М., 1979.

Розанов В. В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине // Телохранитель России: А. С. Суворин в воспоминаниях современников. Воронеж, 2001.

Сергеенко П. А. Записи // Литературное наследство. Т. 37/38: Толстой. М., 1939. С. 539–565.

Смирнова М. И. <Письмо К. С. Станиславскому от 9 июля 1904 г.>// Бродская Г. Алексеев-Станиславский, Чехов и другие. Вишневосадская

эпопея: В 2 т. М., 2000.

Смирнова-Сазонова С. И. Дневник / Публ. Н. И. Гитович // Литературное наследство. Т. 87. С. 304–318.

Суворин А. С. Дневник. М.; Пг., 1923.

Теляковский В. А. Дневник / Публ. А. Э. Фриденберга // Литературное наследство. Т. 87. М., 1977. С. 511–518.

Толстая (Сухотина) Т. Л. Дневник / Сост. и вступит. ст. Т. Н. Волкова. М., 1979.

Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975.

Чехов Ал. П. В греческой школе; Антон Павлович Чехов — лавочник; В гостях у дедушки и бабушки // Александр и Антон Чеховы. Воспоминания. Переписка / Сост., подгот. текста, коммент. Е. М. Гушанской, И. С. Кузьмичева. М., 2012. С. 43–163.

Чехов П. Е. Дневник / Сост. А. П. Кузичева, Е. М. Сахарова. М., 1995.

Чехова М. П. Из далекого прошлого. М., 1960.

Чехова М. П. Воспоминания в записи С. М. Чехова (1946–1948) // Шалюгин Г. А. Чехов: жизнь, которой мы не знаем. Симферополь, 2004. С. 212–242.

Чехов и...
Филологические сюжеты

Чеховские писатели и литератор Чехов[15]

Исторический подход к «историям русской литературы» позволяет сделать вывод о том, что полученная картина существенно меняется при выборе исходной «единицы» (Л. С. Выготский) анализа.

Наиболее привычной и распространенной является «персональная история» («история генералов», как иронически говорили формалисты), где такой единицей оказывается «очерк творчества» (от Пушкина к Гоголю и т. д.). В 1960–1970-е годы Институт русской литературы (Пушкинский Дом) занимался жанровыми историями: история русского романа, повести, поэзии, критики. Еще во вторую половину XIX века уходят попытки тематических («История русской интеллигенции» Д. Н. Овсянико-Куликовского) и «категориальных» историй («Из истории эпитета» А. Н. Веселовского).

Новый аспект исследований, связанный с идеей «исторической поэтики», открывают

---

[15] Примечания: 15

Впервые опубликовано: Литературное обозрение. 1994. № 11/12. С. 3–6.

разработанные М. М. Бахтиным «формосодержательные» категории «автор», «герой», «хронотоп», «читатель», представляющие собой ключевые, интегрирующие элементы эстетической структуры. Отсюда — идея истории литературы как эволюции *форм авторства.*

Однако при этом необходимо уточнить само понятие «автор». Под «автором» в разных исследованиях и контекстах подразумевается и изображенный, включенный в художественный мир персонаж («образ автора» в «Евгении Онегине»), и объективное, неперсонифицированное повествование от третьего лица («Отцы и дети» написаны «от лица автора»), и реальный создатель художественного текста (Пушкин — автор «Евгения Онегина»).

Наконец, «автор» может пониматься как «знак, символ системы» (Г. А. Гуковский), как культурологическая категория, возникающая на границах художественного мира произведения и «творческого хронотопа», в котором «происходит… обмен произведения с жизнью и совершается особая жизнь произведения»[16].

Взглянув с такой точки зрения — и в первом

[16] Примечания: 16
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 403.

приближении — на русскую литературу XIX века, мы увидим три сменяющие друг друга (и в то же время — сложно взаимодействующие) парадигмы, три культурологических образа: *поэт — писатель — литератор*.

Эпоха *поэтов* — это пушкинско-гоголевско-лермонтовская эпоха. Ее поэтическое самосознание воплощено в «Пророке» и «Памятнике», в «Смерти поэта» и «Поэте», в «Мертвых душах» и множестве других произведений 1820–1840-х годов.

«Поэт… Поэт есть первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение»[17].

«И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в священный ужас и блистанье

---

[17] Примечания: 17

Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 23.

главы, и ночуют в смущенном трепете величавый гром других речей…»[18]

Второй член оппозиции внутри данной парадигмы может маркироваться по-разному: *народ, толпа, царь, Бог, муза*… Но в любом случае культурное пространство вокруг Поэта универсально и иерархично. Он осознает свое творчество как *миссию, пророчество* и т. п.

В 1840–1880-е годы (границей между эпохами, вероятно, оказывается «натуральная школа») культурная парадигма изменяется, на смену поэту приходит *писатель*.

«Общественное значение писателя (а какое же и может быть у него иное значение) в том именно и заключается, чтобы пролить луч света на всякого рода нравственные и умственные неурядицы, чтобы освежить всякого рода духоты веяньем идеала… Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего»[19].

Культурное пространство «писателя» конкре-

---

[18] Примечания: 18

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т. 5. С. 157.

[19] Примечания: 19

Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 185.

тизируется. Особое значение приобретает уже не универсальный, а социально-исторический контекст. Ведущей в этой парадигме становится оппозиция *писатель — общество*. А творческий стимул писателя можно обозначить как *обязанность*. Но объединяет эту парадигму с предшествующей иерархический тип отношений с аудиторией, *авторитарное* (М. М. Бахтин) слово.

Чехов смотрит на эту традицию со смешанным чувством зависти и восхищения. В известном письме А. С. Суворину от 25 ноября 1892 года он противопоставляет «вечных или просто хороших» писателей предшествующих эпох, творчество которых проникнуто сознанием цели (даже если эта цель «водка, как у Дениса Давыдова»), и писателей своего поколения, своих современников, пишущих жизнь «такою, какая она есть», не имеющих ни «ближайших, ни отдаленных целей»[20].

Можно сказать, что в центре этой новой, «чеховской», культурной парадигмы оказывается *литератор* (слово, любимое и многократно упо-

---

[20] Примечания: 20

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 5. М., 1977. С. 133. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы; письма обозначаются литерой П.

треблявшееся Чеховым).

Культурное пространство «литератора» становится фрагментарным, неоднородным, специализированным. «Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут…» — замечал Чехов в упомянутом письме. Литератор тем самым приобретает такой же статус, как и чиновник или торговец, и, более того, попадает в зависимость от них как читателей-заказчиков.

Организующей культурной оппозицией в этой парадигме становится отношение *литератор — публика*. Вместо утерянного, исторически исчерпанного авторитарного слова литератор должен искать слово «внутренне убедительное»[21]. Творческим стимулом в данном случае становится уже не пророческая миссия и не высокая обязанность, а тяжкий *долг* (т. е. стимул приобретает по преимуществу внутренний характер).

Такой тип писательского самосознания распространяется на все пространство чеховского творчества. Первоначальным его манифестом

[21] Примечания: 21

О различии слова авторитарного и внутренне убедительного см.: *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. С. 154–158.

может считаться иронически-исповедальная «Марья Ивановна» (1884).

«Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица… Если бы мы послушались вашего „не пишите“, если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель…

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая» (2, 313).

Позиция литератора, не хранителя и транслятора, а *соискателя* истины формирует художественный мир Чехова. В позднем творчестве она, однако, не является предметом прямой рефлексии, осуществляясь главным образом в письмах. Единственное, но принципиально важное исключение — «Чайка». «Разговоры о литературе» в комедии перерастают в своеобразный «парадокс о литераторе», становятся еще одним чеховским исповеданием веры.

Тригорин и Треплев противопоставлены в раз-

ных отношениях.

С точки зрения творческих стимулов, характера *творческого процесса* — это чеховские Сальери и Моцарт.

Тригорин, словно продолжая монолог героя «Марьи Ивановны», жалуется на постоянную тяжесть литературной работы («чугунное ядро» сюжета), изнурен беспрерывной наблюдательностью («ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!») — и все во имя долга («День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен...»).

Треплев, напротив, рассчитывает на вдохновение («Вы презираете мое вдохновение...» — говорит он Нине после провала пьесы), считает, что настоящее искусство возникает, когда «человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет потому, что это свободно льется из его души».

С точки зрения *поэтики* Тригорин оказывается художником-импрессионистом — мастером точной детали (горлышко бутылки на плотине; облако, похожее на рояль), пейзажа («я умею писать только пейзаж»), «сюжетов для небольшого рассказа».

Треплев же проделывает в «Чайке» примечательную эволюцию, сменяет несколько поэтик. Пьеса о «мировой душе» ориентирована (что не раз отмечалось литературоведами) как на эстетику романтизма, так и на только зарождающуюся символистскую. Штампы вроде «афиша на заборе гласила…» напоминают о современной Чехову и его герою массовой литературе. А новое начало, которое придумывает Треплев для рассказа («Начну с того, как героя разбудил шум дождя…»), неожиданно сближает его с художественным антагонистом: так вполне мог начинаться и тригоринский сюжет для небольшого рассказа о погубленной девушке-чайке.

Но противопоставленные по типу творчества, художники разных поколений, Тригорин и Треплев сближаются, объединяются в недовольстве своей социокультурной ролью. Тригорин, *литератор* до мозга костей, пытается освоить амплуа писателя: «Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем…» Треплев, *поэт* по призванию и художественным устремлениям, превращается в литератора, но финальным выстрелом, уже в

собственной жизни, возвращается к первоначальной роли.

Авторскую позицию по отношению к героям-сочинителям можно определить как раздвоение единого. И «тригоринское», и «треплевское» начала прорастают в глубину чеховского художественного мира, становятся его конкретными изобразительными аспектами. Но в динамике этого отношения есть точка принципиального расхождения. Она находится не в эстетической, а в этической плоскости.

Литератор Тригорин использует жизнь как сырье для сочинительства, он играет и жертвует чужими судьбами. Реальность, ставшая литературой, исчезает из его памяти. «Не помню… Не помню!» — говорит он о чучеле чайки и связанной с ней судьбе Заречной.

Поэт Треплев строит жизнь по законам искусства и платит за свои неудачи и разочарования только собственной судьбой. В конце «Чайки» литератор Чехов делает выбор: остается с поэтом Треплевым.

После «литературной» «Чайки» Чехов практически не возвращается к этой теме в своем творчестве. Но она неоднократно возникает в его записных книжках, этом «оглавлении будущего»

(З. Паперный), приобретая новые краски и какую-то, почти гротескную, остроту.

Намеченный в «Марье Ивановне», затронутый в «Чайке» («Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны») конфликт литератора и публики приобретает неразрешимый характер, достигает какой-то остервенелости.

Высокомерно-презрителен взгляд публики на сочинителя. «Что? Писатели? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем?» (17, 84). «В театре господин просит даму снять шляпу, которая мешает ему. Ропот, досада, просьбы. Наконец признание: „Сударыня, я автор!“ Ответ — А мне все равно» (17, 133).

Не менее резка и презрительна ответная реакция: «Каждый идет в театр, чтобы, глядя на мою пьесу, научиться чему-нибудь тотчас же, почерпнуть какую-нибудь пользу, а я вам скажу: некогда мне возиться с этой сволочью» (17, 95).

И это взаимное непонимание, выяснение отношений происходит на фоне резкого падения роли литературы, ее места в обществе. «Молодежь не идет в литературу, потому что лучшая ее часть

теперь работает на паровозах, на фабриках, в промышленных учреждениях, вся она ушла в индустрию, которая делает теперь громадные успехи» (17, 51). «Писатель Гвоздиков думает, что он очень знаменит, что его знают все. Приехав в С., встречается с офицером, который долго жмет ему руку, восторженно глядя в лицо. Гвоздиков рад, тоже горячо жмет руку… Наконец офицер спрашивает: „а как ваш оркестр? вы ведь капельмейстер?“» (17, 103).

Чехов видит исторические причины новой культурной ситуации. «В нашем молчании, в несерьезности и в неинтересности наших бесед не обвиняй ни себя, ни меня, а обвиняй, как говорит критика, „эпоху“, обвиняй климат, пространство, что хочешь, и предоставь обстоятельства их собственному, роковому, неумолимому течению, уповая на лучшее будущее», — пишет он Вл. И. Немировичу-Данченко в ноябре 1896 года (П6, 242).

Этому роковому, неумолимому течению обстоятельств литератор может противопоставить только одно — собственные долг, веру, ответственность.

«За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным

в ней. Но с ответственностью связана и вина. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной, все ее моменты должны не только укладываться во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности»[22].

Категория ответственности, пожалуй, объединяет все три культурные парадигмы, делает поэта, писателя и литератора разными историческими воплощениями, разными ипостасями художника-творца.

---

[22] Примечания: 22

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 5–6.

Чехов и Пушкин: к парадигмологии русской литературы[23]

Как это ни парадоксально, тема «Чехов и Пушкин» не принадлежит к числу столь же привычных, достаточно разработанных, как другие чеховские «и» (Гоголь, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин). Вероятно, это связано с тем, что различия между художественными мирами и культурными эпохами слишком заметны, сразу бросаются в глаза, сходства же — немногочисленны и проблематичны.

В самом деле, что мы знаем о литературных взаимосвязях и творческих перекличках первого и последнего писателей «русской литературы классического периода»?[24]

Что Чехов любил Пушкина («Вы любите стихи, Антон Павлович? — Да, я очень люблю стихи

---

[23] Примечания: 23

Впервые опубликовано: Чеховиана. Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 10–19.

[24] Примечания: 24

См.: *Лотман Ю. М.* О русской литературе классического периода: Вводные замечания // Труды по знаковым системам. Т. 25. Тарту, 1992. С. 79–91.

Пушкина. Пушкин прекрасный поэт»)[25]. — А кто из русских писателей его не любил?

Что цитаты из его произведений, романсы на его стихи не раз мелькают в чеховских текстах и письмах. — А кто же его не цитировал?

Что Чехов, как учил Лев Толстой, — Пушкин в прозе. Эта формула становится заглавием литературоведческих статей.

Но попытка, как сказал бы В. Шкловский, развернуть формулу даже у самого Льва Николаевича оказывалась противоречивой.

«Чехов… Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти и в повестях Чехова. Некоторые вещи положительно замечательны»[26].

Воспоминания Б. А. Лазаревского «А. П. Чехов», от которых и пошла эта бродячая фраза (крылатое слово), опубликованы в 1906 году, но основаны на беседе с Толстым в начале сентября 1903 года. Через три года в очерке «В Ясной Поляне», оформленном как фрагмент из дневника или репортаж (он начинается с даты: сентябрь

---

[25] Примечания: 25

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 199.

[26] Примечания: 26

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 579.

1903 года), Лазаревский воспроизведет монолог Толстого в несколько иной редакции: «Чехов!.. Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в каком-нибудь из них, читатель непременно увидит себя и свои мысли… Некоторые вещи Чехова положительно замечательны. Вы знаете, я выбрал все, особенно понравившиеся мне, его рассказы и перечитываю всегда с огромным удовольствием»[27].

При совпадении ключевой формулировки Толстой из очерка «про себя» выражается намного сдержаннее, чем «чеховский» Толстой. Он дважды ограничивает собственное сравнение: *хоть в каком-нибудь из них, некоторые вещи*. Он только перечитывает чеховские рассказы (а в первом варианте упоминалось, что он даже «переплел их в одну книгу»).

В конце же этого похвального слова Чехову возникает фраза, чеховедами обычно опускаемая (или пропускаемая): «А вот пьесы его совсем не

[27] Примечания: 27

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 309.

нравятся мне…»[28]

В дневнике Лазаревского, послужившем основой воспоминаний, сравнение писателей и вовсе выглядит загадочно-амбивалентно: «Чехов — это маленький Пушкин»[29].

Впечатление противоречивости, неоднозначности сопоставления Чехова с Пушкиным подтверждается дневником самого Толстого. «О литературе, — записывает он 3 сентября 1903 года. — Толки о Чехове: разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе то, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет»[30].

В известном интервью корреспонденту газеты «Русь» А. Зенгеру, данном через несколько дней после смерти Чехова (июль 1904 года), наряду с часто цитируемой фразой о «совершенно новых для всего мира формах письма», есть и интересующая нас параллель: «Я хочу вам сказать еще, что в Чехове есть большой признак: он один из тех редких писателей, которых, как Диккенса и Пуш-

---

[28] Примечания: 28
Там же.

[29] Примечания: 29
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 703.

[30] Примечания: 30
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 22. М., 1985. С. 159.

кина и немногих подобных, можно много, много раз перечитывать, — я это знаю по собственному опыту…»[31]

Повторение знакомых формул в воспоминаниях В. Лазурского, опубликованных в 1915 году, данных, однако, в однозначно панегирическом, даже самоуничижительном ключе, заставляет заподозрить вторичный характер этого текста: мемуарист, кажется, «вспоминает» уже рассказанное другими. В версии Лазурского Толстой говорит: «Талант Чехова я ставлю гораздо выше собственного. Только Чехов создал новый собственный тип письма. Чехов умеет одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами. Чехов — это Пушкин нашей прозы»[32].

Толстой, как видим, не только ощутимо колеблется в оценках (проза замечательна — пьесы не нравятся, форма «продвинута» — содержания нет, Пушкин в прозе — маленький Пушкин), но и меняет основания сопоставлений. Пушкин и Чехов оказываются соотнесены то как психологи-лирики («каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам»: лирический способ

[31] Примечания: 31
Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986. С. 209.

[32] Примечания: 32
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 703.

восприятия, присвоения образа), то как стилисты-миниатюристы («умеет одним словом выразить то, что другие не скажут целыми страницами»), то как эстеты-авангардисты («двинул вперед форму»), то как «нормальные» классики, создатели многослойных, эстетически насыщенных текстов («можно много, много раз перечитывать»).

В современном литературоведении Пушкин и Чехов сопоставлялись как «объективные» художники (Л. М. Цилевич), как авторы «поэтизированной» прозы (З. С. Паперный), как мастера точной детали (В. С. Непомнящий и др.), как создатели «тернарных моделей» (Ю. М. Лотман). Примечательно, однако, что историко-литературная конкретизация таких параллелей осуществляется на узком пространстве. Точкой сравнения с пушкинской стороны оказываются обычно «Повести Белкина».

Хотелось бы подойти к проблеме с несколько иной стороны, расширить проблемное поле и основания для сопоставлений. Для этого нам понадобится понятие парадигмы.

Благодаря Т. Куну («Структура научных революций») парадигма из лингвистического термина превратилась в общенаучную категорию и недав-

но была транспонирована в область культуры[33]. В главе «Чеховские писатели и литератор Чехов» мы пытались показать, что, взяв за основу формы авторства, в русской литературе классического периода можно увидеть три сменяющие друг друга эпохи, три парадигмы, различающиеся художественными стимулами и местом художника в культурном пространстве.

Пушкинская поэтическая парадигма и чеховская литераторская в таком случае не столько наследуют, сколько противостоят друг другу.

«Центральное положение в пушкинском мире занимает фигура пророка…»[34] Пушкинский Поэт-пророк осознает свое призвание как миссию, слышит божественный глагол, апеллирует к Народу и Царю, презирает толпу, превыше всего ценит творческую свободу, признавая свою зависимость только от Музы.

Чеховский литератор не мыслит в таких универсальных иерархических категориях. Он зависит от публики и вступает с ней в отношения

---

[33] Примечания: 33

См.: *Геллер Л.* К парадигмологии русской культуры // Новый журнал. 1992. Кн. 188. С. 180–204.

[34] Примечания: 34

Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Вена, 1992. С. 318.

как частный человек, профессионал, руководствуясь не метафизическими стимулами, а лишь чувством долга. «Пишем мы машинально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи пишут…» (5, 134).

Любопытно, как важная для художественного мира оппозиция *поэт и царь* проявляется в биографии, в культурном поведении Пушкина и Чехова.

Отношения с государством, с верховной властью — сквозной сюжет творчества и жизни Пушкина. «Полтава», «Пир Петра Великого», «Стансы», «Медный всадник» и многое другое вырастает из ощущения живой, личной связи между вершинами социальной (Царь) и эстетической (Поэт) иерархии. Часто недовольный конкретным воплощением этих связей, Пушкин никогда не сомневается в праве на особые отношения между Поэтом и Царем.

«…Репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня

мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет» (Н. Н. Пушкиной, 20 и 22 апреля 1834 года)[35].

«Государь осыпал меня милостями с той первой минуты, когда монаршая мысль обратилась ко мне. Среди них есть такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения, столько он вложил в них прямоты и великодушия. Он всегда был для меня провидением, и если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувствам, которые я питал к нему» (А. Х. Бенкендорфу, 6 июля 1834 года, оригинал по-французски)[36].

Отношения с царем для Пушкина — некий домашний спор, почти семейное дело, в котором он

---

[35] Примечания: 35
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. Л., 1979. С. 370.

[36] Примечания: 36
Там же. С. 675.

участвует не только как дворянин, но и как Поэт, особое «право имеющий».

Чехову тоже довелось жить при трех императорах. О реакции таганрогского гимназиста и московского студента на царствование и убийство Александра II (того самого наследника, к которому Пушкин не намерен был являться с поздравлениями) ничего не известно. Тем более невообразимо представить, чтобы Царь-Освободитель специально заинтересовался судьбой внука бывшего крепостного графа Черткова.

Но и позднее, когда литератор Чехов становится весьма известным «читающей России», эта известность не достигает государственных высот.

9 августа 1889 года в Красном Селе для царской семьи было сыграно «Предложение». П. М. Свободин рассказывал автору:

«Вчера в Красносельском театре в присутствии его величества разыграли мы Вашу милую шутку — „Предложение“… Хохот в зале стоял непрерывный. Царь смеялся от души. Вызвали нас два раза — чего не бывает в официально-чинном Красносельском театре. Не успели мы дойти до наших уборных, как за нами прибежали наши режиссеры и царские адъютанты: „Его величество просит артистов на сцену!“ Побежали мы,

выстроились. Вышел великий князь Владимир, всех нас похвалил и всем троим подал руку. „Подождите, сейчас выйдет из ложи государь. Очень, очень хорошо играли. И какая оригинальная, остроумная вещь…“ Вошел на сцену государь, улыбаясь, принявши наши низкие поклоны, спросил, не очень ли мы устали, кричавши и так горячо играя, спросил у меня, шло ли у нас прежде „Предложение“ и чье это; я отвечал, что идет оно у нас в первый раз; что пьеса Чехова. Государь спросил, что еще писал для сцены Чехов. „Иванов“, — ответили многие голоса. Государь не сразу понял. Я дополнил: комедию „Иванов“, ваше величество. Потехин напомнил: „Медведя“. — „Ах да! «Иванов», «Медведь» — этого мне не удалось видеть — жаль!“ Затем, еще раз похваливши нас, государь благодарил всех и сделал общий поклон, после которого и мы, низко откланявшись, отошли, как и он от нас. Общие поздравления „с успехом“ загудели со всех сторон, и мы пошли переодеваться»[37].

Достаточно уже известный литератор Чехов знаком его величеству Александру III не больше, чем его предшественнику — таганрогский

---

[37] Примечания: 37

Переписка А. П. Чехова: В 2 т. Т. 1. М., 1984. С. 402–403.

гимназист. И Чехов в такой анонимности, незаметности видит такую же норму, как Пушкин — в ощущении особых отношений с властью («писать стихи да ссориться с царями»).

Чеховское письмо приятелю словно пародирует пушкинский сюжет камергерства, личных отношений поэта и царя:

«Мне пишут, что в „Предложении“, которое ставилось в Красном Селе, Свободин был бесподобен; он и Варламов из плохой пьесёнки сделали нечто такое, что побудило даже царя сказать комплимент по моему адресу. Жду Станислава и производства в члены Государственного совета» (П3, 238).

На сцену, где томились и страдали чеховские герои, довелось взглянуть и последнему российскому императору. 13 марта 1902 года директор императорских театров В. А. Теляковский записывает в дневнике:

«Присутствовал в Михайловском театре на представлении „Трех сестер“ Чехова. В театре были государь император, государыня императрица, великие князья Владимир и Сергей Александровичи, великие княгини Елизавета Феодоровна, Ксения Александровна и Мария Георгиевна. Спектакль прошел очень хорошо

— театр был полон. Прекрасно пьеса разыграна и особенно поставлена, режиссерская часть очень хороша. После спектакля все в царской ложе остались довольны представлением, а государь император, уезжая, сказал мне, чтобы я передал всем артистам его благодарность и похвалу за прекрасное исполнение пьесы. Сама пьеса произвела, по-видимому, сильное впечатление, и государь сказал, что такую пьесу изредка интересно видеть, но исключительно такой репертуар тяжело выдержать»[38].

Вопрос об авторе пьесы, об установлении особых отношений с ним здесь даже не возникает. Когда же через несколько лет Чехов увидит своего зрителя, он тоже выскажется о нем неиерархически — как частный человек о частном человеке.

«По какому-то поводу зашел разговор о Николае II. Антон Павлович сказал: „Про него неверно говорят, что он больной, глупый, злой. Он — просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид, он только немного бледен“»[39].

---

[38] Примечания: 38

Теляковский В. «Действительно современная Россия» // Согласие. 1992. № 1. С. 89.

[39] Примечания: 39

Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 216.

Вернемся, однако, к литературе.

У Чехова, преимущественно раннего, пушкинские формулы о высоком призвании поэта, его миссии, его воздействии на народ возникают, как правило, в пародийном, ироническом контексте.

«Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, г. редактор: написал я свою повесть не для авторской славы и не *для звуков сладких* (здесь и далее выделено мной. — *И. С.*)… Заработать хочется» («Драма на охоте» — 3, 243).

Сходным образом, но еще более резко пушкинское определение поэзии из «Поэта и толпы» обработано в «Осколках московской жизни». Автор лубочных произведений А. Журавлев представлен «как образчик тех писателей, которые теперь во множестве расплодились в Москве и изрыгают всенародно свои *звуки сладкие*» (16, 79).

В другом фельетоне «Осколков…» высокие метафоры пушкинского «Поэта» понадобились Чехову для описания карьеры одного современного актера:

«*Пока его не требует к священной жертве Аполлон, он малодушно погружен* в такую прозу, что при дамах не всегда ловко сказать: то вы

видите его секретарем общества ассенизации, то он управляющий у Лентовского, то распорядитель на соколиной охоте, то гробокопатель… но вдруг в самый разгар сует, находит на него нечто вроде священного ужаса. Тогда он бреет бороду и нанимается в актеры» (16, 175).

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», вершина и итог мессианской линии пушкинской поэзии, становится предметом комической трансформации в рассказе «Интриги». Собирающийся на заседание чиновник

«…стоит перед зеркалом и старается придать своей физиономии томное выражение. Если он сейчас явится на заседание с лицом взволнованным, напряженным, красным или слишком бледным, то его враги могут вообразить, что он придает большое значение их интригам; если же его лицо будет холодно, бесстрастно, как бы заспанно, такое лицо, какое бывает у людей, стоящих выше толпы и утомленных жизнью, то все враги, взглянув на него, втайне проникнутся уважением и подумают:

Вознесся выше он главою непокорной
Наполеонова столпа!» (6, 360).

Тот же текст обыгрывается в «Пестрых сказках», совместном сочинении Чехова и Билибина:

> *«Некий кулак, открыв в деревне кабак, сказал:*
>
> *Я памятник себе воздвиг нерукотворный,*

К нему не зарастет народная тропа» (18, 86).

Ироническое острие здесь, конечно, обращено не против Пушкина, а против эпигонов, превращающих поэтические формулы в банальности, не замечающих, какое на дворе время («тысячелетие»).

«Однажды пришел ко мне в Большую московскую гостиницу и разбудил меня, чтобы прочесть свой рассказ, — шутливо жалуется Чехов Потапенко на одного общего знакомого-писателя. — Я с досадой заявил, что оставляю литературную профессию, и это спасло меня, он не привел в исполнение своей угрозы и только стал отчитывать меня за то, что у меня нет идей и что я не *жгу глаголом сердца людей*» (П7, 128).

Чеканные формулы пушкинского «Пророка» стали добычей бесталанных сочинителей. Литератор Чехов, любя Пушкина, живет в иной эстетической реальности, по законам другой

парадигмы.

Между художественными мирами Пушкина и Чехова действительно больше несовпадений, чем общих точек. Оставим в стороне лирику. Но даже в системе общих жанров у Чехова нет аналогов «Капитанской дочке» (эта линия ведет к Толстому), «Пиковой даме» (отсюда вырастает Достоевский), «Медному всаднику». «Борис Годунов», «маленькие трагедии» и чеховская драматургия — тоже разнородные явления. На долю чеховедов из привычного круга текстов остаются едва ли не одни «Повести Белкина», да и то со множеством оговорок («Гробовщик» сопоставляется со «Скрипкой Ротшильда»: пушкинский герой чеховского рассказа; а «Выстрел», рифмуется ли он, скажем, с «Дуэлью»?).

Увидеть чеховское в Пушкине, однако, можно и нужно, опираясь на изложенное выше представление о формах авторства.

«Литературная эволюция, проделанная им, была катастрофической по силе и быстроте, — заканчивал когда-то Ю. Тынянов очерк для словаря „Гранат“. — Литературная его форма перерастала свою функцию, и новая функция изменяла форму. К концу литературной деятельности Пушкин вводит в круг литературы ряды внелитературные

(наука и журналистика), ибо для него были узки функции замкнутого литературного ряда. Он перерастал их»[40].

Точнее, на наш взгляд, было бы сказать, что Пушкин не перерастал функции литературного ряда, а врастал в них. Наряду с доминантным образом Поэта, в том числе поэта-историка, на периферии его художественной системы начинает складываться образ литератора, частного человека. И *Чехов в Пушкине* прежде всего обнаруживается в рамках этой парадигмы, во «внелитературных» (по Тынянову) рядах.

Пушкинский интерес к анекдоту («Альманашник», «Детская книжка», «Застольные разговоры») откликнется в анекдотизме чеховского видения.

Пушкинское недовольство критикой, формы аргументации, конкретные приемы через шестьдесят лет словно подхвачены Чеховым.

«Критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь» («Опровержение на критики», 1830)[41].

---

[40] Примечания: 40

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 165.

[41] Примечания: 41

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 117.

«Скабичевский и Ко — это мученики, взявшие на себя добровольно подвиг ходить по улицам и кричать: „Сапожник Иванов шьет сапоги дурно!“ и „Столяр Семенов делает столы хорошо!“. Кому это нужно? Сапоги и столы от этого не станут лучше» (Ф. А. Червинскому, 2 июля 1891 года; П4, 245).

«Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; в сем отношении нравственные наблюдения важнее литературных» («О журнальной критике», 1830)[42].

«Скажут, что критике у нас нечего делать, что все современные произведения ничтожны и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятые годы не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти томов» (А. С. Суворину, 23 декабря 1888 года; П3, 99).

Кажется очень близкой (и практически не изученной) стилистическая структура пушкинских

---

[42] Примечания: 42
Там же. С. 70.

и чеховских писем. «Здравый смысл и читательский опыт не дают нам права делать вывод, что русское письмо умерло вместе с арзамасцами. Письма Чехова, например, демонстрируют разговорный стиль, тонкие литературные суждения, достоинство и самоиронию, которые отличали корреспонденцию арзамасцев», — замечает У. М. Тодд III в последнем абзаце своей книги[43].

Иногда чеховский и пушкинский стили сливаются почти до неразличимости, но опять-таки не в главной их прозе.

«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной одесской».

«Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных… Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки…» (14/15, 9).

«Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские

[43] Примечания: 43

Тодд III У. М. Дружеское письмо как жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994. С. 169.

степи и свободно покатился по зеленой равнине»[44].

В текст пушкинского «Путешествия в Арзрум» без всяких швов входит чеховский отчет о путешествии «Из Сибири»; заметить переходы может только опытный и специально настроенный глаз. Дело здесь, на наш взгляд, не только в сходстве материала (трансплантация, скажем, из толстовских «Казаков» была бы заметна сразу), но в самом формообразующем типе рассказчика-путешественника, столь далекого у Пушкина от доминирующего образа Поэта и столь органичного для Чехова.

Путешествия — еще один элемент чеховского в Пушкине.

Самыми же «чеховскими» текстами пушкинской прозы можно, пожалуй, считать его отрывки и наброски (А. Ахматова считала некоторые из них вполне завершенными) и прежде всего — «Отрывок» 1830 года. Здесь в коротком фрагменте, имеющем, по общему мнению, автобиографический характер, открыто строится образ литератора-профессионала, если угодно — будущего «Чехова».

---

[44] Примечания: 44

Два первых и два последних предложения — пушкинские: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 435.

Лишь мимоходом здесь упомянуто, что герой «происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием». Зато акцентировано, что он был «самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец», что вдохновение он называет «дрянь», что он с раздражением реагирует на претензии «публики» и газетчиков и не любит «общества своей братьи литераторов».

Ключевая для чеховской парадигмы оппозиция «литератор — публика», проблемы, с ней связанные, описаны Пушкиным в «Отрывке» чрезвычайно точно и легко могут быть сопоставлены с размышлениями литератора Треплева в «Чайке», с многочисленными чеховскими суждениями в письмах.

Любопытно, что, дословно повторяя некоторые фрагменты «Отрывка» в «Египетских ночах», Пушкин производит существенный сдвиг в сторону привычной для него, доминирующей поэтической парадигмы, меняет ключевое понятие. «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и *стихотворец*» («Отрывок»)[45]. — «Однако ж он был *поэт*, страсть его

[45] Примечания: 45
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 392.

была неодолима…» («Египетские ночи»)[46]. И вся характеристика Чарского в «Египетских ночах» сдвинута от профессионализма к «светскости». Герой же «Отрывка» оказывается предсказанием новой парадигмы, новым авторским образом, но еще преждевременным.

При всех существенных различиях в пушкинском Поэте и чеховском литераторе обнаруживается некоторое внутреннее родство. Зависимость от голоса Музы и личное чувство долга как авторские стимулы в каком-то смысле совпадают. Ибо противостоят зависимости от ближайшего социального контекста, от «общества», характерной для писателя.

Это и дало основание Поэту новой эпохи объединить Пушкина и Чехова (но уже под знаком чеховской литераторской парадигмы), противопоставив их личное жизнетворчество демонстративной идеологичности писательской парадигмы.

«Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человече-

---

[46] Примечания: 46
Там же. С. 245.

ства и их собственное спасение, — записывает герой „Доктора Живаго“. — Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких неискренностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены частностями артистического призвания, и за их чередованием незаметно прожили жизнь как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дерева дозревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь все большей сладостью и смыслом»[47].

[47] Примечания: 47
Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 283.

Чехов и Шекспир: обратный отсчет[48]

Кажется, никто не замечал, что весь *чеховский Шекспир* обрамляется одной чуть измененной цитатой, повторенной через четверть века, то есть охватывающей весь творческий путь писателя.

«**Войницев**. Офелия! О нимфа, помяни мои грехи в твоих святых молитвах!» («Безотцовщина», д. 2, карт. 2, явл. XVI)» (11, 118).

«**Лопахин**. Охмелия, иди в монастырь… <…> Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!» («Вишневый сад», д. 2; 13, 226).

Что же внутри этих сигнальных флажков, цитатных фонариков, прямых отсылок к Шекспиру?

Автор диссертации, специально посвященной обозначенной в нашем заглавии теме, начинает работу с такого пассажа: «Для многих исследователей литературы мысль о присутствии Шекспира в творчестве Чехова совсем не очевидна. Художественные системы двух авторов

---

[48] Примечания: 48

Впервые опубликовано: Чехов и Шекспир: По материалам XXXVI международной научно-практической конференции в Ялте (Ялта, 20–24 апреля 2015). М., 2016. С. 21–28.

столь различны, что сам вопрос об их сближении кажется, на первый взгляд, сомнительным. Многие известные чеховеды вовсе не рассматривали этой проблемы. Однако простой беглый обзор указателя имен в конце 18 тома Полного собрания сочинений и писем (1974–1983) дает поразительный результат — упоминания Шекспира и его пьес превосходят аналогичные статьи по Пушкину, Гоголю, Толстому»[49].

Понятно, однако, что без аналитического рассмотрения этот результат нем. Можно, скажем, представить, что в именном указателе отразились лишь издания английского драматурга, которые Чехов посылал в библиотеку Таганрога. Тогда этот перечень будет свидетельствовать лишь о преданности Чехова родному городу, а не о связи/сходстве художественных миров. (Любопытно, что начатая в 2009 году электронная энциклопедия «Мир Шекспира» пока лаконично отвечает: «По запросу „Чехов“ ничего не найдено»[50].)

---

[49] Примечания: 49

Виноградова Е. Ю. Шекспир в художественном мире А. П. Чехова. Дис… канд. филол. наук. М., 2004 // http://www.dslib.net/literatura-mira/shekspir-v-hudozhestvennom-mire-a-p-chehova.html.

[50] Примечания: 50

См.: http://www.world-shake.ru.

Поэтому для систематизации материала необходимо обозначить некие исходные предпосылки.

Во-первых, стоит напомнить, что теоретики обычно разграничивают три типа связей между двумя литературными явлениями (автор, произведение, фрагмент): генетические, контактные и типологические[51]. Причем классификацию, ориентированную на сравнительное изучение, можно без проблем применять и при сравнении внутри одной национальной литературы.

Кажется, к ней можно добавить еще одну разновидность: *опосредованный контакт*, при котором сходство между двумя явлениями (цитата, деталь, характеристическая черта персонажа) обусловлено *культурным контекстом, культурным тезаурусом.* Журналист, вставляющий в свою заметку фразу «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», может совершенно не помнить, откуда (из лекций?) эта фраза залетела в его сознание, и даже не подозревать о «Письме к ученому соседу». Аналогией подобной связи в лирике может служить ставшее популярным благодаря исследованиям М. Л.

---

[51] Примечания: 51

См.: *Жирмунский В. М.* Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979. С. 186.

Гаспарова понятие *семантический ореол метра/размера*[52].

Во-вторых, имя Шекспира важно последовательно провести через три сферы чеховского творчества: эпистолярий и мемуары — проза (эпос) — драма.

Лишь в третьей области можно говорить о возможности типологических/структурных соответствий. В первых двух — при отсутствии аналогичного шекспировского материала — приходится ограничиться цитатами и упоминаниями.

Сплошное рассмотрение всех упоминаний Шекспира в чеховском собрании сочинений (без примечаний) ведет к первому парадоксальному выводу: из 38 приписываемых английскому драматургу произведений Чехов так или иначе упоминает всего *десять*, причем статистически значимы оказываются лишь «*Гамлет*» (более 100 упоминаний) и «*Отелло*» (26 упоминаний).

Шекспировская вселенная у Чехова — *гамлетоцентрична*. Все остальные ее планеты располагаются на более или менее далеких орбитах.

Просеяв сквозь шекспировское сито письма и

[52] Примечания: 52

См.: *Гаспаров М. Л.* Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. М., 2012.

мемуары, мы можем сделать и другое парадоксальное наблюдение. В письмах Чехова сравнительно редки развернутые, содержательные, аналитические суждения о Шекспире, подобные нижеследующим.

«…Я охотно верю Боклю, который в рассуждениях Гамлета о прахе Александра Македонского и глине видел знакомство Шекспира с законом обмена веществ, т. е. способность художников опережать людей науки» (Д. В. Григоровичу, 12 февраля 1887 года; П2, 28–31).

«В статье есть пропуск — Вы уделили очень мало места природе языка. Вашему читателю ведь важно знать, почему дикарь или сумасшедший употребляет только сотню-другую слов, в то время как в распоряжении Шекспира их были десятки тысяч» (М. О. Меньшикову, 12 октября 1892 года; П5, 114).

Чаще имя Шекспира оказывается в каком-то ряду как *знак великого писателя / великого человека.*

«Совершенный организм — творит, а женщина ничего еще не создала. Жорж Занд не есть ни Ньютон, ни Шекспир» (Ал. П. Чехову, 17 или 18 апреля 1883 года; П1, 65).

«Если хотите сборник во что бы то ни стало, то

издайте небольшой сборник ценою в 25–40 коп., сборник изречений лучших авторов (Шекспира, Толстого, Пушкина, Лермонтова и проч.) насчет раненых, сострадания к ним, помощи и проч., что только найдется у этих авторов подходящего» (Л. А. Авиловой, 7 февраля 1904 года; П12, 31).

В риторике и стилистической поэтике этот троп называют *антономазией* (замена нарицательного имени собственным именем какого-то исторического лица или литературного персонажа): богач — Крез, скупец — Гарпагон или Плюшкин, великий писатель — Шекспир или Пушкин.

Еще чаще ранний Чехов / Антоша Чехонте *играет* с этим знаком, включая великое имя в неподходящие контексты для создания комического эффекта.

Вот как воспринято известие о прибавлении в семействе брата и имени новорожденного: «За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы еще назвал его Шекспиром! Ведь на этом свете есть только два Антона: я и Рубинштейн. Других я не признаю…» (Ал. П. Чехову, 3 февраля 1886 года; П1, 192–194).

А вот как Чехов утешает молодую писательни-

цу, посвящая ее в тонкости журнальной кухни: «В одном номере автор может располагать maximum тремя листами. Правда, в моей „Степи“ шесть листов, но ведь для Чеховых и Шекспиров закон не писан, особливо если Шекспир или Чехов берет редакторшу за горло и говорит:

— Печатай, Ма-Сте, все шесть листов, а то получишь кукиш с маслом!» (М. В. Киселевой, 5 апреля 1888 года; П2, 234).

И более позднее письмо с тем же ироническим сопоставлением: «Все сотрудники (за исключением Шекспира, меня) за первые свои рассказы в „Новом времени“ получали сплошной пятачок — это правило, нарушаемое очень и очень редко…» (А. С. Лазареву-Грузинскому, 13 марта 1890 года; П4, 35).

Аналогичный прием — *проведение через противоположное* — используется в чеховской прозе. (Точно так же писатель поступает и с другими темами и мотивами.)

Шекспир появляется в серьезных, драматических/мелодраматических чеховских произведениях как знак высокого искусства, к которому стремятся, которым утешаются чеховские персонажи-неудачники.

«Барон» (1882) — рассказ о человеке, который

мечтал быть великим актером, но обречен сидеть в суфлерской будке и подсказывать слова другим.

«Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами… Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты… Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра… Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,

Сама собой, готова довести

К отчаянью, когда посмотришь в без-

дну

И слышишь в ней далекий плеск волны» (1, 455–456).

Этот эпизод предваряется явно авторским наблюдением: «В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад».

Сходным афоризмом Чехов окончит рецензию «Гамлет на пушкинской сцене» (1882): «Лучше плохо сыгранный Шекспир, чем скучное ничего» (16, 21).

Самым шекспировским прозаическим текстом Чехова может показаться фельетон (авторское определение) «В Москве» (1891), героем-рассказчиком которого становится московский Гамлет. «Да, я мог бы! Мог бы! Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина, я московский Гамлет. Тащите меня на Ваганьково!» (7, 507).

Однако как раз здесь мы сталкиваемся с четвертым, намеченным выше, типом литературных взаимосвязей. Акцентированные Чеховым свойства героя (невежество — высокомерие, апломб — зависть) восходят не к Шекспиру, а к сниженным версиям русского гамлетизма обильно представленным в нашей словесности. «Московский Гамлет» встает в один ряд с «Гам-

летом Щигровского уезда» (1848) И. С. Тургенева (и его же концепцией шекспировского героя, представленной в речи «Гамлет и Дон-Кихот», 1860), «Гамлетами — пара на грош (Из записок лежебока)» (1882) Я. В. Абрамова, «Гамлетизированными поросятами» (1882) Н. К. Михайловского (рецензия на повести и рассказы раскаявшегося народника Ю. Н. Говорухи-Отрока).

Чаще же, как и в письмах, Чехов включает шекспировские мотивы в комический контекст, делая Гамлета предметом непритязательного юмора Антоши Чехонте.

«На сцене дают „Гамлета“.

— Офелия! — кричит Гамлет. — О, нимфа! помяни мои грехи… (Очередное использование этой расхожей реплики. — *И. С.*)

— У вас правый ус оторвался! — шепчет Офелия.

— Помяни мои грехи… А?

— У вас правый ус оторвался!

— Прррроклятие!.. в твоих святых молитвах…»

(«И то и се. Поэзия и проза», 1881; 1, 104–105).

«11 <марта.> Четверг. В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета, принца датского» («Календарь „Будильника“ на 1882 год. Март-апрель; 1, 144).

«Принц Гамлет сказал: „Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?“ Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?» («Мои остроты и изречения», 1883; 2, 253).

Такой же принцип — амбивалентность архитектонических форм — обнаруживается при изучении связей Чехова и Пушкина[53].

Любопытно, что в рассказе «Аптекарша» (1886) английский и русский классики комически объединяются: Шекспиру приписывается фраза из «Евгения Онегина».

«Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.

— Ваш муж сладко спит… видит сны… — бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.

— Я не люблю слушать глупостей…

— Какие же это глупости? Наоборот… это вовсе не глупости… Даже Шекспир сказал: „Блажен, кто смолоду был молод!“

— Пустите руку!

Наконец покупатели, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно,

---

[53] Примечания: 53
См. «Чехов и Пушкин» в наст. изд.

словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки» (5, 196).

В поздних чеховских текстах, подобно письмам, преобладающей является антономазия: Шекспир упоминается в каком-то ряду (причем, как правило, персонажами) в качестве великого человека.

«Они <студенты> охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность» («Скучная история», 1889; 7, 288). (В этой повести, впрочем, есть и контактные связи: начитанный профессор вспоминает Отелло с Дездемоной и шекспировских гробокопателей.)

«– Как счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения! — сказал Коврин» («Черный монах», 1894; 8, 251).

Аналогично используется имя Шекспира в «Огнях» (1888; 7, 111) и «Пари» (1889; 7, 232).

Из прозы два основных типа шекспироиспользования (цитата — антономазия) плавно перетекают в драму.

Драматический этюд «Лебединая песня (Калхас)» (1886) строится на мотиве, уже реализованном в «Бароне».

Старый, вышедший в тираж, одинокий комик Светловидов на мгновение пробуждается к иной жизни, цитируя шекспировских «Короля Лира» и «Гамлета».

Его кульминационный монолог выдержан в амбивалентном тоне:

«Светловидов *(кричит, оборачиваясь в сторону стука).* Сюда, мои соколы! *(Никите Иванычу.)* Пойдем одеваться… Никакой нет старости, все это вздор, галиматья… *(Весело хохочет.)* Что же ты плачешь? Дура моя хорошая, что ты нюни распустил? Э, не хорошо! Вот это уж и не хорошо! Ну, ну, старик, будет так глядеть! Зачем так глядеть? Ну, ну… *(Обнимает его сквозь слезы.)* Не нужно плакать… Где искусство, где талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть вполовину… *(Плачет.)* Нет, Никитушка, спета уж наша песня… Какой я талант? Выжатый лимон, сосулька, ржавый гвоздь, а ты — старая театральная крыса, суфлер… Пойдем!

Идут.

Какой я талант? В серьезных пьесах гожусь только в свиту Фортинбраса… да и для этого уже

стар… Да…»

Однако Светловидов уходит со сцены, декламируя «Отелло», под возгласы суфлера «Талант! Талант!» (11, 214–215).

В «Лешем» и «Трех сестрах» вместо цитат опять появляется имя, причем используемое и в комическом, и серьезном контекстах.

«Дядин. С особенным удовольствием. Прекрасная ветчина. Одно из волшебств тысяча и одной ночи. *(Режет.)* Я тебе, Жорженька, отрежу по всем правилам искусства. Бетховен и Шекспир так не умели резать. Только вот ножик тупой. *(Точит нож о нож)*» (12, 129).

«Чебутыкин *(угрюмо)*. Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер… Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал» (13, 160–161).

Статус *самой шекспировской* (точнее: *самой гамлетоцентричной*) пьесы Чехова издавна имеет «Чайка». Однако наблюдения исследователей нескольких поколений (от А. И. Роскина и З. С. Паперного до А. Г. Головачевой и уже упомянутой Е. Ю. Виноградовой) выстраиваются в не очень длинный ряд наблюдений/сопоставлений.

В «Чайке» есть три цитаты из «Гамлета» и одно прямое упоминание Шекспира.

Усматривается некая аналогия в расстановке центральных персонажей: Треплев — Гамлет, Аркадина — королева, Тригорин — Клавдий. Есть исследователи, добавляющие в этот треугольник четвертый шекспировский угол: Нина — Офелия.

У Чехова также использован прием театра в театре (пьеса Треплева) и даже есть нечто напоминающее шекспировскую мышеловку (испуганный Клавдий прерывает пьесу — Треплев обрывает монолог Нины, видя ироническую реакцию матери).

Иногда происходит переход на уровень конкретных наблюдений, деталей: Тригорин ходит с записной книжкой — о своей записной книжке упоминает Гамлет; в эту книжку чеховский беллетрист заносит сравнение «облако, похожее на рояль» — в «Гамлете» же центральный персонаж, издеваясь над Полонием, заставляет его увидеть в облаке сначала верблюда, потом — хорька и кита.

Однако большинство подобных связей/валентностей оказываются слабыми, похожими только в первом приближении. Тригорин-Клавдий в следующих сценах вдруг оказывается соперником Треплева в любви не к матери, а к Нине Заречной.

Сама Нина напоминает Офелию лишь в исследовательском воображении, у нее совсем иной психологический тип и иная судьба. И что общего в типах/характерах Гертруды и Аркадиной?

Прямое упоминание Шекспира в пьесе Треплева представляет уже знакомую антономазию, включение имени драматурга в ряд вечных спутников погибшего человечества, части мировой души: «Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки…» (13, 13).

Таким образом, бесспорные аналитически доказуемые связи между «Чайкой» и «Гамлетом» сводятся к двум цитатам и упоминанию облака (хотя функции этой предметной детали опять-таки абсолютно разные).

Поэтому конкретные наблюдения иногда заменяются риторическим убеждением: „шекспировское“ входит в самую природу, коренные черты чеховского сюжета. <…> У Шекспира учился Чехов искусству резких поворотов, перебоев в состоянии героев и переходов от гнева к покаянию, от ссоры, когда, кажется, примирение уже невозможно к неожиданному успокоению»[54].

---

[54] Примечания: 54

Паперный З. С. «Вопреки всем правилам…». Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. С. 159.

Кажется, акцентируемые З. С. Паперным черты относятся не к творчеству Шекспира, а к природе драмы (или определенного драматического жанра). Их можно связать с «учебой» Чехова у Грибоедова, Гоголя, Островского или, скажем, Софокла.

Если *«Чайка» летит над морем «Гамлета»* (метафора В. Шкловского), то так высоко, что почти неразличимы очертания других персональных островов.

Аналогично обстоит дело с последней пьесой. В звуке лопнувшей струны остроумно заметить символическую реализацию реплики «Порвалась цепь времен». А образ вишневого сада возвести к сравнению: «Жизнь! что ты? Сад, заглохший / Под дикими, бесплодными травами…» Увлеченный расширением круга валентностей, я мог бы добавить к этому епиходовское «Быть или не быть» («Жить мне или застрелиться, собственно говоря…») или сравнить Шарлотту с шутом из «Короля Лира».

Однако, переходя к фильтрации сильных/слабых валентностей, приходится с сожалением отмечать, что абстрактная и отчасти тавтологическая метафора порванной связи, во-первых, появилась только в 1899 году в переводе К. Р., а

во-вторых, весьма далека от порванной струны (а вот Тургенев и Толстой — ближе, и хронологически, и образно). А шекспировский сад — и не вишневый, и вообще не конкретный сад, а опять-таки — вторая часть сравнения. С таким же успехом его можно рассматривать как архетип сада, тянущийся едва ли не от библейского Эдема, который после Чехова стал более конкретным архетипом, продолженным у Блока («Соловьиный сад») и Булгакова (финал «Мастера и Маргариты»)[55].

Автор цитированной ранее диссертации справедливо заключает: «При беспристрастном чтении чеховских произведений ощущается сопротивление текста какому бы то ни было поиску сюжетных параллелей.

Даже в „Чайке“, где, помимо цитаты, присутствует множество аллюзий на „Гамлета“, читатель чувствует отчужденность и принципиальную „несоотносимость“ сюжета с шекспировской пьесой»[56].

---

[55] Примечания: 55

См.: *Сухих И. Н.* Поэтический образ как архетип // Сухих И. Н. От… и до… СПб., 2015. С. 574–578.

[56] Примечания: 56

Виноградова Е. Ю. Шекспир в художественном мире А. П. Чехова // // http://www.dissercat.com/content/shekspir-v-khudozhestvennom-mire-ap-chekhova.

По-иному обстоит дело, как представляется, лишь с первой пьесой. Цитаты из «Гамлета» (использованы переводы Н. Полевого и А. Кронеберга) поддерживаются там и «режиссерской разработкой» Войницева, распределяющего роли («Мы думаем „Гамлета“ сыграть! Честное слово! Такой театр удерем, что даже чертей затошнит!.. Моя идея! Завтра же начинаем декорации писать! Я — Гамлет, Софи — Офелия, ты — Клавдий, Трилецкий — Горацио… Как я счастлив! Доволен! Шекспир, Софи, ты и maman! Больше мне ничего не нужно! Впрочем, еще Глинка. Ничего больше! Я Гамлет…» — 11, 117), и сквозной метафорой *жизнь — театр*, и отождествлением многих героев (прежде всего — Платонова) с шекспировскими персонажами (конечно, не абсолютным), и очевидными реминисценциями, и даже абсолютно шекспироподобной развернутой метафорой (кажется, единственный пример во всем чеховском творчестве): «Пойди и запиши эту дикую ночь в свой дурацкий дневник чернилами из отцовской совести» (11, 114)[57].

---

[57] Примечания: 57

Ср. сходные стилистические конструкции (пер. Н. Полевого): «Король. О мысль спасенья! О совесть черная моя! / Душа преступная, в болоте / Грехов погрязнувшая, чем стремится больше / Изникнуть, тем страшнее тонет…»; «Королева. Гамлет, мой сын! ты растерзал мне сердце! Гамлет. Отбрось его гнилую часть, отбрось / И с чистой половиною останься!»

Связь с Гамлетом у начинающего Чехова проявляется в первой драме на всех уровнях и во всех аспектах, но важнее всего не реминисценции и цитаты, а структурные соответствия: единодержавие центрального персонажа, новый тип конфликта («трагедия бездействия»), резкие смены, стыки архитектонических форм[58].

Постепенно шекспировское у Чехова все быстрее растворяется в общем культурном контексте, сливается с ним.

«Скажи Жужелице <К. А. Каратыгина>, что Шекспир в самом деле очень плохой писатель» (П. А Сергеенко, 5 февраля 1893 года; П5, 162).

«Ложноклассические тона и сильное влияние Шекспира осуждались А. П.»[59]

Таким образом, отношение Чехова к Шекспиру и его творчеству имеет свою хронологическую динамику. У начинающего автора в «Безотцовщине» «Гамлет» опознается легко и без всяких проблем. Здесь перед нами несколько сильных валентностей, включая стилистическую. Но довольно быстро Шекспир становится для Чехова не

---

[58] Примечания: 58

См. подробнее: *Сухих И. Н.* Проблемы поэтики Чехова. 2-е изд., доп. СПб., 2007. С. 45–56.

[59] Примечания: 59

Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1958. С. 616.

творческим ориентиром, а антономастическим именем великого писателя и зачастую — предметом комической игры. Опознать шекспировские образы и реминисценции в парадигме вечных тем мировой литературы уже довольно трудно. На смену сильным приходят слабые валентности. От пьес и цитат Шекспира Чехов обращается к вопросам Шекспира. От формулы «Мой Шекспир» — к ощущению «Моя литература». Шекспир оказывается частью великой традиции, но уже не ставится на какое-то особое место.

Этот феномен я и называю обратным отсчетом.

Два скандала: Чехов и Достоевский[60]

Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.

И. Бабель. «Как это делалось в Одессе»

Чем глубже человек погружен в ту или иную сферу существования, тем сложнее объективировать ее. *Сон* легче определяется, чем *жизнь*, а «чихание» легче, чем «переживание». Разговор о семиотике, семантике, поэтике и культуре скандала должен начинаться с предварительного его определения. У школьного, популярного С. И. Ожегова «скандал»: «1. Случай, происшествие, позорящее его участников. 2. Происшествие, ссора, нарушающие порядок (руганью, дракой и т. д.)». У вечного В. И. Даля (приводящего, кстати, немецкий, французский, латинский и греческий варианты) — «срам, стыд, позор; соблазн, поношение, непристойный случай, поступок».

---

[60] Примечания: 60

Впервые опубликовано: Семиотика скандала: Сб. ст. Париж; М., 2008. С. 254–259.

В наших целях необходимо различать в скандале некое *событие бытия* (случай, происшествие), наряду с автомобильной аварией или научным симпозиумом, ядром которого становится *речевой жанр*, подобный светской беседе, докладу и совсем близкий *ссоре* (ссору можно определить как недоразвитый, не дошедший до кульминации скандал, хотя ссора гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — уже чистый скандал).

Семиотика реального бытового скандала находит в культуре двойное отражение. Во-первых, она порождает **литературный скандал** как сознательное нарушение норм и эстетических конвенций — феномен, особенно распространенный на любом крутом переломе — при смене школы, метода, направления.

Существует книга, описывающая с такой точки зрения пушкинскую эпоху[61].

О. Мандельштам в «Египетской марке» (1928) возводил эту форму литературной борьбы к следующей эпохе: «Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах. Это не ка-

---

[61] Примечания: 61

Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.

тастрофа, но обезьяна ее, подлое превращение, когда на плечах у человека вырастает собачья голова. Скандал живет по засаленному просроченному паспорту, выданному литературой. Он — исчадие ее, любимое детище»[62].

Для Писарева скандал был обязательной приметой именно его времени, 1960-х годов. Он определяет и осуждает его как продукт консервативной журналистики: «Сколько мне кажется, редакция „Русского вестника“ под названием литературного скандала подразумевает разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах. <…> Скандалом, на языке образованной полиции, называется, как известно, всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки» («Московские мыслители», 1862)[63]. Однако его собственная критическая деятельность подчиняется законам скандала, будь ли это нелегальная статья против Шедо-Ферроти (1862), за которую он был арестован и посажен в крепость, или написанный в

[62] Примечания: 62
Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 76.

[63] Примечания: 63
Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С. 281.

заключении «Пушкин и Белинский» (1865), одна из самых скандальных статей в истории русской критики.

Скандал — нарушение обыденной, естественной логики, правил хорошего тона, однако, в свою очередь, подчиняющееся другим нормам и тем самым становящееся культурным стереотипом и речевым жанром (как война, в старом ее понимании, была нарушением норм и запретов мирной жизни, однако предполагавшим свои конвенции). Когда бытовой скандал становится предметом литературного изображения — темой, эпизодом, мотивом, приобретает сюжетное и композиционное значение, он выявляет и отражает какие-то существенные черты художественного мира.

Достоевский и Чехов в этом смысле — удобный предмет для наблюдений. Они — писатели, использующие один и тот же материал и одновременно — при хронологической близости — в культурном сознании находящиеся едва ли не на противоположных полюсах.

Общепризнанно, что сцены скандалов имеют структурообразующее значение для Достоевского. На них построены ключевые эпизоды «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов»,

«Братьев Карамазовых». Скандал лежит в основе «Скверного анекдота», «Дядюшкиного сна», «Села Степанчикова и его обитателей». Достоевский не только изображал скандалы в романах и повестях, но и несколько раз концептуализировал понятие в любопытных контекстах. «Журнальная заметка о новых литературных органах и новых теориях» (1863) представляет скандал нарушением логических связей: «Это уже скандал, а не логика!»[64] Письмо, написанное жене с пушкинского праздника (27 мая 1880 года) связывает скандал с анекдотом: «…Войдет в анекдот, в скандал» (30, кн. 1, 165).

Чеховское изображение этого феномена не столь известно. Но в воссоздаваемой писателем универсальной картине современного мира скандалу тоже находится соответствующее место. Один из ранних чеховских рассказов так и называется, «Два скандала» (1882). На скандальных ситуациях построены сюжеты «Маски» (1884) и «Соседей» (1894). Скандал становится формой развертывания важных эпизодов (причем всегда — в третьем действии) внешне бессобытийных чеховских пьес (ссора Треплева и Аркадиной в

[64] Примечания: 64

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. М., 1980. С. 70. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

«Чайке», продуманная истерика Наташи в «Трех сестрах», страсти вокруг продажи дачи в «Дяде Ване», пьяный монолог нового владельца вишневого сада в последней пьесе).

Попробуем проследить логику подобных сцен более подробно.

В VIII главе первой части второй книги «Братьев Карамазовых», «Скандал», завершается сюжетный эпизод, уже намеченный в главе VI «Зачем живет такой человек!». Приехавший в монастырь для примирения с сыном старый шут Федор Павлович Карамазов начинает скандал в келье старца Зосимы и продолжает его в монастырской столовой, обвиняя уже не только сына в замысле отцеубийства, но и монахов в нарушении тайны исповеди: «Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедываться? <…> Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут, пожалуй, в хлыстовщину втянешься… Я при первом же случае напишу в Синод, а сына своего Алексея домой возьму…» (14, 82).

Таким образом, оправдываются слова Дмитрия: «Батюшке нужен лишь скандал, для чего — это

уж его расчет. У него всегда свой расчет. <…> Этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал» (14, 66).

Образная семантика скандала у Достоевского складывается из следующих элементов: *публичное пространство*, функцию которого выполняют не только привычная монастырская трапезная, но и монашеская келья, — *персонаж — провокатор — динамика*, две фазы *скандала*, сопровождающиеся все более напряженными речевыми партиями (вызов сына на дуэль, ответное рычание Дмитрия «Зачем живет такой человек!») и неожиданными жестами (земной поклон старца Зосимы Дмитрию), — *отъезд*, венчающийся «еще одной паяснической и невероятной почти сценой, восполнившей эпизод», появлением помещика Максимова: «И я, и я с вами! — выкрикивал он, подпрыгивая, смеясь мелким веселым смешком, с блаженством в лице и на все готовый, — возьмите и меня!» (14, 84).

Сцена в третьем действии «Дяди Вани» развертывается по сходной схеме. Персонажи (члены семьи, Вафля) собираются в *публичном пространстве* (гостиная). *Инициатор-провокатор*, профессор Серебряков, излагает свое намерение продать имение. Скандальная *интрига* раскручи-

вается *по спирали*: Войницкий переспрашивает, произносит резкий монолог, признается в ненависти к профессору, мать его обрывает; Соня поддерживает и пытается вразумить профессора; новый монолог дяди Вани усложняет ситуацию.

Кульминацией скандала и здесь оказывается не слово, а *жест*: неудачные выстрелы Войницкого, венчающиеся детски-парадоксальным «бац». Развязка и в данном случае связана с отъездом. Истеричная реплика Елены Андреевны «Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но… я не могу здесь оставаться, не могу!» реализуется в четвертом действии.

В *изображении* скандала, его общей схеме можно найти некоторые отличия. Один персонаж-провокатор (Карамазов) действует сознательно: «Он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумье. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. „А коль начал, так и кончить“, — решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: „Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства: не стыжусь, дескать, вас, да и только!“» (14, 80). Другой (Серебряков) — скорее всего, неосознанно: «Иван Петрович, почем же я знал? Я человек не практический и

ничего не понимаю» (13, 101)[65]. Архитектоника развязки у Достоевского — парадоксально-ироническая, у Чехова — ожидаемо-драматическая. Резюмирующая квалификация сцены в романе повторяется неоднократно («В происшедшем скандале мы все виноваты! — Да тут скандал; значит, не было обеда! — Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло „по вдохновению“») и подчеркивается заголовком, в пьесе — прямо не названа ни разу, проявляясь, однако, не только в репликах, но и в жестах-ремарках (гневно — нервно, сквозь слезы — в изнеможении — ошеломлен; ей дурно — в отчаянии). Однако подобные различия не представляются принципиальными. *Логика изображения*, бытовая семантика скандала в значительной степени нивелирует индивидуальную стилистику.

Однако *интерпретация* подобных сцен обычно существенно различается.

С. А. Аскольдов в начале 1920-х годов утверждал: скандал и преступление — две стадии, две взаимосвязанные формы «пафоса личности», ее «конфликта с общепринятым и общепри-

---

[65] Примечания: 65

Далее в ссылках на пьесу страница т. 13 указывается в тексте.

знанным» (религиозно-этическое значение Достоевского», 1922)[66]. М. М. Бахтин, цитируя Аскольдова, связывает скандал с жанром менипеи и принципом карнавализации, тем самым делая его одним из доминантных понятий для понимания мира Достоевского. «Скандалы и эксцентричности разрушают эпическую и трагическую целостность мира, пробивают брешь в незыблемом, нормальном („благоообразном“) ходе человеческих дел и событий и освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок»[67]. Разобранную нами «сцену скандала» Бахтин называет «исключительно яркой по своему карнавально-мениппейному колориту»[68]. В скандалах героев Достоевского видят способ обнаружения философских поисков его героев, квинтэссенцию идеологического, полифонического романа.

У Чехова подобные сцены предполагают иную, едва ли не противоположную интерпретацию. Скандалы, если оттолкнуться от только что при-

---

[66] Примечания: 66
См.: *Ф. М. Достоевский*. Статьи и материалы. Сб. 1. М.; Л., 1922. С. 5.

[67] Примечания: 67
Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 133.

[68] Примечания: 68
Там же. С. 165.

веденного суждения Бахтина, не «разрушают», не «пробивают брешь», не «освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок», а, напротив, подтверждают незыблемость и картины мира, и сложившихся отношений. «Все будет по-старому» (112), — говорит Серебрякову взбунтовавшийся Войницкий, возвращаясь в финале к безнадежно-привычному подведению итогов: «Второго февраля масла постного двадцать фунтов… Шестнадцатого февраля опять масла постного двадцать фунтов…» (115).

«Пьеса быстро восстанавливает его в прежних, внешне горьких буднях», — замечал о Войницком один из лучших интерпретаторов чеховских пьес. И сразу же давал общую формулу чеховской драмы, в которой *скандал* оказывался величиной не постоянной, а переменной, случайной: «В протекании общей жизни сохраняется тонус обыкновенности во всем строе и ходе для всех общего и привычного порядка жизни. <…> Каждый участник ведет свою драму, но ни одна драма не останавливает общего потока жизни. Внешне все остается обыкновенным. Страдая своим особым страданием, каждый сохраняет общие привычные формы поведения, то есть участвует в общем

обиходе, как все»[69].

Анализ *скандального мотива* приводит, таким образом, к важному общему выводу. Художественный мир классического типа (в модернистской поэтике дело может обстоять и по-другому) строится по центростремительному принципу. Примерно в той же точке мы могли оказаться, сопоставляя не мотивы, а персонажей, фабулы, речевые характеристики. Разные структурные элементы подчиняются какому-то единому принципу, реализуют архетип, несут отсвет целого. Общность бытовой семантики скандала неизбежно трансформируется в индивидуальность его поэтики.

[69] Примечания: 69

Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1970. С. 432–433.

Чехов и Толстой в свете двух архетипов

Несколько положений[70]

1. Личные и творческие связи Чехова и Толстого хорошо изучены. Стоит вспомнить хотя бы тремя изданиями вышедшую книгу В. Я. Лакшина, коллективный сборник-спутник академического собрания сочинений и сравнительно недавнюю антологию, подготовленную А. С. Мелковой[71]. Поэтому задача наших «положений» — не в расширении круга исследуемых материалов (их сводка если не исчерпывающа, то велика), а в попытке взглянуть на них под иным углом зрения. Речь пойдет не о контактных или типологических связях между текстами, а об *отношениях между авторами*, в которых проявляются некие

---

[70] Примечания: 70

Впервые опубликовано: Чехов и Толстой. К 100-летию памяти Л. Н. Толстого. Симферополь, 2011. С. 5–15 (Чеховские чтения в Ялте. Вып. 13).

[71] Примечания: 71

См.: *Лакшин В. Я.* Толстой и Чехов: В 2 т. Т. 1. М., 2009. (1-е изд. — 1963, 2-е изд. — 1975); Чехов и Лев Толстой. М., 1980; Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Рассказывают современники, архивы, музеи… / Сост. и автор комментариев А. С. Мелкова. М., 1998 (далее это издание цитируется в тексте с указанием страниц; датировки встреч и времени высказываний также приводятся по этой антологии).

общие принципы, модели, *архетипы*[72].

2. Один из вечных культурных архетипов: *учитель — ученик.*

На русской почве, в русской традиции его можно конкретизировать благодаря одному биографическому эпизоду и одной надписи. В 1820 году В. А. Жуковский дарит юному Пушкину портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“. Марта 26. Великая пятница». Оставляя в стороне историческую интерпретацию сюжета[73], мы имеем право на уточняющую формулировку: *побежденный учитель — победитель-ученик.*

Эта модель хорошо объясняет отношения не только Жуковского и Пушкина, но и Державина

---

[72] Примечания: 72

Это понятие используется не в специальном, фрейдистском или юнгианском, понимании, а в самом общем смысле, в ракурсе практической поэтики: архетип — мотив, ситуация или персонаж, регулярно повторяющиеся в истории литературы и культуры, выявляющие ее специфические, глубинные свойства. Попытку культурно-биографического истолкования архетипа см.: *Абрамов П. В.* Гёте как архетип поэта: Дис… канд. филол. наук. М., 2006.

[73] Примечания: 73

См., например: *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 52–55.

— Пушкина, Пушкина — Гоголя, Гоголя — Достоевского (заочно) и Гоголя — Островского, Тургенева — Гаршина (отчасти).

3. Каковы структурные составляющие этого архетипа, его элементы, микромотивы?

а) Отношения учитель — ученик строятся в координатах не соперничества, но приязни, взаимного притяжения, согласного выбора.

б) Объединяет учителя и ученика не столько поэтика, сходство эстетических принципов, сколько понимание культурных ролей, связанное с идеей общего дела, наследования и преемственности («Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться»).

в) Взаимный выбор должен быть точен, связан с культурной перспективой: Жуковский избирает Пушкина — тот оправдывает надежды. Если бы Жуковский выбрал Дельвига, а Пушкина благословил старик Шишков, мы бы имели дело с иными архетипами.

г) Эти отношения строятся по принципу не простой, а двойной иерархии, асимметрии, ситуации-перевертыша. В связке *победитель-ученик* акцент делается на разных частях.

Победителем признает ученика учитель. Но младший ощущает себя как раз не победителем,

а именно *учеником*. При взгляде с разных сторон позиции верха и низа, старшего и младшего, победителя и побежденного меняются.

4. Отношения Толстого и Чехова прекрасно укладываются в этот архетип, подтверждаются множеством биографических фактов.

Толстой постоянно восхищается как Чеховым-человеком, так и Чеховым-прозаиком, выбрав его из всех окружавших его литераторов (включая Горького) и, в сущности, *назначив* его своим учеником.

Это особое отношение Толстого к Чехову замечали современники и, соглашаясь с ним, формулировали ту же самую идею преемственности.

«Прочтя Ваше письмо, я подумал: слава богу! Если Толстой умрет, останется человек того же духа — Вы. Великая традиция идеализма в русской литературе не будет прервана. И если для Вас Толстой, как пишете, служит поддержкой, то Вам же придется и сменить старика. И я рад, что это будет Вам по силам» (М. О. Меньшиков — Чехову, 27 февраля 1900 года; 168).

«Если Толстой в литературе подобен Христу, то Вы Петр, а Горький Иоанн… а я хотел бы у Вас быть хоть Фомою» (Б. А. Лазаревский — Чехову,

10 ноября 1901 года; 181).

Иоанн-Горький придал сопоставлению уж совсем родственный характер: «Чехова любит отечески, и в этой любви чувствуется гордость создателя» («Лев Толстой. Заметки». 31 марта 1902 года; 266).

Характерно, что и Чехов правильно понимал смысл этого архетипа, регулярно подчеркивая противоположное: не только собственную подчиненную, ученическую позицию по отношению к Толстому, но и мизерную роль в сравнении с ним всей современной литературы и даже жизни.

«Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски…» (И. А. Бунин. О Чехове, Ялта, 12 сентября 1901 года; 254).

«Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! — повторял он не раз. — Литература? — И литература» (И. А. Бунин. О Чехове, Ялта, 31 марта 1902 года; 264).

До поры до времени не очень заметное нарушение конвенции тоже происходит с двух сторон.

У Толстого — в отношении к чеховской драматургии. Здесь он категорически отказывается считать себя и побежденным, и учителем.

У Чехова — при вторжении Толстого в область науки (медицины) или обсуждении с ним религиозных (и шире — мировоззренческих) вопросов. Младший в таких случаях мягко, но решительно выходит из роли почтительного ученика.

«Отец с ним разговаривал о литературе, о земельном вопросе, о современном положении России. Он высоко ценил некоторые рассказы Чехова, но его драматические произведения не одобрял и говорил: „Ваши пьесы, Антон Павлович, слабее даже шекспировских“. Как известно, отец не любил Шекспира и критически относился к нему. Антон Павлович кротко его выслушивал и выказывал к его речам почтительный, но скептический интерес. Сам он говорил мало и не спорил. Отец чувствовал, что Антон Павлович, хотя относится к нему с большой симпатией, не разделяет его взглядов. Он вызывал его на спор, но это не удавалось; Антон Павлович не шел на вызов. Мне кажется, что моему отцу хотелось ближе сойтись с ним и подчинить его своему

влиянию, но он чувствовал в нем молчаливый отпор, и какая-то грань мешала их дальнейшему сближению.

— Чехов — не религиозный человек, — говорил отец»[74].

Однако в целом этот архетип существовал до конца жизни одного из участников. Самую высокую оценку Чехова современники услышали от Толстого в знаменитом, позднее зацитированном до дыр интервью корреспонденту газеты «Русь». Чехов здесь назван художником жизни, создателем совершенно новых для всего мира форм письма, поставлен, со ссылкой на книгу некоего немца, выше всех современных писателей. В конце этого монолога Толстой произносит слова, почти синонимичные формуле *победитель-ученик*: «Я повторяю, что новые формы письма создал Чехов и, отбрасывая ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель» (А. Зенгер. У Толстого. Ясная Поляна, после 9 июля 1904 года; 287).

5. После смерти Чехова ситуация резко меняется. Суждения о высокой технике, уникальности

---

[74] Примечания: 74
Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975. С. 206.

чеховского письма больше не повторяются. Добродушно-ворчливое отрицательное отношение к чеховской драматургии превращается в отзывы преимущественно раздраженные, тотально-пренебрежительные.

«И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова. „Надо учиться, учиться науке спасения“. Искусственная, насилу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове (как видят в Горьком, Андрееве в том их великое влияние, придаваемое им значение) таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они — молодежь — учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин» (Д. П. Маковицкий. Дневник. 17 августа 1905 года. Ясная Поляна; 294).

Чехов здесь уже не выделен, а поставлен в ряд, правда, пока еще не с Семеновым, а с Горьким и Андреевым.

«Долгоруков о 50-летии со дня рождения Чехова, о Чехове.

Л. Н.: Самый пустяшный писатель.

Кто-то: Но его вещи художественные?

Л. Н.: Очень художественные, <но> содержания нет никакого, нет raison d’être <разумного основания>, и даже какая-то неясность, нытье

постоянное. Даже то, что мне нравится, „Душечка“… он хотел посмеяться, а вышло…» (Д. П. Маковицкий. Дневник. 31 января 1910 года. Ясная Поляна; 307).

Из этого суждения вытекает, что автор «Душечки» не только выше всех, даже самого Толстого, по технике, но даже не может справиться с собственными замыслами.

И осенью этого последнего года, накануне ухода, Толстой столь же непримирим к бывшему победителю-ученику:

«Лев Николаевич написал довольно резкое письмо гимназистке 6-го класса.

Говорил:

— Это одна из тех, которые ищут ответа на вопрос о смысле жизни у Андреева, Чехова. А у них — каша. И вот если у таких передовых людей — каша, то что же нам-то делать? Обычное рассуждение. Ужасно жаль» (В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни, Ясная Поляна, 30 сентября 1910 года; 310).

Итог — уже с некоторой дистанции — подводит жена:

«…К сожалению, о Чехове мало могу сообщить. Помню, что одно время Л. Н. очень им восхищался, но потом как будто стал холоднее к нему

относиться» (С. А. Толстая — В. Ф. Булгакову, Ясная Поляна, 13 августа 1915 года).

Таким образом, после смерти Чехова Толстой практически разрушил архетип учитель-ученик, не только отказавшись от роли побежденного, но даже отлучив Чехова от себя как ученика. Объяснение этому, кажется, находится при обращении к другому архетипу, на русской культурной почве, как и первый, связанному с Пушкиным, хотя имеющему корни в предшествующей культуре.

6. «Традиционное место церкви как хранителя истины заняла в русской культуре второй половины XVIII века литература. Именно ей была приписана роль создателя и хранителя истины, обличителя власти, роль общественной совести. При этом, как и в Средние века, такая функция связывалась с особым типом поведения писателя. Он мыслился как борец и праведник, призванный искупить авторитет готовностью к жертве. Правдивость своего слова он должен был быть готов гарантировать мученической биографией»[75].

Здесь, в сущности, описывается архетип *русского творца* — борца, учителя, мученика, — определяющий разные пушкинские тексты от

[75] Примечания: 75

Лотман Ю. М. Архаисты-просветители // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин, 1993. С. 362.

«Пророка» до «Памятника» и реализованный в биографиях, жизненных текстах Гоголя, Достоевского и, конечно, Толстого.

Архетип имеет и другую сторону, четко сформулированную в «Поэте» (1827): «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон, / В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он».

Однако подобная ничтожность имеет особый характер. Разъяснение ее, прозаическая расшифровка — в пушкинском письме П. А. Вяземскому (вторая половина ноября 1825-го) по поводу смерти Байрона. «Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы — иначе»[76].

---

[76] Примечания: 76

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 146.

Вопрос таков: как сочетаются в тексте жизни просто человек и поэт, биографический автор и автор-создатель, автор как знак художественной системы?

Высокое призвание (поэзия) и *высокое ничтожество* (быт) — таков традиционный ответ, таков архетипический образ Творца, который может быть реализован в исторических вариантах Поэта, писателя, литератора.

«Альтернатива: плохая жизнь — хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни»[77].

7. Поздний Толстой решает вопрос парадоксально. Он вроде бы ликвидирует проблему, отрицая искусство, художество и, следовательно, только что описанный архетип. Однако в его жизни та же оппозиция приобретает еще более острый характер. Высокое (его собственное учение, толстовство) никак не может прийти в соответствие с ничтожным, низким (образ жизни его и его семьи). Это противоречие завершилось (но не разрешилось) уходом.

---

[77] Примечания: 77
Малоизвестный Довлатов. СПб., 1996. С. 487.

Чеховский ответ тоже парадоксален, но совсем по-иному. Формально Чехов отказывается от роли хранителя истины, борца, праведника, мученика и пр., выбирая скромную позицию литератора, не хранителя, а соискателя истины.

Но фактически он задает (не вербально, а практически) дополнительные вопросы: «А почему он обязательно должен быть мал и мерзок, пусть даже иначе, чем подлая толпа? Почему на него не распространяются десять заповедей и другие нравственные максимы?»

Уже раннее чеховское письмо брату — едва ли не буквальный ответ пушкинскому Поэту. «И средь детей ничтожных мира / Быть может, всех ничтожней он». — «Ничтожество свое сознаешь? <…> Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство» (М. П. Чехову, не ранее 5 апреля 1879 года; П1, 29).

И дальнейший его путь — это жизнь, без извинительных ссылок на писательство, творчество, вдохновение, священные жертвы ради Аполлона.

Десять заповедей существуют и для художника. Искусство (даже талантливое) не оправдывает

бездарную жизнь.

«У него была педантическая любовь к порядку — наследственная, как настойчивость, *такая же наследственная, как и наставительность*» (выделено мной. — *И. С.*), — заметил много общавшийся с Чеховым в последние годы Бунин[78].

Однако это свойство в чеховской жизни реализовывалось странно, в форме, которую иногда называют апофатической этикой. (Хотя может ли этика быть апофатической? Наука, вероятно, — да, практическое же поведение — нет, ибо воздержание от поступка — тоже поступок.)

Это было не учение (хотя четкие этические формулировки мы без труда можем обнаружить в письмах и даже в прозе), а *конкретно реализуемая жизненная программа*, просто жизнь.

Что бы ты ни свершил, нельзя оправдывать себя тем, что ты художник, творец, «избранник божий». Дар — не извиняющее многое привилегия, а тяжелое бремя, которое нужно с достоинством нести.

«Вы пишете, что писатели избранный народ божий. Не стану спорить. Щеглов называет меня Потемкиным в литературе, а потому не мне

---

[78] Примечания: 78
Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 172.

говорить о тернистом пути, разочарованиях и проч. Не знаю, страдал ли я когда-нибудь больше, чем страдают сапожники, математики, кондуктора; не знаю, кто вещает моими устами, Бог или кто-нибудь другой похуже. Я позволю себе констатировать только одну, испытанную на себе маленькую неприятность… <…> Дело вот в чем. Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. <…> Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. Отсюда следует, что если завтра мы в глазах добрых знакомых покажемся обыкновенными смертными, то нас перестанут любить, а будут только сожалеть. А это скверно» (А. С. Суворину, 24 или 25 ноября 1888 года; П2, 78).

Таким образом, Чехов и Толстой совершенно по-разному решают «пушкинский» вопрос о «священной жертве», связи человека и художника.

Философско-эстетическая система М. М. Бахтина начинается с постановки проблемы «искусства и ответственности», тоже с отсылкой к пушкинским вопросам: «Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности: в творчество человек уходит на время из „житейского волненья“ как в другой мир „вдохновенья, звуков сладких и молитв“. <…> И нечего

для оправдания безответственности ссылаться на „вдохновенье“. <…> Правильный не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство, и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности»[79].

Пушкин (как автор «Поэта») *разъединяет*, разводит области искусства и жизни, отделяет Поэта от человека.

Толстой (в бытовом поведении и философии, но не на практике) *отрицает* искусство во имя жизни, тем не менее перенося в нее то же самое противоречие.

Чехов словно проводил какой-то необъявленный эксперимент: на собственном примере доказывая, что жизнь художника должна подчиняться тем же законам, что жизнь любого человека. Чехов *объединяет* искусство и жизнь, подчиняет их критерию ответственности, отчего,

---

[79] Примечания: 79

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 5–6.

конечно, сама проблема никуда не исчезает.

Но расхождение между учителем и учеником временами вело к тому, что они становились двойниками.

8. Всмотревшись в приведенные выше поздние суждения Толстого о Чехове, можно заметить, что они провоцировались сходными поводами. Толстой с удивлением стал замечать, что отведенная им Чехову роль «художника жизни» оказалась слишком узкой. Появились какие-то революционеры и какие-то гимназистки (крайние точки спектра, внутри которого множество «просто людей»), и оказалось, что решение своих вопросов они ищут не в толстовстве, а в еще не определенном *чеховстве*. И с этим они обращаются к основоположнику толстовства!

Современники, особенно люди чеховского и следующего поколений, увидели в Чехове, его мире и личности не просто художника, но — *учителя жизни*. Но эту роль Толстой уступать не хотел. И потому раздражался на автора «Дамы с собачкой», как когда-то — на Шекспира: Чехов учит соблазнять женщин, а не способен понять даже Ольгу Семеновну Племянникову.

9. Вопреки краткости отпущенного ему века в архетипе учитель-ученик Чехов успел занять

и другую позицию. В отношениях с Буниным и Горьким он оказался в роли учителя, после нескольких попыток (Н. Ежов, А. Лазарев-Грузинский) точно угадав вектор литературного процесса, его следующие ступени. И избранные писатели достойно сыграли роли учеников.

Затем с этим архетипом что-то произошло. Бунин и Горький, прожив существенно больше Чехова, так и не стали учителями в пушкинском, толстовском, чеховском смысле.

Бунин, вероятно, был слишком эгоцентричен, сосредоточен на прошлом и не угадывал вектор литературного развития. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, стойкая неприязнь к модернизму, с другой — выбор в качестве учеников Г. Кузнецовой и Л. Зурова.

Горький же подменил поиск настоящего ученика массовой литературной учебой. А это — совсем иное дело.

Для понимания этих процессов необходимо обращение к иным архетипам.

Чехов, Бунин и декадент Урениус[80]

В бунинских воспоминаниях о Чехове есть такой эпизод:

«Как восторженно говорил он о лермонтовском „Парусе“!

— Это стоит всего Б. и Урениуса со всеми их потрохами, — сказал он однажды.

— Какого Урениуса? — спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот им бы в Одессе жить. Там же думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства — каждую минуту можно сапоги почистить…»[81]

Писателя, скрытого за инициалом Б., через много лет назвал сам Бунин: «Это стоит всего Брюсова

---

[80] Примечания: 80

Впервые опубликовано: Звезда. 1995. № 10. С. 137–139.

[81] Примечания: 81

Чехов в воспоминаниях современников. М., 1954. С. 487. Комментаторы этого издания И. Е. Гитович и И. В. Федоров предполагали, что «Чехов имел в виду» К. Д. Бальмонта и И. И. Ореуса (с. 640).

и Урениуса со всеми их потрохами»[82]. Искать кандидата в Урениусы приходится историкам литературы. Наиболее подходящий по созвучию И. И. Ореус тут вряд ли подходит. Он стал известен под псевдонимом Иван Коневской. Можно было бы вспомнить Гиппиус или Балтрушайтиса. Но скорее всего, в этом нет необходимости. Урениус или Упрудиус — коллективный псевдоним «нового поэта», соратника Брюсова, который противопоставляется классику Лермонтову.

Противопоставляется — кем? Вопрос оказывается не таким простым.

Сдержанное, ироническое отношение Чехова к декадентской литературе общеизвестно. Оно не раз проявляется в письмах и воспоминаниях. Но столь же очевидно, что в отношении к современникам, пишущим и думающим иначе, Чехов не был однозначен и резок. Он называл Бальмонта хорошим писателем, рекомендовал в академию наук Мережковского, с симпатией стилизовал новое искусство в «Чайке» (пьеса Треплева).

Бунинский же Чехов в отношении к своим литературным антиподам яростен и непримирим. Особенно очевидно это становится, когда близ-

---

[82] Примечания: 82

Бунин И. А. О Чехове // Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 206.

кие по смыслу суждения встречаются и у других чеховских «Эккерманов».

«Про тогдашних модернистов, „декадентов“, как называли их, он однажды сказал:

„Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать“» (Бунин)[83].

«Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. „Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет, — говорил он решительным тоном. <…> Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными — они все здоровые мужики. Но писать — мастера“» (Куприн)[84].

Сходное сравнение декадентов со здоровыми мужиками (несомненно, восходящее к чеховским словам) включатся в прямо противоположные

[83] Примечания: 83
Чехов в воспоминаниях современников. С. 488.

[84] Примечания: 84
Там же. С. 520–521.

эмоциональные контексты. В купринской записи притворство декадентов скрывает несомненный талант, в бунинской — демонстрирует их творческую бездарность, оказывается очередным доказательством литературного падения и безумия.

Но что, собственно, в этом заочном мемуарном споре за Чехова и против декадентов позволяет считать Александра Ивановича более точным, чем Ивана Алексеевича? Не только «фотографическое» свойство купринского таланта, но и творческая история бунинских мемуаров. В них мы, в сущности, встречаемся с *несколькими Чеховыми*.

Чехов и образ Чехова прошел практически через всю бунинскую жизнь. Они обменялись письмами еще в 1891 году (Бунин просил Чехова прочесть свои вещи), познакомились в 1895-м, много общались в начале XX века в Ялте и Москве.

«Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении», — заметит Станиславский[85]. (Кто бы мог подумать? В бунинских текстах этот быто-

[85] Примечания: 85
Чехов в воспоминаниях современников. С. 366.

вой юмор практически не отразился.)

Однажды между ними произошла любопытная пикировка:

«– Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?

— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

— Да вы мне в дети годитесь. (Бунин был ровно на десять лет моложе. — *И. С.*)

— Все равно. В вас народная кровь.

— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть „Три года“. А потом, вы же здоровеннейший мужчина (оказывается, не только декаденты! — *И. С.*), только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли, и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. <…> А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был „симпатичный талант и кристальной чистоты человек“»[86].

Доктор и мужик оказался прав. Дворянин пережил его на сорок девять лет — время большее, чем вся чеховская жизнь.

Впервые Бунин написал о Чехове в 1904 году,

---

[86] Примечания: 86
Бунин И. А. О Чехове. С. 194–195.

сразу после чеховской смерти. Незаконченная рукопись «О Чехове» появилась в 1955 году, через два года после его ухода.

Бунинские мемуары — едва ли не лучшее, что написано в этом жанре о Чехове. Однако не всегда замечают, что они существуют в трех редакциях: первоначальный вариант 1904 года, дополненный в 1914 году, к десятилетию со дня чеховской смерти, и опубликованный в шестом томе бунинского собрания сочинений издания Маркса[87]; переработка этого сводного текста, вошедшая в берлинское собрание сочинений 1935 года и перепечатанная в книге «Воспоминания» (Париж, 1950)[88]; наконец, мемуарные фрагменты посмертно изданной книги «О Чехове»[89].

Притом что большая часть текста во всех случаях совпадает, Бунин тонкими и резкими штрихами всякий раз строит образ *нового Чехова*, своих отношений с ним и его отношения к Урениусам-Упрудиусам.

---

[87] Примечания: 87

См.: Чехов в воспоминаниях современников. М., 1954. С. 473–495.

[88] Примечания: 88

См.: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 512–529. То же: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 482–498.

[89] Примечания: 89

См.: *Бунин И. А.* О Чехове. С. 146–217. Здесь книга опубликована в сокращении.

В первых воспоминаниях Чехов — старший товарищ, коллега, почти друг, ненавидящий «высокие» слова и «так называемые поэтические красоты». «Ненависть» — слово вовсе не чеховского словаря, но Бунин дважды повторяет его. «К „высоким“ словам он чувствовал ненависть. <…> Может быть, в силу этой ненависти к „высоким“ словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами». Противопоставление Лермонтова и какого-то Уриниуса и появляется как иллюстрация этой ненависти. «Представители того „нового“ искусства, которое так хорошо назвал „пересоленной карикатурой на глупость“ Толстой, смешны и противны были ему. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами на глупость и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость!»[90]

Толстой и Чехов для Бунина оказываются здесь

---

[90] Примечания: 90

Чехов в воспоминаниях современников. С. 487–488.

союзниками.

В эпоху «Окаянных дней» ситуация меняется. Для Бунина, как, скажем, и для Розанова (и в этом они — предшественники шаламовского и сегодняшнего счетов русской классике девятнадцатого века), русская литература, будто бы оболгавшая императорскую Россию, оказывается одной из главных виновниц русской революции. В это время яростному Бунину уже не до тонких разграничений. Чехов для него становится частью той же самой ненавистной традиции. Неприязнь к нему прорывается по поводам вполне пустячным, но спровоцирована послереволюционной современностью. В дневниковой записи 24 апреля (7 мая) 1918 года (один из последних бунинских дней в Москве) — жалобы на сердце, высокую температуру, холод на улице и в квартире, описание трамвайного скандала, упоминание об отбитом носе памятника Александру III. Кончается она так:

«Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.

Перечитал „Записную книжку“ Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости!

Противная эта склонность у него несомненно была»[91].

В жизни «русской литературы в изгнании», помимо прочих, была одна странная черта. За творческую свободу приходилось платить издательской скованностью. Писатели разных поколений, диаметральных убеждений, несовместимых эстетических пристрастий вынуждены были тесниться на страницах «Современных записок», «Последних новостей» и других немногочисленных эмигрантских изданий. Судьба ставила жестокий дарвинистский опыт по содержанию литературных кошек в мышек в одной клетке.

Наедине с собой Бунин и в 1920–1930-е годы остается непримиримым к прототипам Урениуса. «На ночь читал Белого „Петербург“. Ничтожно, претенциозно и гадко» (8 апреля 1922 года). «Читаю Блока — какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный» (20 сентября 1922 года)[92].

Но с другой стороны, Бунин должен учитывать,

---

[91] Примечания: 91
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 6. С. 410.

[92] Примечания: 92
Там же. С. 440, 441.

что эстетические противники (Гиппиус, Мережковский, Бальмонт) оказываются его собратьями по изгнанию. Поэтому в редакции 1935 года бунинский Чехов начинает выражаться гораздо сдержаннее. В разговоре об Урениусе исчезает намек на Б. (его можно было, что и сделали позднейшие комментаторы, расшифровать как *Бальмонт*), выброшено грубое «со всеми потрохами», исчез весь пассаж об Одессе. И в других местах вычеркнуты или существенно смягчены антидекадентские выпады.

Зато появляются новые диалоги, в которых, видимо, для равновесия, достается Короленко, Златовратскому, Андрееву и другим «общественным» авторам. «А Короленке надо жене изменить, обязательно, — чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден»[93].

В 1950-е годы, в незаконченной книге, Бунин не просто пишет литературный портрет (как, например, Борис Зайцев в своем «Чехове»), но сводит окончательные счеты с эпохой. Фигура Чехова вырастает здесь до символического масштаба.

«Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был

---

[93] Примечания: 93

А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 524.

разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок… Ведь до тридцати лет написаны „Скучная история“, „Тиф“ и другие поражающие житейским опытом его произведения».

«„В овраге“ — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе — говорю я».

«Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было!»

«Очень зоркие глаза дал ему Бог!»[94]

Все антидекадентские суждения Чехова опять вспоминаются и восстанавливаются, но теперь становятся лишь опорой, предлогом для собственной характеристики эпохи.

Реплика о декадентах как здоровеннейших мужиках вместо прежнего *однажды сказал* вводится теперь глаголом *говорил* (можно понять: говорил едва ли не при каждой встрече) и сопровождается подробнейшим бунинским комментарием — памфлетом.

«Правда — почти все были „жулики“ и „здоровеннейшие мужики“, но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литератур-

---

[94] Примечания: 94
Бунин И. А. О Чехове. С. 171, 198, 201, 208.

ные способности) у „декадентов“ и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор „Тихих мальчиков“, потом „Мелкого беса“, иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и „отца“ своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб, — кирпич

в сюртуке, по определению Розанова, буйный „мистический анархист“ Чулков, исступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский»[95].

Можно увидеть в бунинской колоритной картине Серебряного века позицию этакого литературного Собакевича: «Всё мошенники… Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Но скорее эта галерея литературных уродцев своей очевидной несправедливостью, гротескностью вызывает улыбку. Детскую травму непризнания, литературного одиночества Бунин не может изжить до самого конца. Вспоминая в дневнике (март 1968 года) давний ночной разговор с Буниным («Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна, Брюсова — как совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой ученостью. И так дальше, и так дальше. Все это были в его глазах узурпаторы его собственной славы»), Корней Чуковский точно подметил: «В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он

[95] Примечания: 95
Бунин И. А. О Чехове. С. 210–211.

ощущает себя единственным праведником, очутившимся среди преуспевающих грешников»[96].

Действительно, чем дальше, тем больше Бунин ощущал себя последним художником. Причем художником, философию которому заменяли зрение и слух — краски, запахи, звуки и голоса прекрасного Божьего мира. Эту Россию в красках, а не в умозрении Бунин и унес с собой в эмиграцию и живописал до последних дней жизни.

Опыт Бунина показывает, что литературная группа крови, эстетическое несходство или родство важнее идеологических установок. Поэтому Бунин так и не смог принять всерьез «антисоветского» Мережковского, но зато сразу увидел свое в «советском» Твардовском («Василий Теркин»).

Большой писатель — не просто сумма текстов (собрание сочинений), но и социально-культурная роль. Бунин в ряду русских классиков — это *архаист-новатор*, посланец девятнадцатого века в двадцатом, хранитель великой традиции Толстого и Чехова, в антиподы которой он назначил декадента Урениуса.

---

[96] Примечания: 96

Чуковский К. И. Дневник. 1930–1960. М., 1995. С. 413.

Мнимый Чехов? Еще одна фальсификация Б. Садовского[97]

В академическое собрание сочинений Чехова входит короткое письмо под № 4438, адресованное поэту Борису Садовскому.

Вот оно:

«Многоуважаемый Борис Александрович!

Возвращаю Вашу поэму. Мне лично кажется, что по форме она превосходна, но ведь стихи — не моя стихия: я в них понимаю мало.

Что касается содержания, то в нем не чувствуется убежденности. Например, Ваш Прокаженный говорит:

Стою изысканно одетый,

Не смея выглянуть в окно.

Непонятно, для чего прокаженному понадобился изысканный костюм и почему он не смеет выглянуть?

Вообще в поступках Вашего героя часто отсутствует логика, тогда как в искусстве, как и в

---

[97] Примечания: 97

Впервые опубликовано: Текст и традиция: Альманах. 2014. Т. 2. С. 26–36.

жизни, ничего случайного не бывает.

Желаю Вам всего хорошего.

А. Чехов.

28 мая» (П12, 108).

Несмотря на краткость, письмо достаточно известно: цитаты из него (особенно афоризм о случайности, искусстве и жизни) попали в «Летопись жизни и творчества Чехова», многочисленные исследования и даже пособия по литературному редактированию. Признаюсь, что и я процитировал эту фразу в одной из своих статей.

Привлекают внимание не только содержание письма, но и биографические обстоятельства: за неделю до отъезда в Баденвейлер, всего за полтора месяца до смерти, чуткий Чехов заметил и поддержал молодого поэта — пусть даже сочетая похвалу («по форме она превосходна») с осторожной критикой («не чувствуется убежденности», «отсутствует логика»).

Комментарий к тексту в указанном собрании лапидарен и сводится к перепечатке примечания адресата: «В предисловии к своей публикации Садовской писал: „В 1904 году, весной, я жил в Москве, в Леонтьевском переулке. Узнав, что рядом со мной поселился Чехов, я послал ему

рукопись моей поэмы «Прокаженный», с просьбой дать о ней отзыв. Ответ был получен через несколько дней“» (П12, 355).

«Местонахождение автографа неизвестно», — отмечают комментаторы, воспроизводя печатный текст по источнику, о котором я скажу чуть позже.

Попытки дополнить комментарий, восстановить контекст единственного контакта адресата и адресанта ведут к возрастающему недоумению и безответным вопросам.

Во-первых, ничего не известно об упоминаемой Садовским поэме «Прокаженный». Она не печаталась ни самим автором в прижизненных сборниках[98], ни поздними публикаторами, работавшими с архивом поэта[99]. Более того, в первом сборнике стихотворений первой половиной 1904 года (то есть до контакта с Чеховым) датировано всего три текста общим объемом 11 четверостиший. Первая из пяти опубликованных

---

[98] Примечания: 98

См.: Позднее утро. Стихотворения Бориса Садовского. 1904–1908. М., 1909; *Садовской Б.* Косые лучи. Пять поэм. М., 1914.

[99] Примечания: 99

См.: *Садовской Б.* Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы / Сост., подг. текста, вступ. статья и примеч. С. В. Шумихина. СПб., 2001 (Новая библиотека поэта. Малая серия); *Садовской Б.* Морозные узоры: Стихотворения и письма / Сост., послесл. и коммент. Т. В. Анчуговой. М., 2010.

в жанровом сборнике поэм, «Леший», тоже имеет датировку: «Май 1906. Нижний».

В юности Садовской написал, конечно, больше (С. В. Шумихин упоминает о 25 стихотворениях, опубликованных в самом начале века в газете «Волгарь»), но почему он, издавший до 1922 года семь книг, так и не удосужился познакомить читателей с поэмой, читанной и, в общем, высоко оцененной самим Чеховым, остается загадкой. Притом, что уже в предисловии к первому сборнику, «причисляя себя к поэтам пушкинской школы», он декларировал необходимость последовательного представления и отражения творческого пути: «…Стихи, как отдельные точки поэтического сознания, должны восприниматься в той последовательности, какую создало для них время. Оттого строго хронологический порядок всегда представлялся мне единственно удобным и нужным для собрания лирических произведений»[100]. В этой строго хронологической последовательности на месте «Прокаженного» зияет пробел.

Во-вторых, сам факт обращения почти два года жившего в Москве («3 сентября 1902 г. утром я

---

[100] Примечания: 100
Позднее утро. С. 3.

прибыл в Москву»)[101] Садовского именно к Чехову выглядит странным. Его круг, его референтная группа — не реалисты, а модернисты (В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт). О Чехове в позднейших записках он отзывается то иронически, то просто враждебно.

«Чехов никогда не говорил о Пушкине. Это понятно.

Пушкина необходимо преодолеть. Теперь это очень легко» (20 февраля 1931 года)[102].

«Вообще атеизм у детей пустых, формальных церковников явление любопытное. Взять хотя бы Чехова. И его братьев. Конечно, благочестие Павла Егоровича и сам он, грубый и пошлый торгаш, гудевший по ночам акафисты, как попугай, — все это отталкивало Чехова — воображаю, как он люто ненавидел отца, как презирал его! Но неужели сам Чехов не мог различить шелухи от ядра? Давно я убеждаюсь, что Чехов умел казаться умнее и глубже, чем он был на самом деле, что, в сущности, он такой же пошляк, как его брат Александр, автор несусветных по пошлости

---

[101] Примечания: 101

Садовской Б. Записки (1881–1916) // Российский архив. Т. I. М., 1991. С. 147.

[102] Примечания: 102

Садовской Б. Заметки. Дневник (1931–1934) // Знамя. 1992. № 7. С. 178.

„Записок репортера“» (25 февраля 1931 года)[103].

«Гроб Чехова недавно открывали: костюм вполне сохранился, но лицо принуждены были закрыть.

В 1904 г. после погребения Чехов являлся во сне одной монахине, прося, чтоб над его могилой не говорили речей» (1933)[104].

«Бунин крепче, ароматнее Чехова. Бунин венгерское, Чехов — бургонское. Все-таки один дворянин, а другой интеллигент»[105].

В-третьих, ни автору письма, ни его адресату в это время, кажется, было не до писем и не до стихов.

В мемуарах весенним месяцам Садовской посвятил два абзаца.

«Весну 1904 г. переживал я с жадностью. Любовь, экзамены, весна, слухи о войне, „Весы“, расцвет здоровья и юности. Я полюбил гулять по ночам; после занятий тушил лампу, брал ключ и до утра скитался по городу.

25 апреля в чудный весенний вечер я был на

---

[103] Примечания: 103
Там же. С. 178.

[104] Примечания: 104
Там же. С. 190.

[105] Примечания: 105
Там же.

открытии „Аквариума“, летнего сада Омона. Гремела музыка, визжали шансонетки, какой-то подгулявший офицер порезал себе нечаянно руку шашкой. На рассвете я возвратился домой в мягких лучах зари, при радостном колокольном звоне. Дома долго стоял на коленях перед раскрытым окном, держа медальон с портретом Беатриче, обещаясь вечно любить ее»[106].

Беатриче — не названная по имени московская барышня, которую Садовской «катал <…> на лихачах, возил по театрам и ресторанам, подносил цветы». Однако здесь же мимоходом упоминается о посещении «веселых домов», которое привело к трагедии.

«В мае 1904 года он <Садовской> заразился сифилисом, — пишет биограф поэта. — Болезнь в то время в принципе уже излечивалась, и Садовской лечился старательно и даже чрезмерно. В стремлении перестраховаться он принимал меркуриальные средства в таких количествах, что от передозировки наступило общее отравление организма»[107].

---

[106] Примечания: 106

Садовской Б. Записки. С. 152.

[107] Примечания: 107

Шумихин С. В. Узоры Бориса Садовского // Садовской Б. Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы. С. 9–10.

Поэт делил время между любовью к Беатриче и веселыми домами, а прозаик в это время уже с трудом мог написать даже несколько слов. В день, которым датировано письмо Садовскому, 28 мая 1904 года, О. Л. Книппер-Чехова пишет на Дальний Восток дяде А. И. Зальца.

К тексту ее письма Чехов делает краткую приписку: «Обнимаю и целую Вас, милый мой дядя Саша! Я по Вас очень соскучился, хочу видеть! Ваш Антон». После нее Книппер дописывает: «Вот я отошла, а он и приписал. Ты рад?» (П12, 108).

Таким образом, написать даже одну строку любимому родственнику в этот день Чехову было нелегко. (Любопытно, что это письмо Садовской знать не мог: оно опубликовано лишь в 1972 году.)

Столь же скверно Чехов чувствовал себя и весь май, со дня приезда в Москву.

«Милый Виктор Александрович, вчера я приехал в Москву, но не выхожу и, вероятно, не скоро еще выйду; у меня расстройство кишечника — с самой Святой недели» (В. В. Гольцеву, 4 мая 1904 года; П12, 97).

«Дорогой Виктор Сергеевич, я болен, с постели не встаю и днем. У меня обстоятельный катарище кишок и плеврит» (В. С. Миролюбову, 16 мая 1904

года; П12, 100).

«Дорогой Исаак Наумович, я как приехал в Москву, так с той поры все лежу в постели, и днем и ночью, ни разу еще не одевался» (И. Н. Альтшуллеру, 26 мая 1904 года; П12, 105).

Представить себе, что деликатный и внимательный к молодым дарованиям писатель в таком состоянии мог прочесть опус неизвестного поэта и быстро ему ответить, довольно затруднительно.

Наконец, в-четвертых, даже в тех напрашивающихся случаях, когда Садовской позднее мог упомянуть о хранящемся у него письме Чехова (пусть даже временно затерянном), он хранит упорное молчание.

«Я и мой одноклассник Мясников получили от Ведерниковых приглашение к ним в Самарскую губернию на Сергиевские минеральные воды. 19 июня мы выехали на кавказ-меркурьевском пароходе „Императрица Екатерина II“. Позже из газет я узнал, что с нами на том же пароходе ехал Чехов»[108].

«Начало моих литературных дебютов почти совпадает с поступлением на историко-филоло-

---

[108] Примечания: 108
Садовской Б. Записки. С. 146.

гический факультет в 1902 году.

Я застал еще старую историческую Москву, близкую к эпохе „Анны Карениной“, полную преданий сороковых годов. <…> Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенев, суровый Толстой. В Сандуновских банях любил париться Боборыкин. В „Большой Московской“ легко было встретить Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю»[109].

(Почему бы не добавить здесь или ранее: «Кстати, у меня есть его письмо, которое…»?)

Особенно характерный случай — позднее письмо К. И. Чуковскому (декабрь 1940 года). В нем Садовской отвечает на предложение Чуковского написать воспоминания. «Воспоминания я написал бы в полубеллетристической форме очерков: 1) бабушкин альбом (неизд. 4 стиха Лермонтова и его рисунок в альбоме моей бабушки), 2) Последние дни Фета (бабушка в 1892 г. возила меня в <…>ское, недели две мы жили у гр. С. А. Толстой, и в это время умер Фет), 3) Горький. Знакомство в 1899–01 гг. <…> два письма, 4) Чехов (встреча у Тестова, зимой 1903), 5) Весы 6) Золотое руно 8)

---

[109] Примечания: 109
Там же. С. 181.

Петербург (1912–16 гг.)»[110].

Встреча у Тестова — это, вероятно, тот же самый эпизод «Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю». Но опять-таки, почему не упомянуто полученное от Чехова письмо, хотя рядом, в соседнем пункте, сказано про письма Горького? Может быть, потому, что в 1940 году этого письма еще не существовало?

Таким образом, кроме заверения самого Бориса Садовского, нет ни одного убедительного свидетельства о существовании адресованного ему чеховского письма, но есть довольно много косвенных аргументов, его свидетельству противоречащих.

Этот вывод заставляет повнимательнее присмотреться к личности свидетеля.

Борис Александрович Садовской (1881–1952) — писатель драматической судьбы, объем и направление творчества которого стали выясняться лишь в последние десятилетия.

Интересно и разнообразно проявивший себя в предреволюционное десятилетие (стихи, рассказы и повести, работа в журналах, публикации о биографии Фета, которой Садовской занимался

---

[110] Примечания: 110

Садовской Б. Заметки. Дневник. С. 194.

много и увлеченно), после революции он потерял как возможность двигаться (в результате упомянутой ранее болезни), так и возможность печататься. За тридцать пять послереволюционных лет ему удалось издать только две маленькие книжки[111]. С конца 1920-х годов Садовской жил в полуподвале Новодевичьего монастыря, год за годом из своего инвалидного кресла наблюдая, как по соседству появляются могилы его бывших знакомых. Его многочисленные поздние литературные труды, включая роман о Лермонтове, рассказы и повести, воспоминания начали публиковаться только с 1990-х годов.

И тут выяснилась поразительная вещь: *Борис Садовской, пожалуй, самый успешный мистификатор/фальсификатор в русской словесности XX века.* Он десятилетиями вводил в заблуждение искушенных знатоков литературы, авторитетные редакции, в конечном счете — многочисленных потенциальных читателей. Перечень его достижений по этой части, установленный благодаря разысканиям М. Л. Гаспарова, М. Д. Эльзона, С. В.

[111] Примечания: 111

См: Морозные узоры: Рассказы в стихах и прозе. Пг., 1922; Приключения Карла Вебера: Роман. М., 1928.

Шумихина, на нынешний день таков[112].

Садовской выдал за произведение Блока и опубликовал в 1926 году известную ранее в фольклорных записях «Солдатскую сказку», вошедшую в приложение к двенадцатому тому Собрания сочинений поэта (1936). В архиве сохранилась рукопись с его собственной правкой.

Две «автопародии» А. Блока были опубликованы в «Литературном наследстве» (1937. Т. 27/28), а затем вошли в третий том восьмитомного собрания сочинений Блока (1960)[113]. Выяснено, что до революции они публиковались в периодике под именем Садовского.

Одно из этих стихотворений, «За сучок сухой березы месяц зацепился…», в публикации воспоминаний Садовского о С. Есенине было выдано за есенинское и также благополучно попало в его собрание сочинений (1962).

Еще одно «блоковское» стихотворение «Лишь заискрится бархат небесный…» в 1928 году печаталось в журнале, а затем перепечатывалось в

---

[112] Примечания: 112

См.: *Шумихин С. В.* Мнимый Блок? // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987. С. 736–751.

[113] Примечания: 113

См.: *Блок А. А.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1960. С. 416–417.

Литературном наследстве (Т. 27/28) и входило в три блоковских собрания, включая упомянутый восьмитомник, правда с осторожной пометкой «Текст этого стихотворения не может считаться абсолютно достоверным»[114].

В 1962 году были опубликованы «Мемуары» старого нижегородца, некоего М. И. Попова, его воспоминания о Н. А. Некрасове и С. М. Степняке-Кравчинском, включающие неизданные стихотворения обоих авторов. Опять-таки в архиве Садовского обнаружилась рукопись с пометкой «Моя мистификация».

Всякий раз логика обнародования текста была сходной. Садовской использовал «символический капитал» знакомства с классиками: рассказывал о встрече с автором, обстоятельствах сочинения текста и его утрате («Альбом с записью Блока украден вместе с чемоданом»), предъявляя затем текст под «честное публикаторское слово». Редакторы и исследователи верили очевидцу с трудной судьбой и славной, хотя и подозрительной, биографией — и публиковали.

Подводя предварительные итоги мистификаторской деятельности Садовского, С. В. Шумихин

---

[114] Примечания: 114
Там же. С. 319–320, 443.

размышлял о предъявленных Садовским письмах В. Я. Брюсова и В. В. Розанова: «Возникает вопрос, не являются ли эти два письма очередными мистификациями? Однозначный ответ дать трудно. Отсутствие автографов и точной датировки наводит на некоторые подозрения. <…> Пока не обнаружено других примеров, когда Садовский подделывал письма, адресованные к нему, — до сих пор мистифицировалось художественное творчество, записки, мемуары вымышленных или реальных лиц. Вероятно, письма Брюсова и Розанова все же подлинные. Однако повторим еще раз, что однозначный ответ дать трудно. Слишком уж „темновато“ происхождение многих текстов, идущих от Садовского»[115].

Кажется, можно утверждать, что Садовской заполнил и эту, эпистолярную, лакуну своих мистификаций.

Обратим теперь внимание на то, что письмо Чехова явилось как яичко к Христову дню. В 1944 году, в разгар великой войны, советское государство не забыло о Чехове. 29 апреля Совнарком принимает решение об издании Полного собрания сочинений писателя, которое будет служить

---

[115] Примечания: 115
Шумихин С. В. Мнимый Блок? С. 749–750.

чеховедам и читателям более тридцати лет, до тех пор пока не появится академический тридцатитомник. Книгу о Чехове в том же году выпускает всегда державший нос по идеологическому ветру В. Ермилов. В сдвоенном номере 4/5 журнала «Новый мир» под шапкой «К сорокалетию со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова» публикуется его статья-препринт книги «А. П. Чехов. Творческий портрет» (с. 195–217), а сразу после нее, в подбор, на оставшейся половине страницы — уже известный нам текст под заголовком «Неопубликованное письмо А. П. Чехова» и с цитированной выше преамбулой Садовского (с. 217). Скорее всего, письмо и было сфабриковано в первые месяцы 1944-го, незадолго перед отсылкой в журнал. По этой журнальной публикации письмо и воспроизводилось как в упомянутом «совнаркомовском» двадцатитомнике, так и в последующем академическом издании.

Любопытно, что Садовской попытался развить успех, вернувшись к знакомым персонажам и сюжетам. В августе 1944 года он отправил в редакцию «Нового мира» машинописный текст поэмы «Белая ночь» с объяснением, что она была написана А. Блоком для альманаха «Галатея», но

альманах не вышел, и поэма осталась в архиве Садовского.

Однако привычная модель вброса (неизвестно откуда взявшийся текст плюс правдоподобное объяснение его появления в архиве Садовского) на этот раз не сработала. Сотрудник редакции Н. И. Замошкин запросил рукопись, но вместо нее получил успокоительные заверения: «Поэма Блока, переписанная по его просьбе для меня поэтом Пястом, долго считалась утерянной, и только этой весной я случайно нашел ее в одной из книг моей библиотеки. Я не нашел нужным оставить ее у себя и уничтожил как обыкновенную рукопись. За подлинность поэмы я Вам ручаюсь».

Однако на этот раз, без суматохи вокруг знаменательной даты, ручательства возможного публикатора оказалось недостаточно. Поэма не появилась ни в журнале, ни в сборнике «Звенья», куда Садовской тоже пытался ее устроить, а осталась в архиве с карандашной правкой подлинного автора и пометкой «Публикуется впервые»[116].

Присмотревшись в свете изложенных фактов к тексту письма, можно заметить, на какие источ-

---

[116] Примечания: 116
Шумихин С. В. Мнимый Блок? С. 747–748.

ники оно опирается.

«Стихи — не моя стихия» — воспринимается едва ли не как цитата из каламбурной эпиграммы Д. Минаева «В Финляндии» (1876): «Область рифм — моя стихия, / И легко пишу стихи я…» Но мог ли Чехов в состоянии, которое описывалось выше, каламбурить? Причем в его текстах это слово встречается редко и, как правило, имеет отрицательные коннотации. «Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой, шумный город, моя стихия — борьба!» — жалуется претенциозный бездельник в рассказе «У знакомых» (1898) за минуту до того, как попросить у приятеля-адвоката деньги (10, 19). А сам Чехов предупредит знакомого драматурга: «…название „Стихия“ не достаточно просто, в нем чувствуется претенциозность» (П11, 63).

Выражение же «по форме» в эстетическом смысле Чехов употребил только дважды, причем в 1883 году: «…она <рукопись> не серьезна по форме, хотя и занялась серьезной задачей» (М. М. Дюковскому, 5 февраля; П1, 51); «Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию…» (Ал. П. Чехову, 13 мая; П1, 68). В позднейшем огромном эпистолярии оно не встречается *ни разу*, хотя его часто использовали

привыкшие к эстетическим шаблонам чеховские адресаты.

Можно с большой вероятностью предположить, что моделью для Садовского стал эпистолярный отзыв на стихи А. В. Жиркевича (10 марта 1895 года): «Стихи не моя область, их я никогда не писал, мой мозг отказывается удерживать их в памяти, и их, точно так же, как музыку, я только чувствую, но сказать определенно, почему я испытываю наслаждение или скуку, я не могу. В прежнее время я пытался переписываться с поэтами и высказывать свое мнение, но ничего у меня не выходило, и я скоро надоедал, как человек, который, быть может, и хорошо чувствует, но неинтересно и неопределенно излагает свои мысли. Теперь я обыкновенно ограничиваюсь только тем, что пишу: «нравится» или «не нравится». Ваша поэма мне понравилась» (П6, 35).

Суждения, близкие к кульминационной фразе письма «В искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает», тоже обнаруживаются в других чеховских текстах в близких, хотя и менее броских, формулировках. «Теперь я знаю, что ничто не случайно и все, что происходит в нашей жизни, необходимо», — говорит героиня только что цитированного рассказа «У знакомых» (10,

15). «В этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, все полно одной общей мысли», — сказано в рассказе «По делам службы» (1899), написанном в следующем году. Отчетливо видно, по какой модели сделан афоризм: чеховская формулировка доведена до щегольства и к «жизни» еще добавлено «искусство».

Таким образом, место письма маститого писателя А. П. Чехова начинающему литератору Б. А. Садовскому в лучшем случае — в разделе «Dubia» («Сомнительное»), но скорее всего — в главе учебника по текстологии, среди других, уже разоблаченных, литературных мистификаций и подделок. Во всяком случае, сегодня нужно доказывать не то, что это письмо не принадлежит Чехову, а, напротив, выдвинуть хоть какие-то аргументы в пользу того, что оно могло быть им написано. Ручательство Садовского — настаиваю — в данных обстоятельствах в расчет не принимается.

P. S. И все-таки Борис Садовской добился своего: вписал свое имя — пусть и в такой странной форме — в круг современников Чехова, став — пока единственным — его псевдоадресатом!

Чехов и Л. Добычин: два «события» и метафизика прозы[117]

«Ты читал книгу „Чехов“? — краснея, наконец спросила она». — «Я много читаю. Два раза уже прочел „Достоевского“. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного». — «Как демон из книги „М. Лермонтов“ я был — один. Горько было мне это»[118].

Имена в кавычках — не опечатка, а продуманная метафора, плодотворная эстетическая идея.

Настоящий писатель становится для последующих поколений читателей не реальным человеком, а знаком художественной системы, текстом, *книгой*, материализующейся в многотомном академическом собрании, монументальном однотомнике-кирпиче (всего «Пушкина» или «Гоголя» под одним переплетом любили издавать в 1940-е годы, эта мода возвращается сегодня), россыпи «золотых», «классических», «школьных»,

---

[117] Примечания: 117

Впервые опубликовано: Добычинский сборник. Вып. 4. Даугавпилс, 2004. С. 140–147.

[118] Примечания: 118

Добычин Л. Полн. собр. соч. и писем. СПб., 1999. С. 137, 149, 157. Далее тексты Добычина цитируются по этому изданию с указанием страницы.

«домашних» библиотек, с подверстанными к ней биографиями — от максимально достоверных, «научных», до откровенно скандальных, эпатажных, — исследованиями, инсценировками, просто культурными пересудами.

Когда скрытые кавычки вокруг фамилии не появляются, имя так и *не становится* книгой. Тогда редкие переиздания сопровождаются извиняющимися предисловиями специалистов: да, не «Булгаков», но все-таки… «Булгаков для бедных».

Писателя как книгу придумал Л. Добычин в романе «Город Эн», герой которого — мальчишка-провинциал, неистовый книгочей, живущий в текстах с большей страстью, чем в собственном детстве и юности. Он не только сравнивает себя с демоном (тут он не очень оригинален), но и превращает изруганный гоголевский город в Эдем. «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов мерзавцы. Я посмеялся над этим» (148). — «Город был очень красив и как будто знаком мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький» (175).

Сам Леонид Добычин, автор двух десятков рассказов и короткого, скорее похожего на повесть романа, приобрел в последние годы статус

странного классика «второй прозы» (так называлась посвященная его столетию конференция). Попытки четко описать *поэтику* книги «Л. Добычин» ведут к парадоксу, согласно отмеченному разделенными во времени и пространстве квалифицированными читателями-исследователями: легче всего определить, чего в этой прозе *нет*.

«Первое, что замечаешь при чтении добычинских рассказов, — это отсутствие действия. И еще: его истории не поддаются пересказу. Отсутствует какая-либо (видимая) цепь, состоящая из „почему“, „каким образом“ и „к чему“» (Э. Маркштейн).

«Персонажи существуют как бы вне сюжета, они с легкостью могут сойти один за другого, поскольку изначально не скрепляют собой художественное пространство, которое, проявляясь почти мистично, оказывается совершенно неуправляемым, бесконтрольным» (И. Мазилкина).

«Как уже было отмечено, герои во многом уподоблены друг другу. Так, например, почти единообразны их портреты, где набор деталей существует как бы независимо друг от друга и от целого. Причем детали, даже самые мелкие, живут, как и многое в художественном мире

рассказа, по закону анонимности, дополненному еще и принципом своеобразной автономии» (А. Неминущий).

«Такое повествование может длиться бесконечно, увязая во все новых и новых подробностях» (Вик. Ерофеев).

«Принцип „отсутствия автора“ доведен в произведениях Добычина до предела. Это тот антипсихологизм, который как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает говорить сама за себя — автор превращается в человека-невидимку» (В. Каверин).

Наконец, итоговое ошарашивающее суждение: «Модель мира в романе Добычина есть гротескный каталог фактов… где опущены фабула, образы, оценочная система…» (Д. Угрешич)[119].

Понятая таким образом, добычинская проза становится похожа на персонажа, описанного Д. Хармсом в «Голубой тетради № 10»: «Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно».

У Добычина, оказывается, отсутствуют практически все элементы и уровни «нормальной

[119] Примечания: 119

Писатель Леонид Добычин: Воспоминания. Статьи. Письма. СПб., 1986. С. 131, 84, 276, 55, 17, 285.

прозы»: *действия*, сюжета нет; *персонажи* тавтологичны, анонимны, автономны и антипсихологичны; *пространство* бесконтрольно, неуправляемо, заполнено случайными подробностями; и сам *автор* превратился в человека-невидимку.

«Ничего у него не было! Так что непонятно, о ком идет речь».

В поисках ответа на вопрос, что же в этой прозе все-таки *есть*, поищем на книжных полках что-то похожее на добычинскую прозу — хотя бы по контрасту, как точку писательского самоопределения и отталкивания.

Многовалентность, разнообразные параллели с предшественниками и современниками — непременное свойство всякого серьезного писателя. В связи с Л. Добычиным уже припоминали Бальзака, Андрея Белого, Джойса, Достоевского, Гоголя, Вагинова, Пруста, Салтыкова-Щедрина, Ф. Сологуба, Толстого, Тынянова, Флобера, А. Франса и еще полдюжины авторов.

Но главной для понимания добычинской прозы оказывается книга «Чехов».

«Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. — Это, — пожимая плечами, сказал я, — который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище „Степь“, и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал» (177).

Чеховский мир (как и гоголевский) — область притяжения для героя романа «Город Эн». Чеховская поэтика — точка отталкивания для Добычина-рассказчика.

Современники Чехова, как известно, часто упрекали писателя за случайность тем и деталей, отсутствие последовательно рассказанной истории (фабулы) и четко обозначенной авторской позиции.

Живое читательское чувство такого рода хорошо передала позднее В. Вулф, включив его, однако, в иной ценностный контекст, поменяв плюс на минус. «Ощущение не простоты, а замешательства — вот наше первое впечатление от Чехова. О чем это и почему он сделал из этого рассказ? — спрашиваем мы, читая рассказ за рассказом… Рассказ кончается. Но конец ли это, скажем мы? У нас, скорее, чувство, будто мы проскочили сигнал остановки, или как если бы мелодия вдруг резко оборвалась без ожидаемых нами заключительных аккордов. Эти рассказы не завершены, скажем мы, и будем анализировать их, исходя их представления, что рассказ должен

быть завершен так, как мы привыкли… Нужно долго ломать себе голову, чтобы обнаружить смысл этих странных рассказов» («Русская точка зрения», 1925)[120].

Теоретическим выходом из читательского замешательства были: концепция *случайностности* чеховского предметного мира; мысль о бесфабульности действия, *несостоявшемся событии* как основе сюжета; обоснование рассказа как *русского, чеховского* жанра, противопоставленного европейской новелле.

Таким представал Чехов при *взгляде назад* — в сопоставлении с его предшественниками и современниками. *Взгляд вперед*, в том числе на добычинские тексты, существенно меняет картину.

В сопроводительном письме после окончания рассказа «Савкина» Добычин предупредит адресата, М. Слонимского: «Савкину я пошлю вам двенадцатого. Заглавия у нее нет, а Захватывающей Фабулы еще меньше, чем в Ерыгине и в истории о Кукине, которая была напечатана в Современнике» (272–273).

Одно из немногих эксплицитных эстетических

---

[120] Примечания: 120
Писатели Англии о литературе. М., 1981. С. 284.

суждений Добычина интересно четко выраженным отношением к категории фабулы. Оно тем более симптоматично, что в других письмах Добычин со вкусом пересказывает фабулы своих современников и жизненные фабулы, из которых вполне мог вырасти провинциальный «Декамерон».

«Зощенко здесь нравится девицам. В особенности — как в лавку пришли с лошадью. Лавочник гонит, а лошадиный хозяин удивляется: только что сидели в пивной, и заведующий даже очень веселился», — излагает он М. Слонимскому фабулу недавно опубликованного (1925) рассказа «Тяжелые времена» (январь 1926 года; 280).

«Я прибыл сюда в разгар весеннего сезона и кипения страстей. У нас в саду (при доме) несколько дней жил соловей», — информирует он того же адресата, вернувшись из Ленинграда в Брянск.

В 1925 году Зощенко напишет сентиментальную повесть «О чем пел соловей». В ней соловей, по мнению главного героя Васи Былинкина, поет потому, что хочет жрать.

Добычинский соловей поет вот о чем: «Гремело происшествие с летчиком. Познавая вблизи города одну свою знакомую, он Вошел к Ней и не смог выйти. Утром их нашел пастух и побежал за

скорой помощью. Человеки собрались смотреть. Участники события были женаты — не друг на друге, а на третьих лицах. Разыгрались Жизненные Драмы. Через четыре дня дама умерла» (4 июня 1930 года; 306).

Следом идет еще один анекдот — о Федориной дури. Служащая суда по имени Федора, к тому же инвалид, сходит с ума на эротической почве, ее подпаивают водкой и, пьяную, сдают в больницу; матери удается ее освободить и теперь она «расхаживает по РКИ и профсоветам и подает жалобы».

«Много и других историй произошло с участием Любви», — иронически-меланхолически заканчивает Добычин.

Ничего подобного не обнаруживается в его собственной прозе.

Что же заменяет Добычину Захватывающую Фабулу?

В письме К. Чуковскому есть еще один высказанный мимоходом, но важный эстетический постулат. «Многоуважаемый Корней Иванович, Вы не правы, — защищает Добычин начало рассказа „Ерыгин“. — Первый абзац нужен: там следы от волос на песке, а в четвертой главе — следы сена на снегу. Отсюда — „что-то припом-

нилось“» (254).

На следующий день Добычин будет объяснять это важное для него положение в письме другому адресату. «Чуковский пишет, что он начал бы Ерыгина со второго абзаца. Первый абзац необходим. Там следы от волос на песке, в четвертой главе — следы от сена на снеге, оттого и написано: „что-то припомнилось“. Не выкидывайте, пожалуйста, первого абзаца» (М. Л. Слонимскому, 27 января 1925 года; 269).

На смену Захватывающей Фабуле, следовательно, приходят *лейтмотив, повтор, акцентированная деталь.*

В «Савкиной» около четверти печатного листа, четыре кратких главы. В первой героиня сидит в канцелярии, принимает участие в похоронах соседки, некой Олимпии Кукель, обедает дома, сидит за сараями с книжкой стишков. Во второй она по совету матери приходит в костел поставить свечку за покойную, заглядывает в канцелярию, потом идет в кино. В третьей ей снится сон (рассказанный в двух предложениях), потом идут прогулка по городу и домашний обед с разговорами. В четвертой главке она валяется на траве в палисаднике и встречается за сараями с новыми соседями, поселившимися вместо

уехавшего вдовца Кукеля.

Однако при более пристальном рассмотрении каждая главка строится как последовательность фрагментов, эпизодов, которые стыкуются друг с другом кинематографически-монтажно, без привычных повествовательных переходов.

«Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов. Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки. — Там все так прилично одеты, — уверяла Олимпия и таращила глаза. — У некоторых приколоты розы… Ах, родина, родина!» (64).

В коротком абзаце первой главки спрессованы, наложены друг на друга сразу три кадра: Савкина идет за гробом соседки — вспоминает о встречах и разговорах за сараями — покойная мечтает о так и не увиденной родине.

Следующее предложение сразу же, без всяких мотивировок, вводит домашний эпизод: «Мать, красная, стояла у плиты».

Еще очевиднее этот прием монтажной склейки явлен во второй главке. Героиня вместе с Колей Евреиновым идет в кино, ее спутник издевается над окружающими («Буржуазно одета, — показывал он. — Ах, чтоб ее!..»). Сразу же после

незаметного многоточия начинается описание мелодрамы, которую смотрят герои («На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах…»), выходом из нее становится реакция героини («Савкина была взволнована. Ей будто показывали ее судьбу»).

Заполнив лакуны, развернув эти лаконичные сцепления кадров в привычные повествовательные ряды, мы получим достаточно длинные событийные цепочки.

У соседа, Кукеля, умирает молодая жена, мечтавшая уехать на родину (в Польшу?), ее хоронят без отпевания, потому что сам Кукель «партейный», отпевание в костеле по совету матери заказывает Савкина, сам Кукель снова женится, переезжает в Зарецкую, а в его доме поселяется новая семья.

Павлушенька (брат?) умывается, участвует в семейном обеде, приходит с купанья, спорит о Боге, снова возвращается с купания, пишет в газету корреспонденцию про модницу Бабкину «Наробраз, обрати внимание», узнает о ее публикации, общается и дружит с появившимся новым соседом.

Коля Евреинов (дважды упоминается воротник

его расстегнутой рубашки, в третий раз — просто рубашка) в первой главе появляется в доме, во второй — идет с Савкиной в кино, в четвертой — отправляется с ней же за сараи.

На фоне этих динамичных персонажей существуют статичные фигуры: дважды упоминается сидящая в киоске Морковникова, также дважды мелькает в рассказе модница Бабкина, которую обличает в корреспонденции Павлушенька, четырежды упомянута хлопотливо-хозяйственная мать.

Еще больше персонажей даже не изображены, а просто названы и, кажется, толкутся в рассказе без всякого толку. «Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина» — «Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией» — «Мимо палисадника прошел отец Иван» — «Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы». Больше ничего, кроме имен и фамилий, об этих персонажах «Савкиной» читатель не узнает, причем и сами номинации лишены гоголевской или зощенковской колоритности. Поэтому, при всей их краткости, подобные описания кажутся избыточными, а добычинские рассказы — растянутыми.

Однако почему рассказ называется «Савкина»?

Дело не только в том, что героине посвящено больше всего кадров и реплик. Она работает в нелюбимом учреждении, что-то переписывает, любит мечтать и читать стихи, ходит в кино и на кладбище, известно даже ее имя («Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел»).

В разбросанных по тексту деталях можно увидеть конструкцию, в какой-то степени заменяющую Захватывающую Фабулу.

«Дунуло воздухом. — Двери! Двери! — закричали конторщики. Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький…» — начинается рассказ (64).

«После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу» — начало третьей главы (65).

«Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот щупленький» — последние фразы, концовка (67).

Соединяя эти три кадра, мы получаем вполне новеллистическую фабулу: в Савкину влюблен молчаливый Коля Евреинов, она ходит с ним на прогулки и в кино, но, кажется, рассчитывает на

другого — щупленького, кудрявого кавалера. И вдруг оказывается, что он — сын-алиментщик новой жилицы-соседки («Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка…»).

Точно так же, как *след* — на песке и на снегу — скрепляет начало и концовку «Ерыгина», *щупленький кавалер* окольцовывает фрагментарную структуру «Савкиной».

Однако выделение этой структурной доминанты носит вероятностный характер. Сюжетная конструкция растворена в потоке подробностей, дана ускользающим намеком.

Устройство добычинского текста позволяет наглядно увидеть сопоставление двух описаний. Включая рассказ в сборник «Матерьял», Добычин существенно переделал лишь один абзац — описание канцелярии во второй главке.

«Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Пахло табачищем и кислятиной. Стенная газета „Красный луч“ продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка…» (65).

«*Леса горели. Дым стоял над горизонтом. Пахло* гарью. Сор шуршал по *мостовой. В конторе окна были заперты. Воняло* табачищем и кисля-

тиной. Висел, *отрезанный от объявления о займе*, портрет Михайловой, выигравшей сто тысяч. Стенгазета „Красный луч“ продергивала тов. Самохвалову…» (выделено мной. — *И. С.*; 377).

Во втором варианте конкретизируются причины запаха гари, конторской вони и выигрыша Михайловой, но зато исчезают мотивы *продергивания* тов. Самохваловой.

Добычинское описание, следовательно, строится по тем же принципам, что и действие. Конкретные подробности свободно варьируются: то появляются, то исчезают. Но при этом сохраняется смысловое, функциональное ядро: контраст низкой прозы (гарь, сор, вонь) и идеологических знаков (заем, выигрыш, стенгазета).

Парадоксальное устройство другого добычинского текста отметил В. С. Бахтин, публикуя две редакции рассказа «Отец». Обнаружив в архиве вариант, примерно на треть короче вошедшего в сборник «Портрет», заканчивающийся фразой «Огоньки зажглись у станции и переливались», исследователь предположил: «Возможно, поначалу рассказ так и завершался. Внутренняя цельность в этом тексте тоже есть. Печатный вариант, не добавляя ничего по существу (главное: „Но зато я не плохой отец“), расширяет видимый

мир, добавляет новые штрихи к психологическому портрету отца» (534).

Предположение о другом окончании весьма вероятно, но тогда оно ставит под сомнение идею *внутренней цельности*. В прозе Добычина внутри некоторых опорных точек повествования материал располагается настолько свободно, что принцип целостности отступает перед идеей фрагментарности, своеобразного повествовательного пуантилизма.

Дремлющая в киоске Морковникова, Гоголь с черными усиками на обложке тетради, шуршащий по булыжникам сор, сидящие на мосту рыболовы и десятки других подробностей располагаются в хронотопе настолько свободно, что дают повод говорить о принципиальной — авангардистской, предельной — трансформации принципа связности, когда части художественной структуры освобождаются от власти целого.

И в рассказе «Отец» важно исходное смысловое ядро, протосюжет (муж, недавно потерявший жену, идет вместе с детьми мимо ее могилы на купание к реке, собираясь вечером навестить некую Любовь Ивановну), а кончиться, оборваться он может в пяти-шести различных местах.

«Лекпом» (1930), как и «Савкина», содержит

некий намек на фабулу: телеграфистка встречает на станции помощника лекаря, приводит его к больной матери, они пьют чай, светски любезничают, выясняется, что она чем-то взволнована или больна. Но само действие здесь не проявлено и не направлено, психологические акценты не расставлены, конкретный смысл отношений персонажей остается загадкой — поэтому вся описательная часть текста приобретает автономно-самоценный характер.

«Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик. / С трех сторон темнели сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. / Под окном лежал снег, и из снега торчала ботва». Три микропейзажа можно предъявить в любом порядке или склеить из них один: швы будут практически незаметны.

«Мери Пикфорд играет прекрасно». — «Женни Юго брюнетка». Две реплики лекпома тоже легко меняются местами.

«Он оглянулся и повертел головой: — Закрыта. (Речь о форточке. — *И. С.*) Наденьте пальто. Я дам вам потогонное. Надо беречь себя, одеваться как следует, перед выходом из дому — есть. — Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошел на цыпоч-

ках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась».

Это — концовка, главный элемент малого жанра. «Без правильно завязанного последнего узелка гипотетическая вышивка распадается. Точно так же без грамотно выбранной концовки текст окажется никчемным обрубком, — строго предупреждает современный новеллист (К. Плешаков). — Сам по себе сюжет до самой последней страницы не предопределяет решительно ничего. Концовка и, соответственно, смысл рассказа (или романа) зависят от нескольких последних слов, кои и автор, и пьяный наборщик могут верстать в любом ключе».

Добычин-автор и ведет себя как пьяный наборщик. В абзаце-концовке «Лекпома» можно мысленно убирать фразу за фразой — она все равно будет сохранять многозначительно-оборванный смысл.

Краткость и длина произведения — категории не формальные, а эстетические и психологические. В сравнении с добычинским «Лекпомом» «Дама с собачкой» и «Анна Каренина» — вещи *короткие*, ибо они подчиняются принципу связности и реализуют определенное тематическое и жанровое задание.

Недоброжелательно настроенный анонимный современник, увидевший в рассказе «Портрет» (1930) «аналитическое» восприятие мира, разлагающее этот мир на отдельные „предметные“ детали, еще не соединенные между собой никакой органической связью» (472), по сути дела, был прав.

Смысловое ядро текста окружено у Добычина многочисленными флуктуирующими подробностями.

Специфической формой добычинского завершения чаще всего становится сама *внезапная оборванность* повествования.

Чехов в свое время советовал молодым последователям, написав рассказ, оборвать, отбросить начало и конец. Добычин выполняет этот совет в самом радикальном, вряд ли предполагаемом автором «Дамы с собачкой» варианте.

Это в сравнении с «Повестями Белкина» или «Ожерельем» Мопассана чеховские тексты казались расслабленным, меланхолическим, бессобытийным *русским жанром* («О чем это и почему он сделал из этого рассказ?»).

На фоне Добычина Чехов оказывается жестким, динамичным, едва ли классическим новеллистом. Его лирические концовки («Какова-то

будет эта жизнь?», «Прощай, мое сокровище!», «Мисюсь, где ты?», «...самое сложное и трудное только еще начинается») так же однозначны и неоспоримы, как пуанты старой новеллы.

«Жанр *смещается*, — утверждал Юрий Тынянов, — перед нами ломаная линия, а не прямая линия его эволюции...»[121]

Чеховский рассказ о *несостоявшемся событии* превращается у Добычина в рассказ о *возможном несостоявшемся событии*. Несбывшееся трансформируется в ожидание несбывшегося. Категория события подвергается двойному остранению.

Добычин испытывает привычные повествовательные принципы на излом, выходит за флажки, потому и негативные определения его прозы даются легче: это взгляд с другой стороны.

Этот загримированный под чеховского последователя, обличителя мещанства и провинциального убожества писатель на самом деле оказывается одним из самых последовательных экспериментаторов, «формалистов», авангардистов в нашей прозе 1920–1930-х годов.

Главным, основополагающим, аксиомати-

---

[121] Примечания: 121

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 256.

ческим и потому, как правило, даже словесно не формулируемым принципом классической структуры образа (от Гомера до Булгакова, от Апулея до современной беллетристики) можно считать не целостность, а *связность*. М. Бахтин, как известно, определял текст как «всякий связный знаковый комплекс». Связность глубже и важнее целостности. Даже текст-фрагмент, текст-отрывок явно лишенный цельности (скажем, так называемая десятая глава «Евгения Онегина»), обладает связностью, что, собственно, и позволило понять пушкинский шифр.

В образе классического типа связность обычно реализуется в пределах *семантического квадрата*: на языковом, пространственно-временном, действенном и персонажном уровнях текста. Знаками, манифестациями такой связности на каждом уровне являются интегрирующие понятия стиля — хронотопа — сюжета и фабулы — типа, характера и пр. Связь уровней демонстрируют категории художественного целого, смысла, авторской идеи и т. п. «Произведение — это сложно построенный смысл» (Ю. М. Лотман).

Смысл авангардистских экспериментов — в борьбе с понятиями целостности и смысла в их прежнем, классическом понимании.

Может показаться, что главной мишенью Добычина-писателя оказывается Захватывающая Фабула. Однако, вернувшись к приведенным в начале главы определениям, можно заметить, что негативный пафос Добычина связан с иным структурным уровнем.

Что же в конечном счете остается в этой прозе, если персонажи стерты, клишированы, психологизм рудиментарен, фабула отсутствует, автор скрыт, стилистическая игра, словесное щегольство неприемлемы?

Регистрация фактов, все новые и новые подробности, независимые от целого детали, гротескный каталог.

Логичнее и естественнее всего (помня о том, что М. Бахтин часто сводил сюжет к хронотопу) рассматривать малую прозу Добычина как бескомпромиссную борьбу с принципом связности на пространственно-временном уровне, как авангардистский подрыв, разрушение классического типа *хронотопа*.

У Добычина не только «связи между временем личным и временем историческим не установлены» и вообще изображается «дискретное

время» (И. Белобровцева)[122]. В его прозе, даже в описательных кусках, хронотоп предстает неорганизованным, лишенным привычной связности, динамически-повествовательного, центростремительного развертывания.

Аналогичное описание можно представить и обнаружить в *старой прозе*, но там оно было бы обязательно мотивировано спецификой воспринимающего сознания (больной, ребенок и т. п.). Здесь же изображение дается в «отсутствие героя и автора», вне всякой видимой мотивировки.

Добычинская подробность не столько характеризует что-то или кого-то, сколько заполняет текстовое пространство. Связь между соседними точками хронотопа чаще всего случайна, немотивированна — *абсурдна*. Поэтому при всей краткости добычинских рассказов (их объем, как правило, от двух до пяти страниц) кажется, что повествование увязает в подробностях, хотя их, конечно, намного меньше, чем у Чехова, не говоря уже о Гоголе.

Образ добычинского повествования — это *бесстрастная камера* с крупнофокусным объективом, выделяющая, приближающая к глазам

---

[122] Примечания: 122
Писатель Леонид Добычин. С. 79.

разные фрагменты реальности, но именно в силу их разноплановости создающие впечатление *абсурдного, бессмысленного бессвязного мира*.

Примечательно, что в своей большой прозе Добычин отказывается от бескомпромиссности эстетических установок ранних рассказов.

Сюжетная и предметная связность в романе «Город Эн» (1935) резко возрастают. Обозначена вполне классическая тема — взросление героя. Главный герой (он же рассказчик) теряет отца, поступает в городское училище, находит друга, тайно влюбляется в девочку из другого круга, в конце сдает выпускные экзамены и получает «свидетельство».

У большинства романных персонажей обнаруживаются прототипы (лекпом, телеграфистка или Савкина настолько типологичны, что говорить об их реальных проекциях невозможно).

В «Городе Эн» четко прописан не только ближний (топография Двинска), но и дальний культурно-исторический фон: пунктирно изображены революционные события пятого года, в одной строфе-абзаце упоминается полет Уточкина на аэроплане, рассказывается о торжествах по случаю юбилея Гоголя и «освобождения крестьян» (роман, стало быть, заканчивается в 1911 году).

Характерные и для рассказов лейтмотивы (книга, смерть, исповедь) в романе образуют более плотную, отчетливую вязь, но главное — приобретают не статичный, а динамический характер. В «Город Эн» возвращается не только календарное, но и историческое время.

О *другом Добычине* изредка напоминают гротескные детали. «В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял у входа в колбасную». Но они лишь оттеняют фабулу, но не отменяют, не взрывают, не пародируют ее.

Особенно важна концовка «Начала романа» (один из первоначальных вариантов заглавия). Случайно взглянув в купленное товарищем пенсне, герой узнает, что он до сих пор неправильно видел мир.

«Раз, идя с ним и отстав от него на полшага, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди, — сказал я изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве теперь видел я все листики.

<…>

Ночью, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали была далеко. Лето она в этом году проводила в Одессе» (184).

В отличие от рассказов, финал романа так же незаменим и непереносим, как чеховские финалы. Он переводит действие в лирико-символический план, придает ему центростремительность, что резко сближает Добычина со старой поэтикой (ср. хотя бы по-иному реализованную тему «новой жизни» в финале чеховской «Степи»).

«Город Эн» тем самым довольно плотно включается в традицию автобиографической прозы, *романа взросления*: это добычинские «Детство», «Отрочество» или «Гимназисты».

Добычинский хронотопический абсурд часто интерпретируется в тематическом плане: бессмысленность мира, бессмертная пошлость, профиль смерти. Однако тема здесь становится *принципом поэтики*. Перед нами — предельный прозаический эксперимент, устремление к некой невидимой границе, за которой чудится Иное.

Но и в том и в другом случае они непродолжимы, не способны к качественным изменениям, допускают лишь количественное наращивание.

Дальше возможен либо переход в иную систему эстетических координат (записанный в манере «Опавших листьев» Розанова любой рассказ Добычина уже не выглядел бы столь абсурдным, оказавшись цепочкой мгновенных дневниковых наблюдений), либо возвращение к принципу связности (пусть понимаемому предельно широко).

«Черный квадрат» можно придумать лишь однажды, обозначив границу фигуративной живописи. Все последующее в том же духе будет никому не нужным эпигонством или прикладным искусством. Не объявлять же гением автора желтых треугольников на обоях!

Один современный иронический рассказчик (Б. Жердин) в книжке «Ничего кроме правды» провокативно заявляет, что знаменитые полотна К. Малевича малевала по трафарету гомельская артель слепых.

Добычин поставил красный флажок, обозначил границу классической парадигмы — и вышел за ее пределы. Разрушителями других сторон семантического квадрата можно считать борцов

с Захватывающей Фабулой (Хармса и других обэриутов), авторов орнаментальной прозы, «романов без героев» (в духе Белого или Пильняка), практиков «самовитого слова» (вроде Крученых и экстремального Хлебникова).

Этот опыт общезначим, но вряд ли органически продолжим. Пародирование сюжета, ликвидация героя, деконструкция пространства и времени, наконец, отказ от привычного языка демонстрируют конец уже не мира («Вот как кончится мир, не взрывом, а взвизгом»), но — прежнего *связного текста*.

Долгая жизнь на развалинах, однако, невозможна. Нужно снова что-то строить и куда-то идти.

Такова драма любого предельного авангардистского эксперимента.

Стеклянная стена аквариума прозрачна и, кажется, призрачна, но все-таки объективно существует как невидимая граница. Аквариумная рыбка обнаруживает это, натолкнувшись на нее. Далее возможны два варианта: возвращение в привычную среду существования по какой-то новой траектории или самоубийственный жест разрушения хрупкого сооружения, бросок в какое-то иное, неизвестное, неопределяемое

пространство.

Добычин и Чехов оказываются по разные стороны невидимой прозрачной стены.

Белая дача: одна экскурсия и три сюжета[123]

1. Одна экскурсия

Весной 1961 года на Белой даче оказались два человека, два друга. Они приехали на такси с набережной, от почты, с трудом нашли музей, прошли по дому без сопровождения, услышали нелепые вопросы одной праздной компании, потом долго сидели в садике, разговаривали и курили.

Через много лет, когда об этой экскурсии станет известно, автор одной статьи назовет их двумя моряками, мореманами, в другой работе они превратятся в «прожженных морских волков». Это — принятый на веру живописный вымысел, подмена реальных биографий литературными. «Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была

---

[123] Примечания: 123

Впервые опубликовано: Нева. 2014. № 3. С. 174–182.

спокойной»[124].

Во-первых, вместе этих людей никогда не трепало, потому что вместе они никогда не плавали. Они познакомились и подружились за четыре года до визита в дом Чехова.

Один вообще не был моряком. Он окончил музыкальное училище имени Гнесиных (1951), потом Литературный институт (1958), некоторое время подрабатывал музыкантом (лабухом, как тогда говорили) в ресторанах (вечер в ресторане в только что процитированном тексте описан подробно, со знанием дела), но ко времени экскурсии был автором уже трех книг рассказов, из которых настоящей, правда, он считал лишь одну, московскую («На полустанке», 1959).

Другого морским волком назвать можно. Он был выпускником штурманского факультета Балтийского военно-морского училища (1952), несколько лет служил на военных судах, а с 1955 года, после демобилизации, работал на гражданском флоте, но не ловил рыбу, а перегонял суда по Северному морскому пути. В чеховский музей он тоже пришел не с пустыми руками, но автором двух книг («Сквозняк», 1957; «Камни под

---

[124] Примечания: 124

Казаков Ю. Проклятый Север // Казаков Ю. Во сне ты горько плакал. М., 1977. С. 260.

водой», 1959).

Этими посетителями были писатели Юрий Казаков (1927–1982) и Виктор Конецкий (1929–2002).

Через четверть века Конецкий вспоминал детали внезапной самодеятельной экскурсии.

«В доме-музее А. П. Чехова в Ялте мы были весной.

Все цвело и благоухало вокруг.

Пошлая тетка говорила: „В таком доме и я написала бы чего-нибудь… Да, ничего себе домик! Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был…“

Когда мы наслушались теток и побродили по дому, то ото всего этого устали, завяли. И долго сидели на скамейке под кипарисами, молчали. Потом Казаков сказал:

— А Гуров-то, а? Он с этой дамой с собачкой… Он в Симферополь потом провожать ее ездил. На лошадях, ты это учти, милый… Целый день в те времена тарантасили. А я да и ты до угла бы провожать не стали, а порядочными людьми себя считаем… — И засмеялся как-то неприятно, беспощадно, стирая бисеринки пота со своего

римского носа»[125].

Столь неожиданное доказательство порядочности Гурова в исследовательских работах, кажется, не встречалось. Однако дело не только в этом. С этой экскурсией оказались связаны два литературных сюжета и *сюжет жизни*, который растянулся на сорок лет.

2. Два сюжета

Виктор Викторович Конецкий пришел в музей автором рассказа «Две осени» (1958–1959). Два года, согласно авторской датировке, ушли у него на текст объемом в три четверти печатного листа.

В связи с текстом в переписке Конецкого возникает любопытный — и вполне чеховский — диалог, из которого становится ясно, что интерес к Чехову формируется уже в годы его юности и писательского становления.

«Начал читать Чехова. Он заставляет думать о собственной пошлости, бесчисленное количество

---

[125] Примечания: 125

Конецкий В. О Юрии Казакове // Конецкий В. Ледовые брызги. Л., 1987. С. 526. Далее цитируется в тексте с указанием страницы. В иной редакции, с сокращениями, дополнениями и другим заглавием, дневниково-мемуарный очерк «Опять название не придумывается (Юрий Казаков)» вошел в седьмой том собрания сочинений Конецкого, начатого самим писателем и завершенного его вдовой Т. В. Акуловой (СПб., 2001–2003, электронное издание: http://www.baltkon.ru/about/works). Другие произведения Конецкого и варианты очерка цитируются по электронной версии.

кусочков которой есть в душе. Он беспощадно бьет задушевную слабость и трусость. Я никогда не улыбаюсь, когда читаю его…» (В. Конецкий — матери, 13 июня 1954 года).

«Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор „не то“, — это факт.

В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы — мура и бормотание сивого мерина. Равно так же и мои. <…>

Итак, у тебя есть хороший выход: работать, стремиться к совершенству. Ну и потом еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного. Какого черта тебе еще надо?! Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает того и другого. Будь реалистом!» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 27 декабря 1957 года; 447–448).

«Привет, бродяга кэп! Новости: был в „Октябре“. Рассказы мои идут твердо — это в сборнике о молодых: „Легкая жизнь“ и „Звон брегета“. А твой Чехов, зануда, идет, но не твердо. В нем (не в

пример моему Лермонтову) слишком выпирают источники. Слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что, наоборот, источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что ты и Чехова не читал, что там все придумано — как могут выпирать источники?» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 23 сентября 1959 года; 460).

И еще один критический камешек, уже после публикации рассказа. «Чехов очень понравился, хотя и компилятивный рассказ, как я теперь понял (я недавно перечитывал письма Чехова)» (Ю. Казаков — В. Конецкому, 21 октября 1961 года; 447–448).

Из двух противоположных точек зрения на роль материала (выпирают источники — ничего не читал) точнее первая. Письма Чехова, материалы о нем Конецкий внимательно читал и перечитывал. В составленном Т. В. Акуловой списке «Прочитано Конецким» — двенадцатитомное (зеленое) собрание сочинений (1956–1957), сборник «А. П. Чехов о литературе» (1953), монтаж В. Фейдер «А. П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам» (1928), том «Чехов в воспоминаниях современников»

(1960), мемуары М. П. и М. П. Чеховых, четвертое издание книги Н. П. Сысоева «Чехов в Крыму» (1960), переписка Чехова с Горьким (1937), книги К. И. Чуковского, И. П. Видуэцкой, Б. М. Шубина и даже научный сборник-спутник академического собрания сочинений «Чехов и его время» (1977).

Понятно, что писателя привлекали не сугубо исследовательские, а мемуарные и документальные книги. Большинство изданий из библиотеки Конецкого содержат пометки, а иногда — очень лапидарные — комментарии.

Особенно любопытна недатированная юношески-панибратская пометка на письме М. Горького Чехову второй половины августа 1900 года (№ 48 в указанном сборнике переписки): «Парнюги!! Эх! Кабы лапти вам, парни, можно пожать!»

Рассказ «Две осени» выдержан в другой интонации. Предмет изображения здесь — осень 1895 года, когда в мелиховском одиночестве пишется «Чайка», и следующая осень, когда при демонстративном злорадстве публики и многих друзей и растерянности критики она проваливается в Петербурге. Рассказ написан в форме несобственно-прямой речи, характерного для Чехова повествования «в тоне и духе героя».

«Чехов работал над „Чайкой“ неторопливо, раз-

деляя фразы большими паузами воспоминаний.

Всю свою нерастраченную любовь, всю тоску по глубоким, сердечным отношениям между людьми он хотел отдать этой рукописи. Он писал ласковым, осторожным пером; тонким, мелким почерком без нажима, но очень ясным. И нежным.

А когда он чувствовал, что переполнен красотой и волнением, то начинал подтрунивать над собой, своим писанием. И называл пьесу и воспоминания — пустяками, и говорил про себя, усмехаясь: „Ах-ах!.. Вы, Антоша, не умеете писать. Вы умеете только хорошо закусывать…“

Тянулись дни. Падали листья. Осень кончалась. По утрам от первых заморозков стал яснеть воздух. Все выше поднимались над крышами дальних изб дымы. Чехов работал, со смущением сознавая, что опять некоторые из живущих людей узнают себя, свои судьбы в его пьесе и будут обижаться, а может быть, и ненавидеть его за это.

И все время стояло перед глазами грустное лицо женщины, которая любила его и сейчас была несчастлива и страдала. И он знал, что чем-то виновен в ее страданиях».

Конечно, в тексте появляются и отмеченные

Казаковым «компиляции», закавыченные и раскавыченные цитаты: цитируются не только «Чайка», но и письма самого Чехова Л. С. Мизиновой.

В конце первой главы упоминается рассказ «Моя невеста» (его окончательное заглавие не названо), который, как уверен Конецкий, автор начинает с конца, с фразы об одиночестве и восклицания «Мисюсь, где ты?».

Печать времени больше всего отражается в финале «Двух осеней». После провала (он практически не описан и дан лишь в восприятии автора, немногочисленными деталями) Чехов нанимает извозчика, потом бредет по темным петербургским набережным, и вдруг происходит неожиданная встреча.

«Из-за поворота, мотая мокрыми мордами и отбрасывая за спины пар, показались ломовые лошади. Одна подвода за другой — целый обоз. Загрохотали в ночной тишине ободья колес. Телеги были гружены тяжело — огромными плахами дров. И кони переступали медленно, упрямо влегая в хомуты, и процокивали подковами снеговую кашу на мостовой.

Возницы в мешках, накинутых углом на голову, шли подле телег; молчали, волоча по грязи

кнуты, и на ухабах подпихивали плечом наваленные высоко плахи. По всему судя, шли они так издалека, шли долго.

Что-то угрюмое, сдержанное и сильное было в тяжелой, усталой поступи людей и коней, в том, как они брели сквозь темень, грязь и непогоду.

Последняя подвода с хромым мужиком возле задка, гремя ведром, прокатилась мимо. Мужик привычно протянул руку к картузу.

Чехов остановился и кивнул…»

Угрюмая и молчаливая народная сила если не спасает Чехова, то выводит его из состояния одиночества и катастрофы. Школьное клише «близость с народом» не прямолинейно используется автором, но все-таки ненавязчиво иллюстрируется.

Юрий Казаков обратился к Чехову не до, а после экскурсии. Через полгода Конецкий получает письмо. «*Умоляю, вышли мне срочно те!!! фразы, которые ты записал в доме Чехова.* Когда мы с тобой там были, ты записал, что говорила одна тетка пошлая, какие-то она задавала пошлейшие вопросы насчет Чехова, и ты записал в блокнот. Ты посмотри в блокноте и пришли *срочно* — мне надо, пишу нелепый рассказ про Ялту, *очень надо*» (Казаков — Конецкому, 21 октября 1961

года; 535).

На рассказ Казакова (он определен все-таки как рассказ, а не очерк, хотя вошел в очерковую книгу «Северный дневник») ушло три года. Он называется «Проклятый Север» (1964). В отличие от Конецкого, это не изображение Чехова, а размышление о его жизни. В основе рассказа — та самая экскурсия в чеховский музей, которая заставляет двух друзей-моряков заново посмотреть на жизнь собственную.

«– Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска… В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастная была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толсто-

го»[126].

Рассказ Казакова, как и рассказ Конецкого, двучастен. После музейного эпизода следует большая сцена в ресторане с описанием музыкантов, застольными разговорами, воспоминаниями о плаваниях и женщинах (здесь как раз отразился казаковский опыт ресторанного лабуха) и заключительный диалог на набережной.

«– Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать… Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте.

— Долго еще. Недели две.

— Так… Пошли спать, а завтра поедем в этот… как его?

— Куда?

---

[126] Примечания: 126
Казаков Ю. Проклятый Север. С. 264.

— Как его?.. А! Да черт с ним, куда-нибудь!»[127]

Знание об общем творческом импульсе этих текстов, написанных на разные темы, но в притяжении Чехова, обнаруживает неожиданные связи между ними.

Конецкий пишет об одиночестве Чехова: одиноких вечерах и ночах, когда пишется «Чайка», и одиночестве художника, которому не могут простить таланта, когда пьеса проваливается. Случайно встреченный обоз с ломовыми лошадями и измученными возчиками — напоминание о мире, в котором существуют работа и долг.

О работе и долге, которые спасают от тоски и ощущения бессмысленности жизни, говорит Казаков. Символом этой идеи долга становится в рассказе уже Чехов.

Собственно чеховский сюжет в творчестве двух писателей К. этими двумя короткими рассказами исчерпывается. Но от экскурсии на Белую дачу пошли круги, распространившиеся едва ли не на всю жизнь двух посетителей музея.

3. «Сюжет для небольшого рассказа»

Это сюжет-интермедия, его можно изложить совсем коротко. Он, скорее, может стать эпизодом

---

[127] Примечания: 127
Там же. С. 276.

другой истории — истории чеховских экранизаций.

В 1967 году, всего за месяц до смерти автора, в журнале «Искусство кино» (№ 12) был опубликован сценарий Л. А. Малюгина (1909–1968) «Насмешливое мое счастье», посвященный отношениям Чехова и Л. Мизиновой. Конецкому сценарий резко не понравился. Он написал об этом Казакову и Л. К. Чуковской. На защиту Чехова пытались привлечь К. Г. Паустовского и К. И. Чуковского, причем Конецкий прямо ссылался на свой чеховский опыт: «Сложность моей позиции в том, что еще в 59 году я напечатал рассказ о истории „Чайки“. Называется он „Две осени“. И теперь я не могу считать себя объективным ценителем сценария Л. Малюгина. А если сценарий этот так плох, как мне это представляется, то необходимо предпринять какие-то решительные меры, дабы на экраны не вышел еще один позорный фильм об Антоне Павловиче» (Конецкий — Л. К. Чуковской, 28 января 1968 года).

Усилия добровольного защитника Чехова, однако, ни к чему не привели. Чуковской сценарий тоже не понравился. В ответном письме она согласилась с Конецким, конкретизировав его общие соображения конкретными примерами.

«Конечно, Вы правы — все это пошлость, т. е. ложь. Чехов изображен каким-то недотепой, на котором всякие ничтожества, вроде его брата, ездят верхом. Диалог между Ликой и Потапенко он еще может сочинить кое-как, но между Ликой и Чеховым — конечно, нет, сколько ни надергивай цитат из писем. К тому же Чехов у него говорит не как интеллигентный человек того времени, а как полуинтеллигентный — нашего. Чехов не мог сказать „помыть руки“ — вместо „вымыть“, — не мог воскликнуть, как какая-нибудь горняшка: „Кошмар!“, не мог сказать „у меня пьесы не получаются“, потому что интеллигентные люди не употребляли этого недавнего „не получаются“, а говорили: „мне не удается“ или „у меня не выходят“. Ну и т. п. и т. д.

Провал „Чайки“, отъезд на Сахалин — все мотивируется неверно и пошло» (Чуковская — Конецкому, 4 февраля 1968 года).

Ни Паустовского, ни Чуковского к борьбе привлечь не удалось. В 1969 году фильм Сергея Юткевича (во французском прокате он назывался «Лика — большая любовь Чехова») вышел на экраны и даже получил приз на фестивале в Венеции. Чехова сыграл Николай Гринько, Мизинову — французская актриса Марина Влади. Однако

событием в кино он все-таки не стал. Хотя был и до недавних пор оставался одной из немногих картин, где Чехов появляется собственной персоной.

Побочным культурным следствием «Сюжета для небольшого рассказа» стало знакомство во время съемок в Москве Марины Влади с Владимиром Высоцким: одна любовная история стала катализатором другой, теперь не менее известной.

4. «Вишневый сад», действие пятое

Как раз во время перипетий с «Сюжетом для небольшого рассказа» друзья поссорились и надолго разошлись. Причины разрыва были подобны скандалам чеховских пьес: внешне пустячные случаи вызвали смертельную обиду.

Посвященная этому событию главка мемуаров Конецкого называется «Как литературно ссорятся литераторы». Он признается, что не может «с должной определенностью восстановить обстоятельства… ссоры и затем даже полного разрыва всяких дипломатических отношений в 1968 году». Но все-таки две причины называет: «1. Пьянство и дурь, которую люди вытворяют, находясь в пьяном состоянии. 2. Наше разное отношение к Константину Георгиевичу Паустовскому».

Одно из писем этого времени воспринимается как цитата, скажем, из «Дуэли»: «Жизнь так бесконечно сложна, тяжка, надрывна; так все хорошие люди не умеют жить, напрягаться, побеждать и помогать друзьям. Так все мы безобразно, ужасно старательно приближаем к себе старость, немощь, бессилие. Так всем нам жутко от будущего, так боимся мы его, не верим в него, что и все вокруг начинает мельтешиться, мельчать и… Много здесь горького можно сказать. Только нет во всем этом толку. И нельзя бросаться друг другом» (514).

Однако «бросание» произошло. Отношения восстановились лишь через одиннадцать лет, когда «эпигон и декадент Ю. Казаков» поздравил Конецкого с пятидесятилетием.

В ответном письме (из порта Певек на Чукотке) как памятный знак появляется упоминание о рассказе «Две осени»: «И еще я вспоминаю, как ты похвалил меня за „И следы позади оставались темные, земляные, в них виднелась примятая, блеклая, но кое-где все еще с зеленью трава“ (это Чехов идет по первому выпавшему снегу в Мелихово). Ты-то забыл, а я помню, как ты заглянул сзади в мое печатанье — и похвалил. Видишь, какие штуки на всю жизнь остаются в памяти!

Значит, мало меня хвалили люди, от которых единственных и ждешь похвалы…» (502).

А еще через два года в эпистолярном диалоге возникнут Ялта, Белая дача, тесно вплетенные в собственные жизни.

«Витя, напиши же, в конце концов, как ты и что? Давно ли умерла мама и отчего и был ли ты в это время в море или при ней? И есть ли у тебя собака? Не покупай собаку, Витя! Ее выгуливать надо, а потом начинаешь ее любить, а потом, когда она помирает, начинаешь страдать, пить горькую и укорачивать и без того короткую свою жизнь. <…>

А помнишь, в Ялте, ежедневную утреннюю редиску, какую-то длинную рыбу, которую я таскал на кухню жарить, и водку, которую ты со стуком ставил на стол?» (Казаков — Конецкому, 18 марта 1981 года; 538).

«Отвечаю на вопросы. Мама умерла девять лет назад. Одна в квартире, ночью. Как утверждают врачи — во сне, но мне не верится, и потому иногда накатывает ужас за нее. Я в этот момент ехал из Кракова в Варшаву, и она мне приснилась, и я уже знал, что она умерла. И я спокойно верю теперь в телепатию — во всяком случае, между матерью и сыном.

Собаку я не заводил, потому что знаю про все, что ты об этом деле пишешь, — очень ответственное, и чувствительное, и счастливо-грустное это дело.

Ялту, редиску, длинных рыбин и водку, которая в те времена, казалось, лишь веселила, будила мысль, фантазию, веру в счастье, а нынче только угнетает и лишает творческого, оставлю в душе как самое прекрасное в прожитой жизни. И кабачок с музыкантами, и дом Чехова… Обнимаю. В. К.» (536–537).

Адресаты как будто цитируют героев «Чайки» или готовят материал для пятого действия «Вишневого сада»: прошло пять лет после звука лопнувшей струны…

В каждом письме последовательно проходят три мотива: смерть мамы — собака (хорошо бы собаку купить — не надо покупать собаку) — Ялта, дом Чехова как одно из лучших в жизни воспоминаний.

Эти мотивы возникли еще в раннем письме: «А ведь мы с тобой в Ялте были. Редиску грызли. Весна была тогда, апрель. И сердца у нас, и желудки тогда болели. И про мам разговаривали, какие у нас мамы» (Казаков — Конецкому, 10 ноября 1963 года; 478).

Прошло двадцать лет — и давняя встреча с домиком Чехова, точнее, память о ней становится паролем, позволяющим восстановить отношения двух, в общем, близких, упрямых, одиноких и не очень счастливых людей.

Сохранилось и еще одно письмо, в котором один писатель упрекает и воодушевляет другого Чеховым. «Так что прочитал я твоего „Лишнего“ [имеется в виду книга «Третий лишний». — *И. С.*], прочитал, и взяла меня досада, — что это ты, братец, нехорошо себя повел, начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать?» (Казаков — Конецкому, 21 ноября 1982 года, 443).

Через семь дней было написано ответное письмо, к которому автор мемуаров дает примечание: «Письмо это я отправил в 17 часов 28 ноября 1982 года. Плохие сны снились ночью. Утром позвонили из Москвы: Казаков умер с 28-го на 29-**е** от диабетического криза и инсульта» (445).

Двойной сюжет посетителей чеховского дома завершился. Но для Виктора Конецкого Чехов остается важным предметом размышлений и сопоставлений еще два десятилетия.

5. «Он всегда прав…»

И после рассказа «Две осени» Чехов часто

поминается в романе-странствии «За Доброй Надеждой». «Боже, какое счастье, что был на свете Чехов! Все здесь мною читано, в этом томе, но за одну интонацию спокойного и сильного благородства хочется на Чехова молиться…» — цитирует Конецкий дневники 1975 года в повести «Вчерашние заботы», оконченной в 1996-м. Запись сделана в устье Енисея при чтении чеховских очерков «Из Сибири».

Позднее, во время другого плавания, он размышляет об «Острове Сахалин», глядя на сахалинские берега, сравнивая то, что было, с тем, что стало.

Прочитав в мемуарах О. Л. Книппер о последней чеховской пьесе с путешествием героя к Северному полюсу, его смертью и проносящееся в воздухе тенью любимой женщины, он делает из этого мистического замысла неожиданный практический вывод (возможно, внутренне ироничный): «Вероятно, что своим гением уже в начале века ощущал новую роль Севера в судьбе России».

Он придирчиво, профессионально разбирает ранний чеховский рассказ «В море»: «Как ни тяжело об этом говорить, у Чехова есть одно произведение, которое мне не просто не нравится… Оно называется „В море“, подзаголовок „Рассказ

матроса“ <…> Вот загадка: гениальный человек трижды печатает при своей жизни произведение, написанное на материале, который он знает чрезвычайно плохо» (529–530).

Однако в других случаях признается, что первоначальное впечатление было ошибочно, и вынужден согласиться с критикуемым писателем. «Ночью после чтения „вразброд“ сахалинских произведений Чехова мне стало гнусно-стыдно своего бездумного отрицания этих вещей раньше. Кажется, я даже напечатал где-то, что „Сахалин“ можно употреблять вместо люминала, а вот „Мисюсь, где ты?“ — вершина. Все потому, что „Сахалин“-то я ни раньше, ни теперь не читал толком от начала до конца. И вот встретил чеховское „дай мне Бог никогда ничего не говорить про то, чего не знаю“, и душа моя стыдом уязвлена стала» (524).

В этих же записях 1979 года мелькает: «В год моего рождения Чехову было бы всего 69 лет» (530).

Там же — итоговое суждение о чеховском мировоззрении: «Да, в Бога Чехов не верил, но вел себя на этом свете так, чтобы на том свете Богу понравиться. <…> В этом человеке, чем дольше живу, тем более поражает буквально все. А в самой основе восхищения — примат его воли.

Это и жизненных поступков касается, и творчества» (525).

Но пожалуй, самое существенное суждение Конецкого о Чехове возникает мимоходом, во вводном предложении: «Если Чехов прав (а он всегда прав)…» (528).

Совсем не важно, что последует дальше. Обаяние личности, общее впечатление перевешивает все рациональные аргументы и придирки.

Он всегда прав.

Эпилог

Многие вещи Чехова, как мы знаем, связаны с сюжетом ухода. В жизни Виктора Конецкого Белая дача оказалась включена в сюжет возвращения. По крайней мере, возвращения в памяти.

До конца жизни они с Казаковым перекликались именем Чехова. Это тем более важно, что Конецкий был не хилым филологом, и даже не просто коллегой-писателем, а человеком дела, который вроде бы мог отыскать множество других более близких примеров и образцов — от Хемингуэя и Экзюпери до своего близкого друга, летчика Марка Галлая.

Чеховской радиацией заражались не только современники, но и потомки, причем не беспомощные чеховские интеллигенты, как можно

было подумать, а серьезные люди, моряки, путешественники, хотя и писатели по совместительству. Пусть это заражение носило не массовый характер, но все-таки оно было.

Этот часто невидимый культурный фон, а не только прямые исследования «влияния творчества АПЧ на писателя Имярек» надо тоже учитывать, если мы хотим понять место Чехова в культуре.

А. Терехов недавно мимоходом иронически заметил в очерке об А. И. Солженицыне: «Девушки спустя сто лет не заплачут над его книгами — все авторы руслита ☒русской литературы. — *И. С.*☒ мечтали об этих бледно-розовых чертовых девушках спустя сто лет. Никаких солдат-контрактников или менеджеров среднего звена»[128].

Так вот, читатель, который заявляет, что Чехов всегда прав, — не тургеневская девушка, а прожженный капитан, несколько раз обогнувший земной шар и умеющий общаться с грубыми моряками, которые, вероятно, погрубее солдат-контрактников, не говоря уж о менеджерах среднего звена.

Культура, в которой такой человек произносит

---

[128] Примечания: 128

Терехов А. Тайна золотого ключика // Литературная матрица. Т. 2. СПб., 2010. С. 745.

подобную фразу, — это одна культура. Если же в обозримом (или необозримом?) будущем люди, говорящие на русском языке, станут спрашивать, кто такой Чехов (как сегодня уже спрашивают, кто такой Юрий Казаков), — это будет уже другая страна, другая культура и другая история.

Жизнь после жизни: Б. Ш. как мифолог А. Ч.[129]

1. Поскольку инициалы А. Ч. не нуждаются в расшифровке, начнем с Б. Ш. В 1992 году писатель Борис Штерн[130], известный прежде всего как фантаст, сочинил короткую автобиографию в жанре не бюрократически-напыщенном, а иронически-самокритичном, пародийном, напоминающем аналогичный опус раннего Зощенко («О себе, об идеологии и еще кое о чем»). Из нее мы узнаем, что автор родился в 1947 году в Киеве, но 17 лет прожил в Одессе; окончил одесский филфак, но не любил литературоведческие термины вроде «архитектоника», потому что «объелся этими терминами на всю оставшуюся жизнь»; «где только не работал», но в конце концов вернулся в родной город. «Основная работа ныне: сижу дома на опушке леса на окраине Киева, курю

---

[129] Примечания: 129

Впервые опубликовано: Мир Чехова: мода, ритуал, миф. Симферополь, 2009. С. 247–261. (Чеховские чтения в Ялте. Вып. 13).

[130] Примечания: 130

Используемые биографические данные взяты из автобиографии, интервью и писем Бориса Штерна Б. Стругацкому и Г. Прашкевичу, размещенных на сайте Либрусек (http://lib.rus.ec/a/11401).

„Беломорканал“ и стучу чего-нибудь на пишущей машинке в надежде на гонорар».

Видимо, еще на машинке Борис Штерн и настучал первый большой роман (раньше он сочинял рассказы и повести) — «Эфиоп» (авторская дата — «Киев, апрель 1994 — декабрь 1996»)[131].

Это произведение в огромной современной чеховиане упоминается, кажется, впервые.

2. Роман «Эфиоп», получивший в профессиональной среде фантастов (которая очень замкнута, отделена от «просто литературы» и пользуется специфическими критериями) прямо противоположные оценки (от сопоставления с «Мастером и Маргаритой» до припоминания фолкнеровских слов о блистательной неудаче) задуман и написан в жанре альтернативной

[131] Примечания: 131

Штерн Б. Эфиоп. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1997 (Сер. «Вертикаль»); 2-е изд.: Эфиоп, или Последний из КГБ. Фаллическо-фантастический роман из жизней замечательных людей. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2002 (Сер. «Звездный лабиринт: коллекция»). Далее в тексте цитируется это издание с указанием страницы.

истории литературы[132].

В единственном, кажется, большом интервью серьезному изданию («Литературная газета», 1997, № 33, 13 августа) Штерн отчитывался журналисту, парафразируя мотивы «Моей родословной» и «Арапа Петра Великого»: «Написал вот громадный роман — „Эфиоп, или Последний из КГБ“. Добрый он или не добрый… Но веселый, точно. Значит, добрый. В нем восемь частей, первая часть называется „Эфиоп твою мать“». А на вопрос журналиста «Что это вас в Эфиопию занесло?» дополнительно разъяснял: «Сюжет занес. Одна из линий романа. История арапа Петра Великого наоборот. Во время гражданской войны украинского хлопчика Сашка Гайдамаку вывозит из Крыма французский шкипер, негр. Спасает

[132] Примечания: 132

В среде фанфанов (фанатов фантастики) популярностью пользуется и еще одна вышедшая одновременно с «Эфиопом» книга в жанре альтернативной истории литературы — роман А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» (1997). Это биография пережившего 1921 год Николая Гумилева, который под разными именами пророчески наводит порядок в хронотопе советской эпохи: беседует с Булгаковым на Патриарших прудах («– Не Михаила ли Афанасьевича перед собой вижу? — спросил я больше для проформы. — Ваш покорный слуга, — снова кивнул он. — С кем имею честь? — Фридрих Мария фон Виланд, — отрекомендовался я. — Лингвист. Счастлив познакомиться с великим мастером Слова»), является Маяковскому перед его самоубийством («Я пришел, потому что ты поэт, продавший душу дьяволу»), слушает доклад Горького на Первом съезде писателей («Доклад длился три часа, а показалось — десять. <…> Странное дело: покойником здесь был я, но именно я-то смотрел на них на всех как на

мертвецов. И пожалуй, впервые почувствовал, что запах разлагающего Слова — отнюдь не метафора»).

хлопчику жизнь, доставляет его в Эфиопию и дарит тамошнему императору. Цель — генетический эксперимент: в четвертом поколении вывести из хлопчика африканского Пушкина. Сашка запускают в императорский гарем, где он и трудится изо всех сил не за страх, а за совесть».

Сложные и даже запутанные фабульные перипетии книги опираются на пушкинское определение *«под небом Африки моей»* и тяготеют к лозунгу «Вырастим Пушкина на его исторической родине». Герой, Сашко Гайдамака, вырастает, путешествует по Европе, появляется даже на независимой Украине (верхняя хронологическая граница романа совпадает со временем его написания), но затея оканчивается грандиозным провалом, не помогает даже чудовищная любвеобильность героя.

«И все же смелый генетический эксперимент Гамилькара вскоре пошел вразнос — все гены перепутались и смешались, многочисленные дети Сашка сначала разбрелись по всему Офиру, по соседним (в тот период) Египту, Эфиопии и Сомали, а потом заполонили всю Африку. Гамилькар со счету сбился их считать. Была даже создана счетная комиссия, но толку не получилось, комиссию тут же поразила коррупция — брали взятки за

фальшивые свидетельства о рождении очередного Сашка Гайдамаки и т. п. и т. д. Офир всходил и заходил, исчезал и появлялся со свойственной этой стране непредсказуемостью, Сашки Гайдамаки росли как на дрожжах, взрослели в детском возрасте, служили в гвардии негуса, были дипломатами, писцами, скитались бродягами, бомжами, проходимцами, бичами, плавали моряками, вкалывали железнодорожниками и т. д., были желанными для всех африканских женщин, но вот настоящих поэтов среди них не случалось — вернее, многие рифмовали, зная цель своего выведения на свет, но эти попытки были не пушкинские, „Русланом и Людмилой“ не пахло. <…> Только потом с высоты состояния современной генетической инженерии стало ясно, что подлинного Александра Пушкина вывести невозможно в силу нарастающей неопределенности, но тогда генетика пребывала еще в зачаточном состоянии и гадала на экспериментальном горохе основателя генетики монаха Менделя» (473–474).

Вполне «школьный» по материалу (альтернативная история часто лежит в основе как неграмотных сочинений, так и анекдотов о русских классиках, вроде известного цикла «Веселые ребята»), роман оказывается весьма рискован-

ным и не совсем школьным стилистически. Авторский подзаголовок (снятый редактором первого издания и восстановленный лишь во втором) — «Фаллическо-фантастический роман из жизней замечательных людей». Один из лейтмотивов книги — стоящее в сильной рифмованной позиции непечатное слово из пушкинской «Телеги жизни» и аналогичный густой слой обсценной лексики, ставшей предметом специального ученого исследования в статье с пространным и — в духе романа — игровым заглавием «Наречие на „Н“ из пяти букв, отвечающее на вопрос „куда?“»[133].

В романе, однако, важна не только языковая и тематическая игра с телесным низом (за что книга от людей, окончивших другие филологические факультеты и читавших Бахтина, получила высокое и малопонятное звание мениппеи), но и литературная игра с прежними и современными текстами, клише, мифами. В воронку романа втягивается история XX века: действие развертывается во время Гражданской войны в Ялте

[133] Примечания: 133

См.: *Назаренко М.* Наречие на «Н» из пяти букв, отвечающее на вопрос «куда?». Функционирование обсценной лексики в романе Бориса Штерна «Эфиоп» // «Злая лая матерная…». Сб. статей / Под ред. В. И. Жельвиса. М., 2005. С. 494–522 (Сер. «Эротика в русской литературе»).

и Севастополе, в вымышленном утопическом Офире, похожем на райское Эльдорадо (замена первоначально предполагаемой ганнибаловской Эфиопии), на Капри, в Париже, в уже независимом Киеве начала 1990-х годов. В шутовском хороводе романных героев, кроме главного, Сашка Гайдамаки, его наставника и спасителя африканского шкипера Гамилькара, его спутницы и возлюбленной Люськи, предстающего в разных реальностях «вечного следователя» Нуразбекова, участвуют батька Махно, барон Врангель и Булат Окуджава, Хемингуэй и Толстой (они ведут боксерский и словесный поединок, в котором, безусловно, побеждает великий Лев).

В этой литературной кутерьме отчетливо прослеживается чеховский след.

3. Игра с заголовками и эпиграфами — любимый прием многих фантастов. Она позволяет обозначить круг авторских пристрастий, создать столь ценимый знатоками интертекст.

Первый круг штерновского эфиопского интертекста — советская литература в диапазоне от школьных программных произведений до популярных приключенческих книг. Подзаголовок романа (он же — заглавие второй книги) «Последний из КГБ» — парафраз и аллитерация заглавия

неоконченного романа А. Фадеева «Последний из удэге». Заглавие первой части — «Офир почти не виден» — такой же парафраз шпионской повести В. Ардаматского «„Сатурн“ почти не виден». Далее в литературную мельницу попадают Ю. Семенов («Бомба для председателя» — заглавие пятой части «Бомба для Муссолини»), В. Шукшин (его «Беседы при ясной луне» превращаются в заглавие восьмой части «Допросы при ясной луне»).

В заглавиях уже не частей, а глав без переработки использованы заглавия классических произведений и цитаты из них: «В числе молодых людей», «В белом венчике из роз», «Сей шкипер был тот шкипер славный», «Нет, и в церкви все не так» (Высоцкий), «Потомок негров безобразный», «А поутру они проснулись» (Шукшин), «Таинственный остров», «Бахчисарайский фонтан», «Слово и дело» (В. Пикуль), «Телега жизни».

Явное преобладание пушкинских цитат в романе на пушкинскую тему вполне объяснимо. Однако в многочисленных эпиграфах (они предшествуют всему роману, каждой части, каждой главе, оглавлению и даже «экологически чистой странице» без всякого текста, сопровожденной дурашливым примечанием: «Просто пустая страница с эпиграфом, куда каждый Читатель

может писать все, что ему заблагорассудится», 599) на первое место по индексу цитируемости неожиданно выходит Чехов. Ему приписано около 30 эпиграфов: фрагментов из художественных текстов (совсем немного), писем (больше всего), воспоминаний. Этот цитатный слой может и должен стать предметом специальной работы.

Иногда автор «Эфиопа» цитирует точно (или почти точно), но столкновение цитат создает необходимый эффект. Глава I части второй «Посвящение» тоже экологически чиста: она не имеет текста и состоит только из двух эпиграфов (79).

«Я вообще против посвящения чего бы то ни было живым людям. А. Чехов» (это реплика из воспоминаний М. К. Куприной-Иорданской: «Антон Павлович громко говорил: „Я против посвящения чего бы то ни было живым людям. В молодости я сам этим грешил, о чем теперь жалею“»)[134].

«Многоуважаемый Петр Ильич! Прошу Вашего разрешения посвятить Вам эту книгу. А. Чехов — П. Чайковскому» (вольная цитата из письма композитору 12 октября 1889 года с просьбой посвятить ему книжку «Хмурые люди» — П3, 259).

---

[134] Примечания: 134

Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. Воспоминания о А. И. Куприне. Минск, 1960. С. 149.

В исходном контексте суждения не противоречат, а скорее дополняют друг друга: в молодости посвящал (а письмо Чайковскому — как раз молодость) — теперь против посвящений (это уже ялтинский период, причем нужно учитывать, что воспоминания Куприной-Иорданской — не аутентичный текст). Но, вынимая из контекста, сталкивая эти суждения, причем без всякой датировки, автор добивается нужного эффекта: ловит Чехова на слове, на неразрешимом противоречии.

В других случаях за чеховские выдаются явно мистифицированные цитаты, причем довольно хулиганские. «Манера повествования в „Войне и мире“ похожа на работу унитаза — тихо, ровно журчат главы, где речь идет о Пьере, Наташе, князе Андрее; как вдруг грохот, водопад: началось авторское отступление. А. Чехов» (71).

Через эпиграф-апокриф происходит включение Чехова в хронотоп «Эфиопа»: «Ваш роман непременно высылайте бандеролью в Серпухов. Не пропадет — мне перешлют в Офир. А. Чехов» (глава 6 третьей части «Таинственный остров (продолжение)», 173).

Оно поддерживается авторским рассуждением в самом начале романа. «В „Эфиопе“ не

упоминается ни одной конкретной даты, кроме одного конкретного дня, месяца и года — 2 июля 1904 года. Именно в этот день наступил кризис в болезни Чехова и, как удалось выяснить исследователям Акимушкину и Нуразбекову, произошел пространственно-временной сдвиг, который привел к встрече на Графской пристани генерала Врангеля и поэта Окуджавы, заставил психоаналитика Фрейда совершить путешествие в страну Офир, а начинающего писателя Хемингуэя выйти на боксерский ринг против графа Толстого, превратил поэта Гумилева в орнитолога Шкфорцопфа и привел его к открытию лунного купидона и симбиозной теории возникновения человека, забросил „Супер-Секстиум“ с лазерным принтером в дореволюционную Одессу, а велосипедиста Гайдамаку — во времена Ильи Муромца и т. д. Акимушкин и Нуразбеков впервые наблюдали явления генетических сдвигов пространства-времени, — более того, непосредственно участвовали в них» (31).

А во второй книге романа, в «Главе между двенадцатой и четырнадцатой» «Укушенные купидоном» (363–365) появляется уже сюжетный эпизод. Еще один из героев романа О’Павло, монах в черной сутане, полюбивший путешествовать по

воздуху, однажды летит «беспересадочно» через море в Рим, делает остановку на Капри и «знакомится со своим любимым писателем Чеховым, которого в прямом смысле едва ли не боготворит, принимая его чуть ли не за Иисуса Христа».

Дальше следует переадресованная автору цитата-описание черного монаха из одноименной повести, преходящая в апокрифический диалог: «Чехов поражен: „Монах в черной сутане, с седою головой и черными бровями, скрестив руки на груди, пронесся мимо меня. Босые ноги его не касались земли. Потом он оглянулся, кивнул мне головой и улыбнулся ласково и в то же время лукаво, с выражением себе на уме. «Ты призрак, мираж, галлюцинация, — проговорил я. — Ты не существуешь!» Он ответил: «Думайте как хотите. Я продукт вашего возбужденного воображения. Я существую в вашем воображении, а воображение ваше есть часть природы, значит я существую и в природе. Как вы чувствуете себя, Антон Павлович?» — «Здесь скучно, — ответил я. — Без писем можно повеситься, а потом научиться пить плохое каприйское вино и сойтись с некрасивой и глупой женщиной»“. (Более подробно встречи Чехова с О’Павлом описаны Сомерсетом Моэмом в эссе „Второе июля четвертого года“ [см.

ЭПИЛОГ])».

Посмотрев в «Эпилог», мы обнаруживаем там разделенное на несколько глав (582–588, 591–599, 602–610, 613–624) анонсированное эссе, у которого есть своя история.

4. «Пишу, пишу. Небольшую повестушку написал о Чехове (!), о том, как Чехов не умер в 1904 году, а прожил до 1944-го. То ли повестушка, то ли „фантастическо-литературоведческая статья“. И неплохо вроде, нескучно. А куда пристроить, не знаю, как всегда», — сообщил Штерн коллеге и другу (Г. Прашкевичу, 5 апреля 1994 года).

Через три дня текст был послан безусловному авторитету, Б. Стругацкому, с сопроводительным письмом-просьбой: «Вот, отправляю две небольшие повестушки (или фантастические эссе) в духе альтернативной истории. Хоть я далеко не пацан уже, но как-то по привычке посылаю Вам на прочтение и оценку. <…> А эссе про Чехова от имени Моэма, кажется, получилось. Во всяком случае, писалось не мучительно больно и с удовольствием. В этом году в июле 90 лет со дня смерти Чехова — куда бы пристроить эту „статью“? Может быть, „Звезда“ заинтересуется?» (8 апреля 1994 года).

«Звезда» заинтересовалась и даже анонсиро-

вала публикацию, но в итоге в седьмом номере 1994 года вместо девяностолетия со дня смерти Чехова отметила двухсотлетие со дня рождения Чаадаева.

Повестушка-эссе вышла отдельной брошюрой, даже библиографическое описание которой выглядит как поэма: Сомерсет Моэм. Второе июля четвертого года: Новейшие материалы к биографии Антона П. Чехова. Пособие для англичан, изучающих русский язык, и для русских, не изучавших русскую литературу / Новороссийский государственный университет им. Н. И. Костомарова. Отделение русской словесности. — [Киев]: ВИАН, 1994. 32 с. 3 тыс. экз. ISBN 5-7998-0045-9 [(о); К 200-летию Одессы; Пер. с англ. Б. Штерна; Гл. ред. Л. Ткачук; Ред. И. Кручик; При участии ЛИА «Одессей» (Одесса); © Сомерсет Моэм, 1966; Борис Штерн, перевод, 1994].

Под именем Моэма (намного чаще, чем под именем Штерна) текст до сих пор бродит по Сети, обсуждается в блогах и долгое время был доступен для скачивания на сайте ялтинской городской библиотеки, города Чехова. Как новый биографический источник очерк «Моэма» попал

даже в школьное пособие по литературе[135].

Мистификация, таким образом, блестяще удалась.

Через несколько лет появилось второе книжное издание, уже не в о<бложке>, а в переплете — и с указанием имени подлинного автора[136].

Рецензенты обсуждают целесообразность и удачность последующего включения повести-эссе в роман. С текстологической точки зрения, однако, все очевидно: последней редакцией «Второго июля» стал эпилог «Эфиопа». Он расширен, структурно подготовлен, несколькими стежками (см. выше) пришит к основному тексту книги (что, как видим, не исключает и автономного существования первоначальной версии).

Пушкинскую фантасмагорию Бориса Штерна замыкает чеховская мифологизация.

5. Штерн совершенно по-особому относился к Чехову.

---

[135] Примечания: 135

См. об этом: *Скибина О.* Размышления провинциального педагога на полях столичных учебников. Часть вторая // Чеховский вестник. 2004. № 14. С. 10–13.

[136] Примечания: 136

Штерн Б. Второе июля четвертого года. Новейшие материалы к биографии Антона Чехова. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2005. 3000 экз. 88 с. См. развернутую рецензию на это издание: *Гульченко В. В.* Звезда Штерна, или Ich sterbe nicht // Биография Чехова: итоги и перспективы. Великий Новгород, 2008. С. 206–212.

В автобиографии ответ на вопрос о любимом писателе лаконичен: «Любимый писатель: Антон Павлович Чехов». А ответ на следующий вопрос сопровождается контрвопросом: «Любимая книга: странно, любимый писатель — Чехов, а любимая книга — „Три мушкетера“ („Колобок“ не в счет), притом что Дюма-отец не самый сильный писатель. Почему так?»

В письме Б. Стругацкому (25 ноября 1986 года) в связи с работой над очередным замыслом появляется признание: «Удивительные дела иногда происходят в писательстве! Я тут от первого лица пишу старого академика, который перед смертью одержим всякими бесами и маниями — и все время влетаю в тон чеховской „Скучной истории“, которую ужасно люблю, — и все время уничтожаю „чеховские“ моменты (когда они проявляются напрямую)…»

Через два года в письме тому же адресату возможная поездка на Сахалин комментируется так: «Редкий шанс — хоть чуть-чуть, но по стопам Чехова» (15 сентября 1988 года).

Выстраивая типологию литературных форм, Штерн в качестве универсальной модели называет «Каштанку» (о чем — чуть далее).

При всей рискованности конкретных деталей

(особенно раздразнили профессиональных читателей реплика Льва Толстого при посещении садово-кудринского дома «Ах, так у вас там девочки?!» и объявление на воротах чеховской дачи «Осторожно, злые старушки!»), впрочем, весьма мягких на фоне предшествующего текста, чеховский фрагмент строится в конечном счете как парадоксальное объяснение в любви, пропущенное сквозь жанровую призму альтернативной истории.

Чехов, оказывается, не умирает в Баденвейлере (в этот день в Москве умирает Горький), а, выпив вместо хрестоматийного шампанского спирта, внезапно выздоравливает и проживает еще одну жизнь (которую Штерн сочиняет по канве биографий Горького, Бунина, Солженицына и т. д. — всю фактическую базу этого центона еще предстоит определить).

«„Живем дальше“, — вздохнул Чехов» (603). Он поселяется на Капри (как Горький), еще до мировой войны получает Нобелевскую премию (как много позднее Бунин), после смерти Толстого занимает его место властителя дум и абсолютного нравственного авторитета: «Когда умер Лев Толстой, Чехова никто не короновал, не назначал и не выбирал, но этого и не требовалось, он есте-

ственным образом, по праву „наследного принца“ возглавил русскую литературу. <…> Авторитет Чехова был беспрекословен. „Как хорошо, что в русской литературе есть Лев Толстой! — говорил Чехов в молодости. — При нем никакая литературная шваль не смеет поднять голову“. Теперь обязанности Льва Толстого перешли к Чехову, и по авторитету, и по старшинству в свои пятьдесят лет Чехов был первым. Генетическая наследственная связь Чехова с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, Толстым ни у кого не вызывала сомнений…» (606).

Особо возрастает его роль после революции (в альтернативной штерновской реальности главным вождем в СССР становится Киров). «Большевики ненавидели Чехова, но ничего не могли с ним поделать. Он был очень богатым человеком, самым высокооплачиваемым писателем в мире — его книги пользовались громадным успехом у западной интеллигенции, его почитали как святого, ему платили огромные гонорары. „Фонд Чехова“ составлял полмиллиарда долларов. Он давал большевикам деньги на индустриализацию, электрификацию, здравоохранение, а завещание было составлено так, что в случае смерти Чехова большевики не могли претендо-

вать на эти деньги, теряли все» (617).

Эффектную точку Штерн ставит в финале: «Антон Павлович скончался в Ялте именно в ТОТ день — второго июля, но через сорок лет, вскоре после открытия второго фронта. Он до конца был в ясном житейском сознании, но вряд ли уже отчетливо понимал, что происходит в стране и в мире. И слава Богу <…> Чехова временно похоронили в Ялте. Через полгода Рузвельт, Черчилль и Киров, перед тем как решать на Ялтинской конференции судьбу послевоенного мира, пришли с цветами, постояли у его могилы и проводили на аэродром в последний путь — тело Чехова доставили в Москву на самолете в свинцовом гробу <…> и перезахоронили на кладбище Новодевичьего монастыря. Еще через три дня был подписан исторический Ялтинский меморандум. Все было ясно. Миссия Чехова была выполнена. Фашизм был раздавлен, а коммунизм решили тихо свернуть. От.

Из Истории видно, что в древности жили дураки, ослы и мерзавцы.

А. П. Чехов» (624).

Многоплановое повествование замыкает вариация чеховской шутки из письма к А. А. Киселевой: «Посылаю Вам из глубины Души

следующие подарки: <…> 8) Древнюю Историю с Рисунками; из этой Истории видно, что и в древности жили дураки, Ослы и Мерзавцы» (8 января 1890 года; П4, 7).

Многие ли профессионалы сразу вспомнят источник этой фразы?

6. В письме Б. Стругацкому (28 июля 1983 года) Б. Штерн предложил оригинальную вариацию распространенной литературной типологии, взяв в качестве модели-образца, как уже упоминалось, чеховский текст:

«Вся художественная литература делится на два вида произведений: сказка „Колобок“ и рассказ „Каштанка“. Вот два шедевра, и вся остальная проза примыкает к тому или к другому.

„Колобок“ — произведение, где можно ответить „о чем“. Там мысль — хвастаться нехорошо, нарвешься на Лису и будешь съеден. Мысль эта отлично проиллюстрирована. Шедевры в этом виде литературы — вещи Достоевского. (!) В этой шутке много правды. Это вид литературы, где можно довольно точно указать или небольшую мысль (Колобок), или сложную философскую концепцию (Преступление и наказание). Этот вид литературы построен на мысли, и от мысли у читателя возникают чувства. Это отлично.

„Каштанка“ — когда я спрашиваю: а о чем „Каштанка“, то не слышу ответа. А она, в самом деле, ни о чем! Она о собачьей тоске — но ведь это не мысль! Это второй вид литературы — литература чувства. Она бьет на чувство читателя, и тогда он сам начинает думать „а о чем?“. Это Чехов.

„Воскресенье“ относится к „Колобку“, а „Война и мир“ — к „Каштанке“.

Все можно уместить в эту схему, и поэзию тоже. Фантастика чаще принадлежит к виду „Колобок“, она чаще идет от мысли, но в ней встречаются много „Каштанок“.

Пастернак это „Каштанка“, а Маяковский — „Колобок“».

Если вернуть это разграничение автору «Эфиопа», его роман скорее относится к модели «Колобка». Пушкинская фабула строится на одной мысли: гений — уникален, не поддается искусственному воспроизведению, «подлинного Александра Пушкина вывести невозможно».

Чехов появляется в «Эпилоге» для демонстрации другого оттенка этой мысли: гений не может изменить ход истории, вразумить всех дураков, ослов и мерзавцев (революция в России все равно происходит, неизбежной оказывается и мировая война), но он становится лицом и голосом эпохи,

уходит, лишь до конца исполнив миссию.

«Что было бы, если бы второго июля четвертого года умер Чехов, а Пешков остался жить? Праздные ли это вопросы? Для атеистического человека ход истории предопределен законами, для человека религиозного — история в руках Божьих. И тот и тот согласны, что влияние человека на историю возможно: верующий — по воле Божьей, атеист — в некоторых конкретных пределах; вот вопрос и тому и тому: может ли человек влиять на Бога? Может ли человек изменять законы природы? Что было бы, если бы человек сделал то, а не это, если бы случилось то, а не это? Русская присказка „Если бы да кабы…“ сама по себе хороша, но любомудрием не отличается. <…> Может быть, просто: Бог хранил? Может быть, Тот, Кто Выбрал Чехова второго июля четвертого года, теперь чувствовал свою ответственность за него?..» (617–618).

7. В Статье «Иван Сусанин» (1862) Н. И. Костомаров рассуждал: «В важных исторических событиях иногда надобно различать две стороны: объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в каком событие происходило в свое время: вторая — тот вид, в каком событие напечатлелось в памяти

потомства. И то и другое имеет значение исторической истины: нередко последнее важнее первого. Так же и исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо большее значение, их качества идеализируются: у них предполагают побуждения, каких они, быть может, не имели вовсе или имели в гораздо меньшей степени. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений»[137].

Эту мысль, с прямо противоположными целями, позднее цитировал С. М. Соловьев: Костомаров, пользуясь приемами «мелкой исторической критики», сомневался в подвиге Ивана Сусанина, Соловьев, апеллируя к «высшей критике» и «состоянию духа народного», защищал костромского крестьянина[138].

Первую позицию можно определить как истину факта, вторую, используя определение немецкого философа К. Хюбнера, как *истину мифа*, выра-

[137] Примечания: 137

Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. Т. 1. СПб., 1863. С. 479–480.

[138] Примечания: 138

См.: *Соловьев С. М.* О статье г. Костомарова «Иван Сусанин» // *Соловьев С. М.* Сочинения: В 18 т. Кн. 5. М., 1990, С. 339–345.

тающую из фактов, но преобразовывающую их по законам предания, легенды, художественного образа. Эта дилемма имеет прямое отношение к нашему сюжету.

Уже цитированное интервью писателя «Литературной газете» называлось: «Надо избавляться от старых мифов, но при этом создавать новые». Писатель разъяснял: «Все земные цивилизации (неземные — не знаю) строились на мифах. Все. От египетской до советской. Когда первая обезьяна сочинила себе Историю, она превратилась в человека. Без мифов нет культуры. <…> Я считаю: от старых мифов надо избавляться, но при этом создавать новые, более удобные. А без мифов — скучно. „Волга впадает в Каспийское море“ — это верно, но скучно».

В «Эфиопе» Борис Штерн продолжает русский миф о писателе-демиурге, мифологизирует образ Чехова как «нашего всего», ключевой фигуры не только русской литературы, но мировой истории XX века. Автор дарит Чехову еще сорок лет — целую жизнь после жизни — и делает его если не вершителем, то собеседником на пиру мировой истории, до которого создатель «Вишневого сада» не дожил.

Роман Штерна обычно называют постмодер-

нистским, что, по-моему, совсем несправедливо, если понимать постмодернизм как слом всякой иерархии, презумпцию текста над миром, игру чистыми означающими, эстетический и нравственный релятивизм. Литературная игра у Штерна нигде не переходит эти границы (не говоря уже о приписанной Чехову беспощадной, с употреблением тех же обсценных выражений, оценке одного из современных штатных представителей постмодернистского цеха).

Этот странный роман во многом уязвим. Но он, безусловно, — не деконструкция, не развенчание, а продолжение чеховского мифа.

8. В автобиографии Борис Штерн (случайно или нет?) обозначил как свой последний рубеж год чеховского 150-летия: «Еще о смерти. В юности одесская цыганка с Молдаванки нагадала мне 63 года в этой жизни. Вполне удовлетворен и с тех пор не гадаю. Значит, через 18 лет в 2010 году пора собирать вещички».

Заканчивается она редакторской припиской: «6 ноября 1998 года умер киевский писатель-фантаст Борис Гедальевич Штерн».

Иллюстрации



Семья Чеховых. *Таганрог, 1874. Стоят:* Иван, Антон, Николай, Александр Чеховы, М. Е. Чехов. *Сидят:* Михаил и Мария Чеховы, П. Е. Чехов, Е. Я. Чехова, Л. П. Чехова, Георгий Чехов



Дом Чеховых в Таганроге. *Современное фото*



Таганрог. Городской театр. *Открытка начала XX в.*



А. П. Чехов. *1880*



Ал. П. Чехов. *1880-е*



А. П. Чехов. *Москва, 1881–1882*



Московский университет на Моховой. *1880-е*

№ 10. ГОДЪ ПЯТЫЙ. 9-го МАРТА.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

СТРЕКОЗА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

Подписка принимается:
въ Конторѣ Редакціи, на углу Невскаго просп. и Михайловской улицы, въ домѣ Европейской гостиницы.

Цѣна отдѣльнаго номера 20 коп.

Цѣна за объявленія:
30 коп. за строчку петитомъ—первый, разъ и 4 слишк.

Условія подписки:
Въ переплетомъ, какъ въ Москвѣ, такъ и въ другіе города Россійской Имперіи:
на годъ съ пересылк. . . . . 10 р.
на 6 мѣс. безъ пересылк. . . 5 р. 50 к.
въ С.-Петербургѣ:
безъ доставки на годъ . . . . 8 р.
" " на полгода . . 4 р. 50 к.
съ доставкой на годъ . . . . 9 р.
" " на полгода . . 5 р.
Цѣна листа 30 к. за порядочное время.

НЕВОЛЬНЫЙ КОМПЛИМЕНТЪ.



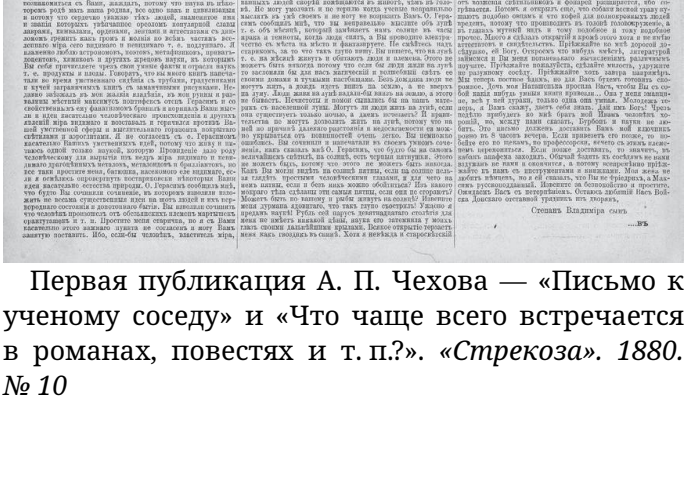
Она. — Ты говоришь, что Нонна Петровна дурнѣетъ, но, мнѣ кажется, если она есть дурнѣетъ, то не замѣтно-ли изъ-за...

Онъ. — А я тебѣ говорю, что дурнѣетъ и дурнѣетъ... Другимъ только и замѣтно, что она дурнѣетъ... Ихъ только и видѣть...

Она. — Ну, хотя твоя умъ говоритъ, только ты хотѣлъ не сказалъ...



А. П. Чехов. После получения первого литературного гонорара. *1880*



АРХИВЪ „СТРЕКОЗЫ“.

Письмо досточтимаго монтшика Ортодокса Владимировича N къ ученому сосѣду о-ну Бунтрицк.

Дорогой Сосѣдушко!

Фрёкерихъ (забылъ какъ по батюшкѣ, извините вполнѣ-ходячко!) Иванычъ и простое твоя старано спрашиваетъ и нелѣпую улку человѣческую за то, что сосѣдствовалъ Васъ безпокоить своихъ жалкихъ писаніемъ объ обезьянѣ. Вотъ уже нѣкій годъ прошелъ, т. е. полгодика въ вонъ вѣчности, какъ Вы нѣкоими поселились въ нашей части себѣ по сосѣдству со мной великимъ человѣкомъ, а я все еще не знаю Васъ, а Вы меня тоже не знаете. Позволь-съ, почтенный сосѣдушко, а то хотя нерезетскихъ слухъ старческихъ Нероптіфонъ познакомиться съ Вами, искать мнѣнію Вашу умную руку и попрлять Васъ съ прѣздомъ изъ Санкт-Петербурга въ наши весдостойной матерель, населенной мужиками и крестьянами, народомъ т. е. дзебѣсковъ вежеными. Давно искать я слухъ познакомиться съ Вами, дакалъ, потому что знулъ въ лѣсно-торомъ родѣ имѣ наша родина, все одно имѣ и цивилизаціи и нѣтъ что сосѣдно увидѣ-тѣхъ людей, знающихъ имъ и знали которыхъ требичаніе орозомъ вонгарній слава дворянъ, помѣщикъ, орлиное, ученыя и нтчестивыя съ дзебѣдоволь грязныхъ какъ грязь и волзь по лѣзь частяхъ вседенное мірь сего подлаго и помѣщикъ т. е. подлаго. Я каженно любло встрѣчаюсь, конечно, метафизиковъ, привлатъ-ломентовъ, химиковъ и другихъ ученыхъ людей, въ которыхъ Вы себя причислите чрез свои умные факти и отрасли науки т. е. продукты и плоды. Говорить, что на вашего книгъ пишутъ-тали во время умственнаго сидѣнія съ трубкою, градусникомъ и кучей перваго-чтенія книгъ съ замѣчтелью рогтелемъ. Недавно сейскалъ въ мои жалкія квадзіи, въ моя родина и рацвѣлыхъ жѣстяній маленькъ полубрюсъ отецъ Герасимъ и по свойственныхъ ему фанаплюмовъ брешью и порокамъ Вамъ высланъ и цѣна писательно человѣческая. Я сейскалъ въ моя жалкія квадзіи мѣра великаго и восславлъ и горячился противъ Вашей умственной сферы и нацетельнаго горюнства покрѣпкаго сейтѣлами и корогтѣлями. Я не согласенъ съ о. Герасимомъ касательно бывшихъ умственныхъ отрядъ, что якобы и вамъ такожъ одной только наукой, которую Провидѣніе дало роду человѣческому для нарытія тѣхъ недръ мра недокого и неподвижно дикообразныхъ металлонъ, металлоидовъ и брилліантовъ, но всѣ тѣми простыми вещи, бакшины, насѣкомого ее видящихъ, есть и сейскалъ скрюсгрупъ востриненіемъ жѣнотоди Вашего дѣла касательно остестя природы. О. Герасимъ сообщалъ мнѣ, что будто Вы сочиняли сочиненіе, въ которомъ изволили полюжить не всѣхъ существительныхъ ихъ на пусть людей и ихъ умственною состояніи и довольною бытіе. Вы изволили сочинить что человѣкъ произошелъ отъ обезьянъ-нѣкъ хвостъ вырѣзалъ, сравнтушихъ и т. п. Простите меня сопротивъ, но я съ Вами писательно этого важнаго мнѣнія не согласенъ и могу Вамъ замятую поставить. Ибо, если-бы человѣкъ, властитель міра, умѣйшее изъ дикательныхъ существъ, произошелъ отъ глупой и необщественной обезьяны то у него была бы хвостъ и дикій голосъ. Если-бы мы произошли отъ обезьянъ, то пасъ теперь водили-бы по городамъ Цитаки на показъ и мы платили-бы деньги за нашъ другъ другъ, нашъ со времяу Цитаки или сидѣли за рѣшотной въ тюрьмѣ. Развѣ мы вокругъ мы крупно покрупно? Развѣ мы не носимъ одѣяній, какъ-лисы обезьяны? Развѣ мы любимъ-ли и не прощали бы женщи-ну, если-бы она хоть немножко-нибудь была обезьяной, которую мы каждый вторникъ видимъ у Предводителя Дворянства. Развѣ мы можемъ произвести произведеніе въ обезьяну, то что не возможно бы на христіанскомъ языкѣ? мой правнукъ Амперій, напримѣръ, имѣлъ въ время оно въ царствѣ Полтавскомъ быть потребенъ не какъ обезьяна, а разомъ съ моимъ капитальствомъ Кожевникъ Шостинскій, онъ какъ коего отъ учрежденія изчитъ и горячитъ шашлыкъ хранится спе досель у брата моего Ивана. Абвгъ цвѣтитъ тарологическій языкъ. Извстно-ту жена нерза за то, что являлось въ Ваши ученые дѣла и только потому не сотворила и нацѣлила на способствующихъ и какія то являлась цѣли, которые у ученыхъ и дзиллонныхъ людей скорой вообразится въ нашемъ, чѣмъ въ головѣ. Но могу увѣдомить и не нрошло когда ученое неправильно высказ-ть уже смѣешь и не могу не возразить Вамъ. О. Герасимъ сообщилъ мнѣ, что вы неправильно высказ-ли объ этомъ т. е. объ обезьянѣ, которой замѣшаетъ нашъ солнце въ часы ярма и темноты, когда люди спятъ, а Вы проводите электричество съ жѣлать на яркое и фантастрите. Не сейскусъ надъ сидѣлось, за то что такъ тупо вашу. Вы пишете, что на дичь т. е. на вѣдомъ вопросъ и вѣдомъ вопросъ, а посемъ. Этого не можетъ быть никогда потому что если бы люди ядли на ужинъ то весомой бы для васъ загадочной и непонятной сидѣть ее своими домами и тучными пасѣбищами. Весь довдашь людей не могутъ ядть, а ядятъ ихъ только люди, а не звѣрь ни этиу. Люди жили ни одинъ ядали-бы какъ не знаю, а этого не бываетъ. Нечитатели я можетъ сидѣлись бы на наши жилищъ съ васовенной луни. Могутъ ли люди ихъ на луни, они для существуетъ только земля, а сидѣть нечѣмъ? Я прашу телетеля во могутъ доводить здѣ ни дичь, потому что на ней до яичекъ двѣнадцать растолстѣ и недостаточно ея можно-бо учрѣзаетъ отъ невинностей очень легко. Вы пишлолю сообщаетъ. Вы сочинили и написали. Всякое отвращаетъ ученія, какъ сказалъ кавъ О. Герасимъ, что будто бы на самомъ величайшемъ сидѣлѣ, на солнцѣ, есть черныя пятнушки, этого не можетъ быть, потому что этого не можетъ быть никогда. Какъ Вы могли видѣть на солнцѣ пятны, если на солнцѣ пользя глядѣть простымъ человѣческимъ глазамъ, и для чего на моя пятны, если я быть наъ можно обобщаюсь! Его какого которато тѣла сидѣлаго они самыя пятны, если они не сторонъ? Можете быть по какому у вѣдь живутъ на солнцѣ! Никогда моя душевная адонтисто, что такъ тупо сидѣтельствуетъ. Удалю я предать вамъ! Рубль сей надъ пусть почтительнаго сподѣя для меня не имѣетъ никакой цѣлѣ, нигдѣ его затемнила у моихъ глазъ своими палкѣйшими вещами. Всякое отвращаетъ перваго меня какъ сподѣя въ сидѣ. Хотя я неѣйкла и спросѣйскій

комѣщикъ, а все же такъ неудачно сказалъ занимаюсь наукой и открытиями, которыя собственными руками произвожу и заполняю свою подбную полезнѣнт, свой гнѣй черезъ мысляй и появляющихъ великолѣпныхъ лицъ. Мацупка природа есть тайнъ, которую видно читать и видѣть. Я какъ-нрименяя открытій своихъ собственныхъ умомъ, такихъ открытій, какъ-они на одинъ реформаторъ, но повѣрилъ. Сказку быль убѣдействуетъ, что я бо есь восѣдаюсь касательно образованія, добавой молодежи, и не болѣетъ-нѣ родителей т. е. отцы и матери или опекуновъ, которые часто губятъ дѣтей своихъ посредствомъ воспитанія, которыхъ я воспитываюсь своихъ сыновьяхъ и ихъ воспитываю и ихъ воспитываю. Вотъ что мой тронный умъ открылъ. Я открылъ, что наша великая отечества лучшая планета солнце въ день Св. Пасхи рано утромъ самымъ-самымъ и дзявольно прямого разподѣланнаго цвѣтами и произношеніе своимъ чудными жеданіемъ нужное впечатлѣніе. Другое открытіе. Отчего-нѣмою день короткій, а ночь длинная, а другимъ наоборотъ? День нѣмою оттого короткій, что подо-но чемъ ночемъ предметъ видящихъ и исчезаемъ отъ холода самовзятся и отъ, солнце рано заходитъ, а ночь отъ холодна сейскалъ-нѣмою и фонарей расширяется, что сотрудничается. Потомъ. я открылъ еще, что собаки весной чаще-ту-лишать подобно овецъ и что кофей для полнорожалъ людей вредитъ, потому что производитъ въ головѣ головокруженіе, а въ главахъ мутной жижъ и тому подобное и тому подобное прочее. Много я сдѣлалъ открытій и кромѣ этого зналъ и не-нѣ вѣдомствомъ и неизвѣстностью. Прѣжде-нѣго но моей дорогой удалцо, об Богу. Отпросясь что вибуда вѣжѣлъ, литературой заниматься и ученіемъ. Вотъ и вся познавалъ наученіемъ радлучаетъ дарушие. Прѣжде-нѣго попадусть, сидѣлѣе мысель, удружаю по разумному сосѣду. Прѣжде-нѣго чать завтра завтракъ. Мы четверо постное кашки, но для Васъ будемъ готовить скоромное. Если-же Напишешь прошла Васъ, чтобы Вы съ сосѣдой нашій трубы ужали нашу крошки... Она у меня знаменье, весь у ней гуляли, только одна она умная. Молодежа говорю, а Вамъ сказу, здѣсь себя знаю. Дай имъ Богъ! Чрезъ только прійдете во мой брать мой Иванъ человѣкъ ученый, но, можетъ нами сказать, Перѣсѣкъ и пятна не любитъ. Это нисколь должень достаточ Вамъ вой изучить-ровно по 8 часовъ ветеръ. Если привезете что-нибудь по-нѣйче его по пятамъ, то профессоръ, отчего съ этимъ нихъ-нѣмъ переконяется. Если-нѣмое достанешь, то значитъ, вѣ забашъ шафера заходить. Обычай будетъ въ сосѣдствѣ во мной вздумаешь не нами и сколотится, а потому непремѣнно прѣдлашу въ нашъ съ инструментами и инкладами. Мы жена не любитъ вѣмѣлъ, но я ей сказалъ, что Вы не фрѣдрихъ, а Максимъ русскоподданій. Извѣстно въ безпосѣдствѣ и простомъ. Оканчивъ Васъ съ почтѣніемъ. Остаюсь любящій Васъ Вольсѣя Дошлою остемной уважитель есть вѣрность.

Стецанъ Владимиръ сынъ.

....въ

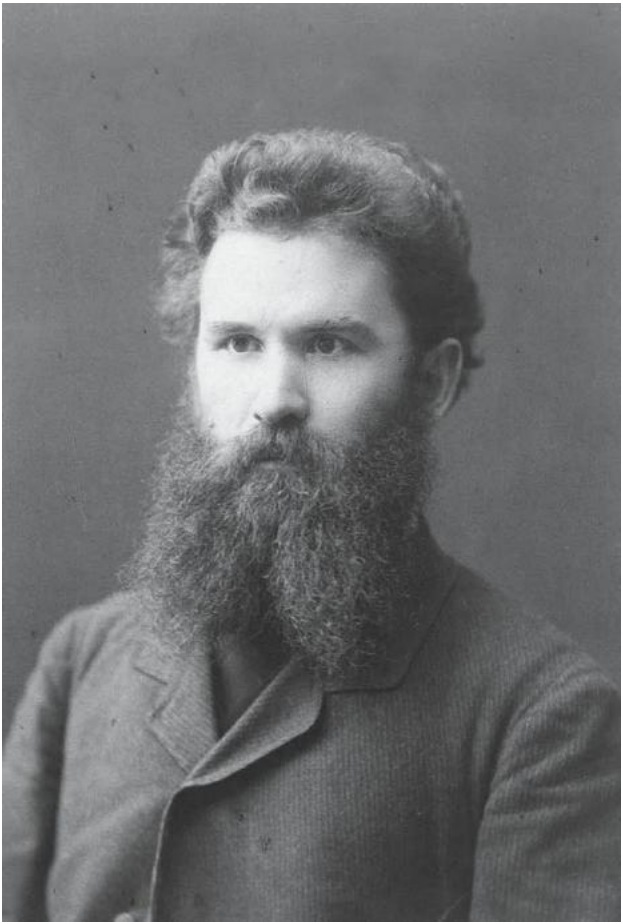
Первая публикация А. П. Чехова — «Письмо к ученому соседу» и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?». *«Стрекоза». 1880. № 10*



Ф. О. Шехтель и Н. П. Чехов. *1880-е*



А. Н. Плещеев. *1880-е*



В. Г. Короленко. *1880-е*



Н. А. Лейкин



Н. А. Лейкин. *1890-е*



Л. И. Пальмин. *1880-е*



«Редакционный день „Будильника“». Рисунок М. М. Чемоданова-Лилина. *1885*



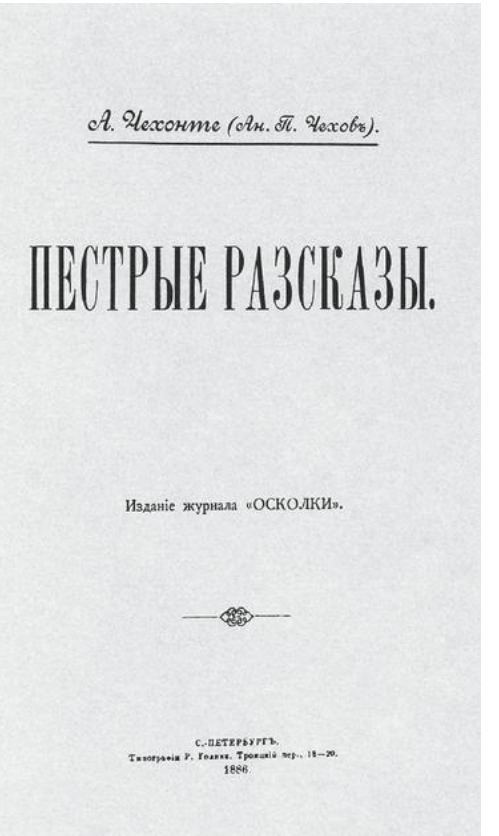
А. П. Чехов. *1884*



И. Дьяговченко
Кузнец. мостъ

въ Москвѣ.
домъ № 11.

Д. В. Григорович. *1880-е*



А. Чехонте (Ан. П. Чеховъ).

ПЕСТРЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Изданіе журнала «ОСКОЛКИ».

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике. Троицкій пер., 18—20.
1886.

Титульный лист сборника А. П. Чехова «Пестрые рассказы». *1886*



П. М. Свободин, В. Н. Давыдов, А. П. Чехов и А. С. Суворин. *1889*



А. П. Чехов. *1889*



Чеховскій „Медвѣдь“ въ театрѣ Корша, съ г. Соловцовымъ въ заглавной роли.

Ан. Чеховъ вожакъ.—А ну-ка, Мишенька, покажи, какъ господа барынь бранятъ... А ну, еще покажи, какъ они съ барынями стрѣляются, а теперь какъ они барынь обнимаютъ и цѣлуютъ.. Молодецъ, Миша: хорошо у тебя выходятъ!

«Чеховский „Медведь“ в театре Ф. А. Корша с г. Соловцовым в заглавной роли»



Афиша спектакля «Иванов» в театре Ф. А. Корша. *19 ноября 1887 г.*

Осколки

Отдѣльный номеръ 20 коп.

№ 45.

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. подъ редакціею Н. А. ЛЕЙКИНА. 4 Ноября 1889 г.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ

За годъ безъ пересылки (52 №№) 7 р.
За годъ съ пересылкой и доставкой (съ бомбардировкой) . . . 8 »
На полгода съ пересылкой и доставкой (безъ бомбардировки) . . 4 »
За годъ съ пересылкой и доставкой (безъ бомбардировки) . . . 5 »
На полгода съ пересылкой и доставкой (безъ бомбардировки) . . 3 »
За границу 10 р.
На объявленіяхъ по 25 к. за строку петита.

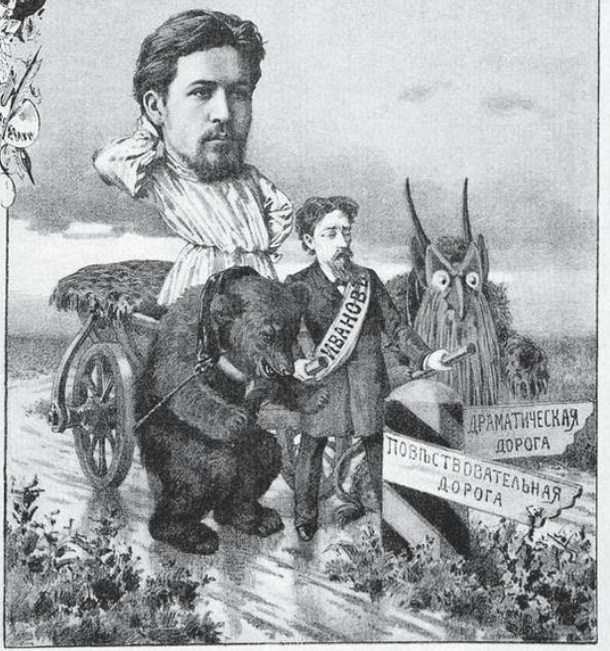
Контора и Редакція: Троицкая ул., 18

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ редакціи, Троицкая ул., № 18.

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ въ Москвѣ: въ конторѣ К. А. Высокинской, Богословскій пер.

АН. П. ЧЕХОВЪ.

Рисун. М. М. Дальевича.



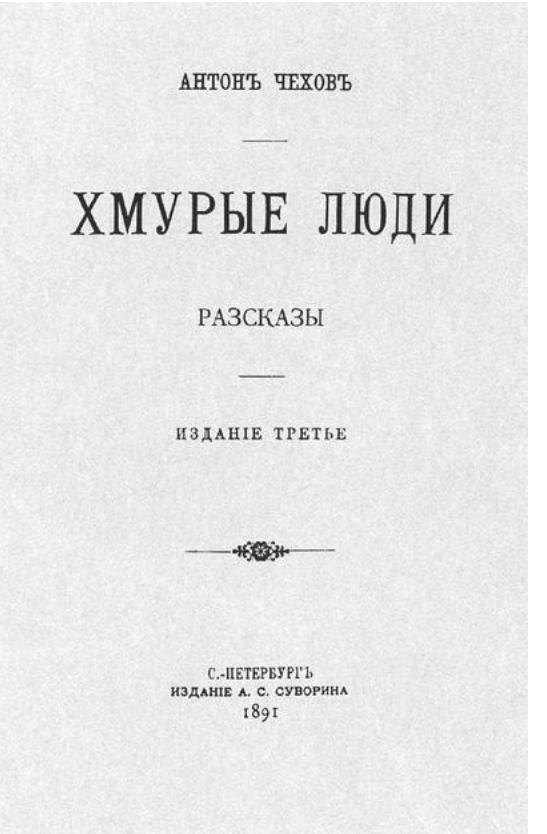
Шарж М. М. Далькевича. *«Осколки». 1889. № 45*



И. И. Левитан. *1880-е*



П. И. Чайковский. *1880-е*



Титульный лист сборника А. П. Чехова «Хмурые люди». *1891*



Перед отъездом на Сахалин. *1890. Стоят:* А. И. Иваненко, И. П. Чехов, П. Е. Чехов, Алеша Корнеев. *Сидят:* Маша Корнеева, М. П. Чехов, Л. С. Мизинова, М. П. Чехова, А. П. Чехов, Е. Я. Чехова



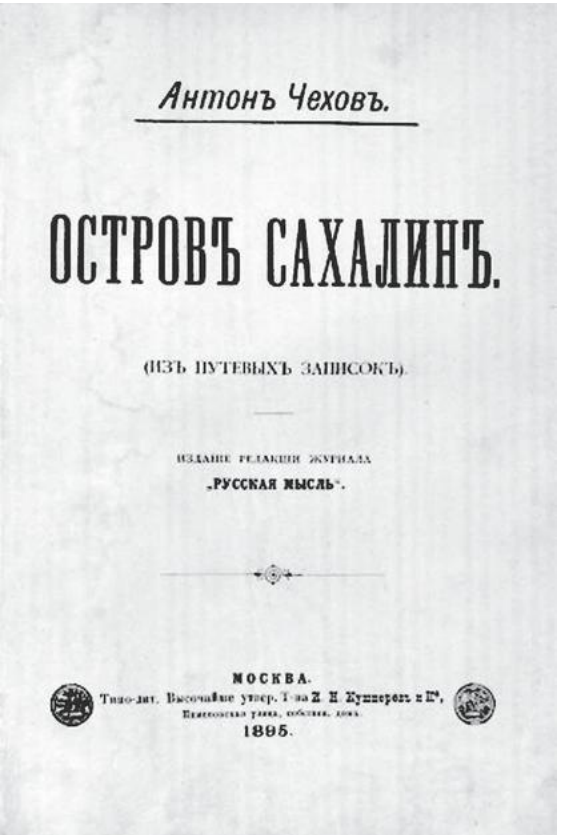
Каторжники за работой. *Сахалин, 1890*



Заковка в кандалы Соньки Золотой Ручки. *Сахалин, 1890*



А. П. Чехов и мичман Глинка держат в руках мангустов. *1890*


Антонъ Чеховъ.

ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ.

(ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАПИСОКЪ).

ИЗДАНІЕ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА
„РУССКАЯ МЫСЛЬ".

МОСКВА.
Типо-лит. Высочайше утверж. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°,
Пименовская улица, собствен. домъ.
1895.

Титульный лист отдельного издания книги «Остров Сахалин». *1895*



В. А. Гиляровский. *1880-е*



А. П. Чехов. *1890*



А. А. Долженко, А. П. Чехов, М. П. Чехов, В. А. Гиляровский, И. П. Чехов. *Мелихово, 1892*



М. П. Чехова, А. П. Чехов, И. П. Чехов, А. А. Лесова, М. П. Чехов, А. И. Смагин. *Мелихово, 1892*



Л. С. Мизинова. *1890-е*



М. П. Чехова. *1890-е*

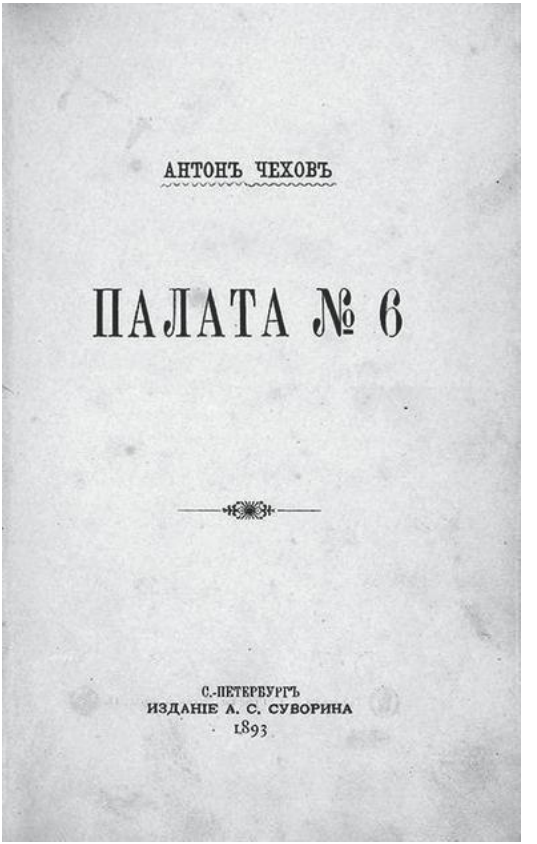


Т. Л. Щепкина-Куперник, Л. Б. Яворская, А. П.

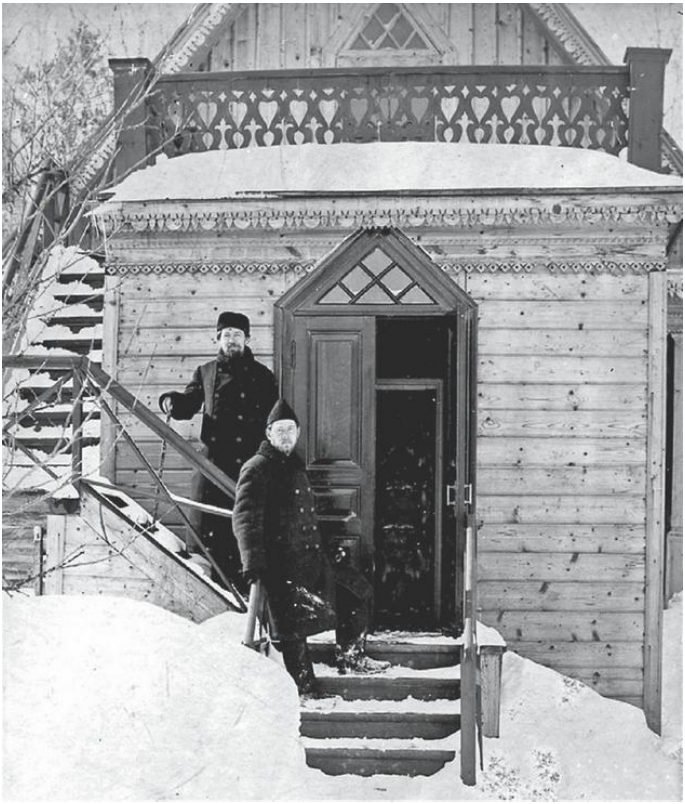
Чехов. *1893*



А. П. Чехов и сотрудники журнала «Русская мысль»: М. Н. Ремезов, М. А. Саблин, И. И. Иванюков, В. А. Гольцев, В. М. Лавров, И. Н. Потапенко. *1893*



Титульный лист книги «Палата № 6». *1893*



А. П. Чехов и М. П. Чехов на крыльце мелиховского флигеля. *1895*



ВЪ АЛЕКСАНДРИНСКОМЪ ТЕАТРѢ.

Въ Четвергъ, 17-го Октября,

БЕНЕФИСЪ Г-жи ЛЕВКѢЕВОЙ

(За 25-лѣтнюю службу).

Артистами Императорскихъ театровъ представлено будетъ:

Въ 1-й разъ!

ЧАЙКА

Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Антона Чехова.

Дѣйствующія лица:

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса. . . . . Г-жа Дюжикова 1-я.
Константинъ Гавриловичъ Треплевъ, ея сынъ . . . . . Г-нъ Аполлонскій.
Петръ Николаевичъ Соринъ, ея братъ. Г-нъ Давыдовъ.
Нина Михайловна Зарѣчная, дочь богатаго помѣщика . . . . . Г-жа Комиссаржевская.
Илья Аѳанасьевичъ Шамраевъ, поручикъ въ отставкѣ, управляющій у Сорина. . . . . Г-нъ Варламовъ.
Полина Андреевна, его жена. . . . . Г-жа Абарикова.
Маша, дочь. . . . . Г-жа Чижъ.
Борисъ Алексѣевичъ Тригоринъ, беллетристъ . . . . . Г-нъ Савоновъ.
Евгеній Сергѣевичъ Дорнъ, врачъ . . Г-нъ Писаревъ.
Семенъ Семеновичъ Медвѣденко, учитель . . . . . Г-нъ Панчинъ 1-й.
Яковъ, работникъ. . . . . Г-нъ Локтевъ.
Поваръ. . . . . Г-нъ Троепольскій.
Горничная . . . . . Г-жа Нальхановa.

Дѣйствіе происходитъ въ усадьбѣ Сорина. Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіями проходитъ два года.

Афиша спектакля Александринского театра. *1896*



В. Ф. Комиссаржевская в роли Нины Заречной в спектакле «Чайка» Александринского театра. *1896*

Осколки

Отдѣльный номеръ 20 коп.

№ 43.

Условія подписки:
За годъ безъ пересылки (съ бесплатн. приложеніемъ) 8 р.
За годъ съ пересылкой и доставкой (съ бесплатн. приложеніемъ) ... 9 р.
За полгода съ пересылкой и доставкой (безъ приложенія) 5 р.
За три мѣсяца съ пересылкой и доставкой (безъ приложенія) 3 р.
За объявленія по 25 к. за строку петита.
Контора и редакція: Спасская улица, № 17.

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

Подъ редакціею Н. А. ЛЕЙКИНА

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 26 Октября 1896 г.

Пріемъ подписки въ С.-Петербургѣ: въ конт. редакціи, Спасская ул., 17.

Пріемъ подписки въ Москвѣ: въ конторѣ И. Н. Печковской, Петровская линія.

«НА ЧАЙКУ».

Рис. Н. Н. Амалатовскаго.





Шарж Н. Н. Амалатбекова. *«Осколки». 1896. № 43*



А. П. Чехов в группе артистов МХТ. *1899*



№ 748

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ

(Каретный рядъ „Эрмитажъ"). (Каретный рядъ „Эрмитажъ").

Въ Четвергъ, 17-го Декабря,

поставлено будетъ въ первый разъ:

ЧАЙКА

Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, сочин. **Антона Чехова.**

ИСПОЛНЯТЪ РОЛИ: Тригорина—**К. С. Станиславскій**, Треплева—**В. Э. Мейерхольдъ**, Дорна—**А. Л. Вишневскій**, Сорина—**В. В. Лужскій**, Шамраева — **А. Р. Артемъ**, Медвѣдевка—**І. А. Тихомировъ**, кока—**А. Н. Андреевъ**, Повара—**А. Л. Загаровъ**, Аркадиной—**О. Л. Книпперъ**, Заречной—**М. Л. Роксанова**, Маши—**М. П. Лилина**, Полины Андреевны—**Е. М. Раевская**, Горничной—**М. П. Николаева.**

Режиссеры К. С. Станиславскій и Вл. И. Немировичъ-Данченко.

Парики и прически И. Иванова. Декоративныя украшенія цвѣтами садоваго заведенія Ѳ. Попова.

Начало въ 7½ ч. веч., окончаніе около 11½ ч. ночи.

Лица, записавшіяся на первое представленіе драмы „Чайка", благоволятъ получить билеты до 4-хъ час. Среды, 16-го Декабря, послѣ чего они поступаютъ въ общую продажу.

Въ Пятницу, 18-го Декабря, второе представленіе драмы: ЧАЙКА.

ЦѢНА МѢСТАМЪ ОБЫКНОВЕННАЯ.

Касса открыта отъ **10** час. утра до **8** час. вечера.

Главный режиссеръ **К. С. Станиславскій.** Завѣдующій репертуаромъ **Вл. И. Немировичъ-Данченко.**

Афиша спектакля МХТ. *1898*



Спектакль МХТ «Чайка». *1898.* М. Л. Роксанова (Нина) и В. Э. Мейерхольд (Треплев)



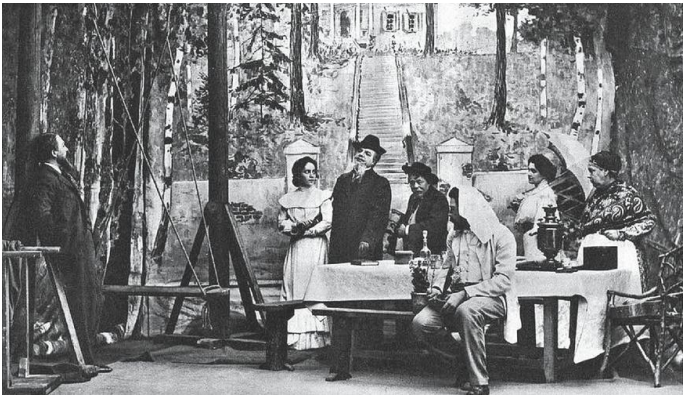
Спектакль МХТ «Чайка». *1898.* И. А. Тихомиров (Медведенко), В. В. Лужский (Сорин), В. Э. Мейерхольд (Треплев), О. Л. Книппер (Аркадина), К. С. Станиславский (Тригорин), М. П. Лилина (Маша), Е. М. Раевская (Полина Андреевна), А. Р. Артем (Шамраев), А. Л. Вишневский (Дорн)



Дача А. П. Чехова в Ялте. *Открытка начала XX в.*



А. П. Чехов. *Ялта, 1901*



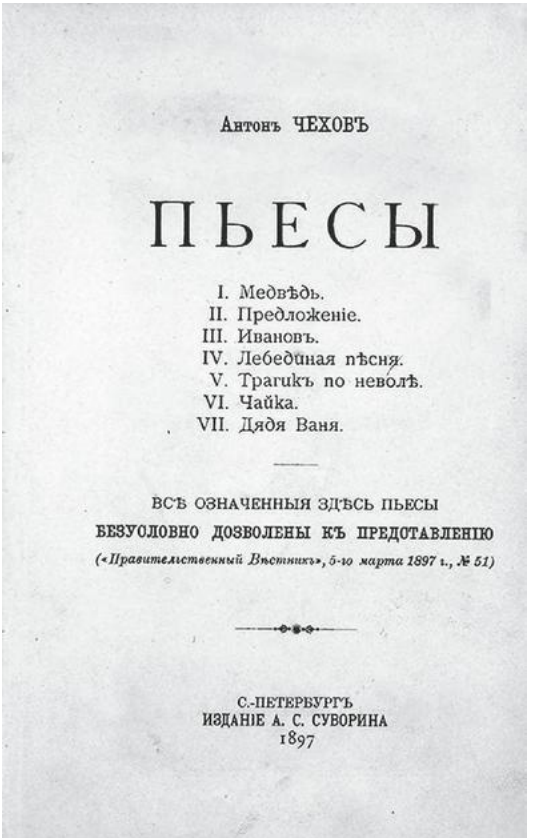
Спектакль МХТ «Дядя Ваня». *1899.* А. Л. Вишневский (Войницкий), М. П. Лилина (Соня), В. В. Лужский (Серебряков), А. Р. Артем (Вафля), К. С. Станиславский (Астров), О. Л. Книппер (Елена Андреевна), М. А. Самарова (Марина)



В. И. Немирович-Данченко. *1900-е*



Титульный лист издания пьесы «Дядя Ваня». *1902*



Антонъ ЧЕХОВЪ

ПЬЕСЫ

I. Медвѣдь.
II. Предложеніе.
III. Ивановъ.
IV. Лебединая пѣсня.
V. Трагикъ по неволѣ.
VI. Чайка.
VII. Дядя Ваня.

ВСѢ ОЗНАЧЕННЫЯ ЗДѢСЬ ПЬЕСЫ
БЕЗУСЛОВНО ДОЗВОЛЕНЫ КЪ ПРЕДОСТАВЛЕНІЮ
(«Правительственный Вѣстникъ», 5-го марта 1897 г., № 51)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1897

Титульный лист сборника «Пьесы». *1897*



Е. Я. Чехова, М. П. Чехова, О. Л. Книппер, А. П. Чехов. *1902*



А. П. Чехов и М. Горький. *Ялта, 1900*



А. П. Чехов и М. Горький в группе артистов МХТ. *1900*



Группа «Среда». *Стоят:* Скиталец (С. Г. Петров), М. Горький, *сидят:* Л. Н. Андреев, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин, Н. Д. Телешов, Е. Н. Чириков. *1902*


АНТОНЪ ЧЕХОВЪ.
Три Сестры
ДРАМА
въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
ИЗДАНІЕ
А.Ф. МАРКСА.
С.ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка книги «Три сестры». *1901*

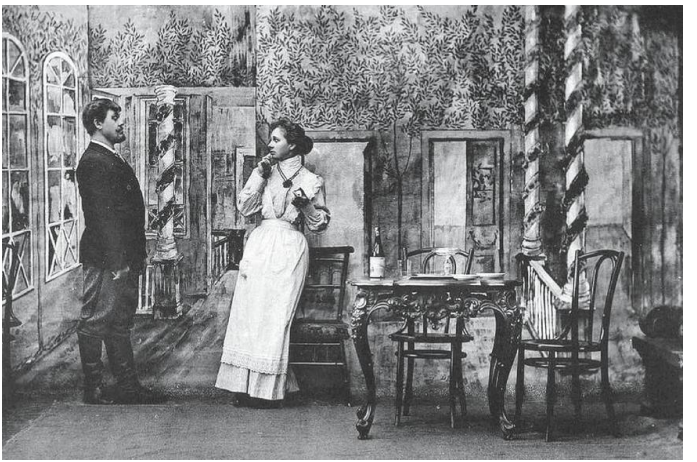


К. С. Станиславский (Вершинин) в спектакле МХТ «Три сестры». *Начало 1900-х*





Спектакль МХТ «Вишневый сад». *1900-е.* О. Л. Книппер (Раневская), А. Р. Артем (Фирс)



Спектакль МХТ «Вишневый сад». *1904.* И. М. Москвин (Епиходов), А. Ф. Адурская (Дуняша)



А. П. Чехов. *1902*